

Федор Панферов

Бруски

Книга первая

Аннотация

Роман Федора Ивановича Панферова «Бруски» – первое в советской литературе многоплановое произведение о коллективизации, где созданы яркие образы представителей новой деревни и сопротивляющегося мира собственников.

Звено первое

1

Весна должна была наступить в конце марта.

В конце розового марта утренние оловянные заморозки становятся нежными, как фиалки, а земля обильно дышит прозрачной испариной.

– Ну, слава те господи, земля отошла, – говорят в такие дни мужики.

И в эту годину жители Широкого Буерака ждали ее, весну. Они каждое утро поднимались с одной и той же мыслью, шли за околицу, щупали там пахоту и пристально всматривались в даль полей. Над полями висело серое, тупое и вязкое, как вата, небо. Временами оно разрывалось, тогда по нему начинали метаться непричесанные тучи, посыпая землю мелким, колючим дождем.

Так каждый день.

А март уже шел к концу.

Но сегодня много солнца.

– Сегодня зиме каюк-крышка, – говорит Николай Пырякин, бережно втискивая в кособокую корзину остатки теплопрелой мякины. От мякины пахнет мышами, кислятиной и черт знает чем, но Николаю кажется, это пахнет весной, и он бормочет: – Каюк-крышка. Каюк-крышка. – Других слов у него нет, но в этих словах для него самое главное: теперь ведь не надо думать ни о теплых сапогах, ни о дровах. Вот еще, дрова, шут бы их побрал! Таскай каждый день охпку в избу, а к вечеру все равно холодно. Живут же некоторые без дров. Заяц, например. Забьется под кустик, свернется в кулачок – и нет-то ему ничего... Да, Николай Пырякин иногда завидует зайцу. А что ж, у зайца сердце доброе, заяц никого не обижает. И у Николая сердце доброе. Николай тоже никого не обижает. Заяца все гоняют, да ведь и Николая не милуют. Но заяц, пожалуй, живет завидней.

Николай выпрямился, посмотрел на гумна. Батюшки, какие они смешные: риги– перекошены, около риг – и то не везде – торчат остатки стогов прошлогодней соломы. За зиму они почернели и стали походить на кукиши. Вот так – три десятка кукишей торчат вверх. Но Николай и на эти кукиши смотрит с завистью: у него и того нет. Осталась перепрелая, вонючая мякина, и то два-три раза дашь корове – и зубы на полку. Придется, видно, ночью темной по чужим гумнам побегать, потом все лето не смотреть в глаза соседу. А что ж делать? Ведь корову не убедишь, чтобы она не ела. Николай и так каждый день по утрам с ней разговаривает:

– Экая! Жрет и жрет! Да что, стыда, что ль, у тебя нет: мякина подходит к концу, а ты знай – жрешь.

Возможно, Николай промечтал бы около корзинки с мякиной до вечера, если бы не обильное солнце. Оно палит ему прямо в спину – такое теплое, ласковое, как рука матери. И Николай невольно переводит взгляд с гумен на Волгу. Она, покрытая тающим льдом, вздутая, перепачканная разжиженным навозом, кажется огромным пегим волдырем. Но это Волга, а не какая-то там речушка. Волга матушка-река, кормилица, – вот такая это река. Она скоро сбросит с себя зимнюю кору – и разольется же! У-у-у! Конца-краю ей не будет.

– Волга, Волга, мать родная... – запел было он и тут же оборвал: «Вот еще. Услышат, смеху не оберешься. Домой надо. Бездельник!» – и он уже было шагнул в сторону села, но солнце, весна, Волга – покорили его: ему захотелось развалиться на припеке, как когда-то, когда он еще был беззаботным вихрастым пареньком.

Вот и утес Стеньки Разина, высокий, внизу – пропасть. Отсюда видны далекие заволжские степи. А в степях деревушки. Он у нас, Николай, какой-то чудной: ему все кажется шиворот-навыворот. И тут, ему кажется, в степях не деревушки, а просто кто-то в непогоду лаптями натоптал. Лапоть так, лапоть этак – вот и двор. И он над этим обязательно бы посмеялся, но кругом все дышит, все колышется, все тянется к солнцу, и поэтому Николай проговорил:

– Ну и благодать же, – и уже отодвинул было корзинку с мякиной в сторонку, уже хотел было прилечь на припеке и, несмотря ни на что, подремать часок-другой. Он даже было прикрыл глаза, опустил на колени, но тут же вскочил.

Через Волгу, по дороге, покрытой разжиженным навозом, пробирался человек. Он то осторожно, иногда по колено в воде, двигался по направлению к Широкому Буераку, то вскакивал на бурый ухаб и некоторое время стоял на нем, поводя головой, как сорока с куста.

«Куда же это он прется?» – с тревогой подумал Николай, зная, что дорога оторвалась от берегов, что лед стал ломкий, что и вообще-то вся ледяная, пегая кора на Волге хотя и медленно, но упорно всей своей массой движется вниз, что остались какие-то минуты и вся эта масса взорвется и хлынет по течению. Да, да. Николай хорошо знает, какую опасность таит в себе Волга, когда она, сбрасывая с себя ледяную рубашку, стонет, как роженица. Например, однажды вон там, где

Крапивный овраг изрезанными губами упирается в Волгу, у барина Сутягина река проглотила тройку лошадей. Не зря эту водяную ямину зовут «Чертовой прорвой». А теперь там пучится и, кажется, шипит позеленевший лед...

«Как же это он один идет!» – Николай хотел было помочь человеку, но, глянув на Волгу, на водяные прогалины около берегов, развел руками...

Пешеход в эту минуту спрыгнул с ухаба и двинулся вверх – туда, где лед еще лежал нетронутым. И Николай успокоился, вернее – успокоил себя, сказав:

– Ну, так еще спасется, – и прилег на меловой лбине, заложив руки под затылок, думая о том, куда и по каким надобностям несет человека в такой непутевый час. Может быть, он был на заработках в городе и теперь земля потянула его в деревню, в родной угол. Дома жена соскучилась, ребятишки... А может, и лошадь стоит под сараем. Лошадь? У Николая нет лошади. Есть корова – плешинистая, тощая, как и Николай Пырякин, – Буренка. Она сейчас стоит – во дворе на припеке, и галки старательно дергают из ее спины шерсть на гнезда.

«Фу ты, пес, забыл. Жрать ведь она хочет». – Он встрепенулся – и снова застыл.

Человек сначала шел вверх по течению, но вдруг круто свернул и решительно направился на Чертову прорву.

«Экий дурак, куда потащился. Видно, не здешний. А ну-ка, может, услышит». И, приложив ладони к губам, Николай изогнулся, что есть силы крикнул:

– Э-эй-эй!

Эхо отчетливо зазвенело в ущельях утеса. А справа, из горловины Крапивного оврага, выхаркнулась на Волгу огромная груда тяжелого серого снега; затем, словно враз застучали тысячи колес, раздался гул: это рухнул выше Чертовой прорвы лед, и льдины, вспрыгивая друг на друга, будто потешаясь, замелькали в бурлящем котле.

– Эй! Пропадешь! – Николай, надрываясь криком, замахал руками и со всего разбега перелетев через ущелье, ринулся вниз по скользкому обрыву.

Следом за ним, разбрасывая во все стороны мякину, просвистела помятая, кособокая кошелка.

2

Эх, Волга, Волга... весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великою скорбью... Эх, прочь все это! Прочь! Об этом потом. Об этом, когда оно уже придет, к горлу приступит с ножом. А теперь? Теперь – скворцы заливаются, шарит по земле солнце длинными теплыми лучами, розовеет оголенный дикий вишеник, а в полях на пригорках лоснятся плешины...

И Яшка Чухляв со всего плеча воткнул острый, широкий, как у мясника, топор в бревно. Он доделывал гладко выструганную телегу. Осталось еще пустяки, и уже сегодня можно было бы промчаться по улице на новой телеге, чтобы похвастаться и пустить пыль девкам в глаза. Но весна зовет Яшку, и он, широко,

по-мужичьи расставя ноги, сдвинув потертый картуз на затылок, глянул на Волгу.

– Ого! Лопнула! – проговорил он, когда из-под крутого берега в широкобуераковские улицы ворвался грохот льдин. – Лопнула-а! – закричал он, как бы о самом радостном, и в два-три прыжка очутился на возвышенности.

И вот, будто кто встряхнул село от зимней спячки; из каждой избы, с каждого – даже дальнего – конца села на берег хлынули люди в полинялых картузах, в шапках, в разноцветных косынках. Они бежали улицами вместе, обменивались приветствиями, возвещали друг другу о том, что на Волге тронулся лед, но, добежав до крутого берега, занимали каждый свое место, отведенное неписанными законами. И через десять – пятнадцать минут берег уже принял совсем другой вид. Вон Плакущев Илья Максимович, окруженный своей родней. Широкоплечий, с большими серыми глазами под лохматыми бровями, он возвышается и над своими, как маяк. Вон Быков Маркел Петрович в кругу своей родни. Сам Маркел Петрович – церковный староста и лошадиный лекарь, за что и почет имеет на селе. Он сложил руки на животе так, как это делает поп Харлампий после сытного обеда. А вон и Никита Семенович Гурьянов – тощенький, буро-рыжий, окруженный крупными, сильными сыновьями, снохами, ребяташками. А это вот Катаевы. Батюшки, сколько их! Не перечесть. Главой этой семьи, конечно, считается дедушка Катай. Ну, и сомневаться нечего: вон он стоит на самом почетном месте, беленький, похожий на престарелого петушка. И пыжится, делает вид, что он власть над своими имеет огромную. Но сын его, Захар Катаев, умиленно смотрит на Деда, как бы говоря: «Держись, держись, дедуня: пускай все думают – ты владыка в доме». Но Захару самому под шестьдесят, и сыновья у него воротние столбы. Да-а, а вон еще, чуть в сторонке, стоят эти – «без роду, без племени, как курь». Тут вдовцы, вдовы, старые девы, голь перекатная: сапожник Петька Кудеяров со своей женой Анчуркой – высокой, огромной. Егор Кунаев – весельчак, печник. Тут и Епиха Чанцев. Он хотя и считается родственником Плакущева, но Плакущев рассуждает так: «Слишком дальний: на сто верст», – и не принимает Епиху в свой круг. А Епиха ни ходить, ни стоять не может: он елозит, выкинув вперед ноги. Елозит от одной группы к другой, посматривая на родню Плакущева с величайшей жадностью. Нет тут Чухлява Егора Степановича, отца Яшки Чухлява. Ну не случайно же Егор Степанович Чухляв выделяется на селе своей головой: голова у него похожа на дыню, поставленную на-попа. Про такую голову говорят: «колом голова». Этот почти всегда сидит у себя в избе, никуда не показывается, как днем сова из своего дупла.

Вот так и сгрудились все на высоком берегу Волги.

Сгрудились и замерли, каждый думая о своем, мечтая о своем, но в общем – об одном и том же: о земле, о пахоте, о такой пшенице, какую можно было бы рубить топором. Да нет такой пшеницы! А то посадил бы зернышко, зернышко бы выросло, ну хотя бы с дубок. Тогда подошел бы к нему, тяп его под корень и сыпь: «с одного маху пуд».

Так вот все и стояли, затаясь.

Так они собираются каждую весну во время ледохода.

Огромные льдины, словно опытные пловцы, неслись по течению. Около них кружились, кувыркались, лопались мелкие, а там, где Волгу сжимают крутые берега, льдины со скрежетом и ревом прыгали друг на друга, образуя серые, рыхлые, причудливые груды, похожие на сказочные замки.

– Ну, слава тебе вышнему, – сказал, нарушая молчание, дедушка Катай. – Весна теперь наша, и урожай непременно.

Все знали – дедушка Катай каждую весну предсказывает урожай, и предсказание это почти никогда не сбывается, но все равно ему верили. И как не верить? Ведь дедушка Катай на земле протопал уже восемьдесят девять лет, да и доказательства у него какие:

– Непременный урожай! Глядите, какие пузыри на Волге. Гляди, Яша, – и он хлопнул Яшку Чухлява по плечу.

– Да ну-у? – усомнился Яшка.

– Пра! Гляди и подмечай. Ты хоть и безусый, но смекалистый, тебе и передаю науку эту. Гляди и подмечай: раз на Волге во время ледохода пузыри, значит, урожай непременно.

– Урожай хорошо бы, – согласился Никита Гурьянов. – Урожай хорошо бы, – повторил он и жадно, воспаленными глазами посмотрел на Волгу, как бы ища там урожай.

– Тебе что, Никита Семеныч, урожаю охота? – чуть впригнус, как это у него бывает всегда, когда он рассуждает о весьма важном, проговорил Маркел Петрович Быков, глядя на Волгу.

– По пузырям-то судить, оно, пожалуй, и будет, – вмешался Плакущев Илья Максимович, смеясь глазами.

Никита Гурьянов сердито глянул на него. Ну, чего надо Илье Максимовичу? Чего болячку с первого же дня береди г? Пузыри на Волге – это, конечно, глупости. Но зачем надежду с первого дня мять? Вон, все ведь об урожае думают, всех эта надежда согнала на берег. Волга, что ль, кому нужна? Вода эта? Льдины? Экий какой. Но Плакущеву ничего не сказал: испугался. Плакущев – бывший старшина. Бес его знает, какую он еще штуку может отколоть. Вишь, зачем-то сегодня поддевку надел, картуз с каркасом, сапоги с узкими носками. Уж сколько лет не надевал, а ныне – нарядился. Ой, еще медаль на грудь, и – ваше степенство.

– Урожай нужен. Непременный, – уверенно, по-взрослому, произнес Яшка Чухляв.

И это всем понравилось. И все, глядя на Плакущева, улыбнулись, как бы говоря: «Ну, и уел же тебя Яшка».

А Яшка повернулся в другую сторону.

На подступе к утесу Стеньки Разина собрались девушки. Ох, какие девушки в Широком Буераке! Они звонко смеются, взвизгивают от непонятной радости. Но все знают, это у них от молодости, от весны.

«Высыпало бабье», – презрительно подумал о них Яшка Чухляв и было

отвернулся, но тут же снова посмотрел на них, невольно задерживая взгляд на Стешке Огневой.

Странно, он и раньше видел ее, когда она в заплатах полушубке, будто старушонка, пробегала через улицу. Иногда он встречался с ней на посиделках и всякий раз донимал ее одним и тем же:

– Комиссарова ты дочка, а дыр на тебе лишков много.

Стешка молчком куталась в заплатах полушубок.

Грыжа, или, как говорили на селе, «кила», была у Чухлява, но «киляком» дразнили его сына – Яшку. Обидно это было. Ой, как обидно... и Яшка стервенел.

– Ишь, глазенки-то, как у барсука. Не съешь. Видали вашего брата!

– Киляк, – шипела Стешка и убегала домой.

А тут, в струях весеннего солнца, Стешку будто кто подменил; она за зиму выросла, налилась, а под серенькой кофточкой выступили упругие груди. Да и голову-то держит как! Прямо. Не клонит.

У Яшки дрогнули губы:

– Ишь, распушилась, – и ему показалось, Стешка стала похожа на вербу, набухшую пушистыми почками. И он, уверенный, что победа останется за ним, – «Ну, что она мне, скручу, как воробьенка», – двинулся по крутому берегу к хороводу девок.

Заметив его приближение, девки приглушенно завизжали, а Стешка, вскинув зеленоватые глаза, сжалась, затем выпрямилась и, глядя поверх Яшки на Волгу, намеренно громко, кривя губы, проговорила:

– Хвастунишка идет!

– Здорово, девки, – сказал Яшка, не сводя глаз со Стешки.

Девки завизжали громче.

– Ну, зачиликали! Здорово, Стеша! Здорово, говорю! Аль не признаешь?

– Признать ли? На зайце вон хоть шерсть сменилась, а ты все такой же.

– Эх, востра ты стала... востра.

– Зубы наточила. Кого тебе? Зиночку, что ль, Плакущеву? Вон она с тятяшей своим... как телочка.

– А если тебя?

Стешка посмотрела на него и вдруг разразилась громким хохотом:

– Ой! Поддержите, подруженьки. Сразил, дьявол, – и, оборвав смех, шагнула к нему, в упор посмотрела в глаза. – Ко мне?

– К тебе.

– Ворожить не умею.

– Чего?

– Ворожить не умею, килу не заговариваю. Понял? Ну, и отваливай.

– Ты вот что, – Яшка окинул ее взглядом с головы до пят. – Обиды зря не бросай.

– Слушай-ка, не грози... Иди-ка к своим. А то опустим под берег да без время при всем народе искупаем.

У Яшки выступили на лбу капельки пота. Он вовсе не ждал подобного отпора и в первую минуту растерялся, не зная, как все это превратить в шутку. Наконец шагнул вперед и, смеясь, исподлобья глядя на девок, выставил кулаки:

– А ну! Давайте все на одного.

И это было сделано глупо. Яшка хотел было уже взять слова обратно, но девки метнулись, окружили его и с хохотом, с выкриками: «Вояка! Бабий вояка!» – замелькали перед ним. Тогда он обозлился и, разорвав девичий круг, вплотную подступил к Стешке:

– Смеешься?

Стешка повела носом так, как будто ей поднесли полынок, затем посмотрела в глубь Яшкиных глаз. Они большие, сурово-требовательные. Изогнув брови, она провела рукой по своим щекам – щеки запылали румянцем, а глаза неожиданно заволоклись теплой лаской.

Заметив это, Яшка сказал тише:

– Не смейся, Стеша, – и легонько пожал ее локоть.

Стешка дрогнула, отвернулась:

Есть за Волгой село,

На крутом берегу, –

запела она.

Там отец мой живет...

– И родимая мать, – подхватили девки и тронулись за Стешкой.

Яшка нахлобучил фуражку, хотел было догнать девок, как из толпы раздался пронзительный крик:

– Батюшки! Человек!

Впереди за утесом, там, где лед каждый миг готов был лопнуть, стоял пешеход и, видимо, звал на помощь. И вот раздался оглушительный треск, и льдина под пешеходом медленно поползла. Пешеход кинулся вперед, перескочил пространство между льдиной и неподвижной целиной. Та часть льда, на которую он прыгнул, от удара рухнула. Пешеход снова кинулся вперед, хотел перемахнуть через водяной прогал, – льдина накренилась, окунулась и, кружась, поплыла вниз.

– Пропал! – в страхе прошептал дедушка Катай. – Сейчас в Чертову прорву понесет, там пропал.

В Чертовой прорве бурлила вода; каждая льдина, попав в прорву, подхватывалась круговоротом и, точно из мясорубки, выплевывалась далеко

внизу уже мелкой иссеченной кашицей. Лыдина, на которой стоял пешеход, сначала шла в сторону от Чертовой прорвы – по течению тянуло ее на противоположный берег. Но когда она повернулась на Чертову прорву, у широковцев вырвался общий крик:

- Вверх!
- Вверх бери!
- В прорву попадешь!
- Э-э-эй!

А пешеход прыгал с лыдины на лыдину, падал, вскакивал и снова летел на другую лыдину. Временами он задерживался, очевидно, обессилев, полз, затем снова поднимался и бежал вперед. И вдруг, прыгнув, он провалился... и толпа замерла в ожидании.

- Ну, сгиб человек... сгиб... безвозвратно, – заключил дедушка Катай.
- Гляди, гляди, – перебил его Никита Гурьянов. – Лодка.
- Никак Николай Пырякин! – прогундосил Маркел Быков.
- Он и есть, – подтвердил кто-то из толпы.
- Гони, Николай! Гони! – прокричал дедушка Катай.

Широковцы приковались к берегу. Они только тут заметили, как сквозь издробленную массу льда на лодке пробирается Николай Пырякин.

– Держись! – посоветовал дедушка Катай. – Держись, миляга! Эй, держись: помощатель едет!

Николай, вооружась длинным шестом, вел лодку меж лыдин, огибая их, и люди с берега смотрели только на него, пугаясь уже того, что лодку могут сжать лыдины, и тогда она хряснет, как орех на крепких зубах. Но Николай вел лодку умело, выбирая нужные прогалы, а когда он схватил за шиворот человека и выволок его из воды, широковцы облегченно вздохнули:

- Вот ярой!
- Ай да сорви-башка!

– И откуда чего берется? – удивился Никита Гурьянов, уже топчась на круче, как иногда топчется собака, желая перескочить через воду. – Давай назад... Назад давай, – распорядительно отдавал он приказания.

Обратно лодка шла с большой скоростью. Николай работал на веслах, а пешеход, став на корму, отталкивался багром.

– Да... да это же... это же Степан Огнев! Огнев Степка! За землей, стало быть, опять ходил, – тише добавил дедушка Катай.

Лодка носом стукнулась о берег. Степан Огнев, тяжело переступив через борт, среди общего молчания зашагал в гору. С его полушубка и самотканых штанов стекала вода, с проседью борода прилипла к горлу, а на бледном, в царапинах и крови лице четко выступали редкие, крупные, похожие на курагу, оспины.

Подойдя к избе Николая Пырякина, он покачнулся и, цепляясь за стойку крыльца, проговорил:

– Ну... до своего двора у меня сил нет.

– Катя, – вбегая в избу, засуетился Николай, – самовар! Самовар и чего горячего... самогонки хоть бы, что ль! – И повернулся к Степану Огневу: – Как это тебя понесло в такой неурочный час? А?

– За счастьем, слышал я, на дно моря ныряют. Вот и я было нырнул, – Огнев устало засмеялся и, посмотрев на Волгу, тяжело поднимая ногу, переступил порог.

3

Через несколько дней после возвращения Степана Огнева из города широковцы, карабкаясь по долам и оврагам, привалили к сельскому совету.

На крыльце сельсовета, прислонясь спиной к перилам, стоял Степан Огнев, рядом с ним Панов Давыдка – низенький, косолапый, а голова безволосая. Он стоял без фуражки и, пугливо мигая, всматривался в мужиков.

– Собрались вы зачем, граждане, сами знаете, – начал председатель сельсовета Федунов и ткнул рукой в Огнева. – Они вот слово к нам имеют.

Мужики загалдели:

– Ну, сказывай!

– Чего затеяли?

– Каку-таку нову фиту придумали?

Степан Огнев провел рукой по лицу, огляделся, затем густо, будто чужим голосом, выдал:

– Земли, мужики.

– Чего? Земли-и? – выставив вперед рыжую бороду, перебил его Никита Гурьянов.

– Земли... За околицей «Бруски» – залог неурезанный. Пропадает земля. Чем пропадать – мы берем. Вот и слово мое все.

Широковцы переглянулись, помолчали, потом по рядам пополз смех и, скапливаясь, нарастая, волной хлынул на Огнева:

– Хо!

– На кой пес, Степан?

– Чудак!

– Косы, что ль, точить?

– Да там камень голый!

– Додума-ались!

Смех перешел в гоготание, понесся вдоль улицы, вспугнул галок с церковного купола. Галки поднялись и, звенькая металлическими отрывистыми выкриками, закружились над Широким Буераком.

Степан, растерянно глядя на широковцев, вертел в руках шапку, потом обозлился, отвердел, грудью на перила налег и что есть силы кулаком по столу стукнул:

– Что? Ржете что?

Смех, как ветерком, сдунуло с широковцев.

– Что ржете, говорю? Балаган вам, а? Добром просим. Не дадите – закон найдем. Будет, поплясали под вашу дудочку.

Миг, словно зрелая рожь в безветренное утро, не шелохнулись мужики.

– Ай, ты какой! – взвизгнул Егор Степанович Чухляв и вылетел на крыльцо. Тут он сорвал картуз, оголяя голову, похожую на дыню, поставленную на-попа, как бы хвалясь этим: «Видали, дескать, граждане, какая у меня голова», и, придерживая другой рукой грыжу в паху, решительно крикнул: – Не давать, граждане мужики! Наотрез...

Последние слова Чухлява утонули в реве широковцев. Председатель Федунов, желая водворить порядок, забарабанил счетами, и казалось ему: сидит Федунов на дне прозрачной речки, оттуда губами шевелит, руками машет, а голоса не слышно.

На крыльцо поднялся Захар Катаев. Захар вовсе грамоты не знает: восьмерку завороткой зовет. Зато порядки знает лучше, чем всяк свою бабу. Оттого и почет Захару на селе, оттого и молва про него:

– У него, Захара, министерская башка. В министрах бы ему сидеть, а не у нас тут по оврагам гнить.

– Народом управлять не умеешь, – сказал он и легонько отодвинул Федунова. – Советская власть... лук те в нос.

– Да, дядя Захар, – начал оправдываться Федунов, – ты гляди, чего делают.

Захар корявой рукой чесанул волосы на голове и, выдрав оттуда соломинку, сказал:

– Стой! Орать стой! Слово хочу.

– Не ори! – закричали отовсюду.

– Говорят, не ори!

– Что... в кабак собрались?

Захар немного подождал. А когда галдеж улегся, он, ломая соломинку, повернулся к мужикам:

– Братцы! Я за вас страдал, когда с Никольскими мужиками луга делили?

– Страдал, – ответили ему.

– Ну-ка, в самом деле, чего перетерпел.

– Хорошо, – перебил Захар, бросая соломинку. – Признаете, значит?

– Признаем.

– Признаем, что говорить об этом!

– А в Москву я для вас к Ленину ходил?

– Так, ходил, стало быть, – занозисто вставил Никита Гурьянов. – А к чему это ты?

– Хорошо, – продолжал Захар. – А Ленин в нашу нужду вошел, ублаготворил нас лугами?

– Ублаготворил.

– Не раз спасибо сказывали.

– А то владеть бы лугами Никольским.

Захар снова выждал, и когда наступила такая тишина, что даже слышно было, как отдувается у столбика дедушка Катай, а по овражкам ворчат весенние потоки, он, растягивая слова, с расстановкой крикнул:

– А-а-а... барин на-аших стариков порол?

Тут ровно кто пылающую головешку бросил в широковцев, они дрогнули, метнулись:

– Не-е зама-ай!

– Чего старую болячку?!.

– Не об этом речь!

И замелькали корявые кулаки, кровью налились воспаленные глаза, затряслись от злобы бороды, лохматые шапки, линялые картузы.

Захар как-то подпрыгнул.

– Не-ет. Старинушку вспомнить всегда след. След старую болячку припомнить. На то она и болячка. Вы вот послушайте. Граф-барин наших стариков порол? За что, спрашивается, порол? Дорогу к сытой жизни преграждал. А старики наши лезли – жить хотели. За то граф стариков и порол. Так, что ль, братцы?

Мужики молча посмотрели друг на друга, потом на Захара, а Захар подумал: «Нет... не на ваших спинах рубцы от барского кнута, а то помнили бы».

– Так. Ну, этак, – вступился Никита Гурьянов. – Ну, и что же? Действительно, порол. Разрешаю твою задачку.

– Ты, Захар Вавилыч, вот что, – посоветовал Егор Степанович Чухляв. – Ты уже это... не тронь... пушай умрет позорища такая.

– Не-ет, – Захар снова загорелся. – Тронуть надо. Так вы согласны: старики наши жрать хотели, за то барин их порол. За то и барину голову свернули, а от нас ему проклятие на век. А Ленин вот ублаготворил нас лугами, за то поклон мы ему бьем и – благодарность всегда. – Он остановился, еще пристальней всмотрелся в

мужиков и вдруг, не по нем звонким голосом, резанул. – А сами-то мы что делаем? Сами-то, обратите внимание. Огнев с ребятами в сытую жизнь дорожку задумали искать, а мы их пороть. Стыдно, мужики, вам... по всему вижу, стыдно... напакостили.

Мужики согнулись. Кто-то тяжело, громко вздохнул, кто-то кинул что-то резкое, злое, неразборчивое, сквозь зубы.

– По-моему, пускай берут «Бруски», – продолжал Захар. – Может, и нам укажут дорожку, как от сухой корки с водой отбиться... Я так рассуждаю: как слобода у нас, так пускай каждый по-своему дело правит.

– А бабу свою не отдашь ли Степке? – ковырнул Чухляв.

– Бабу? Бабу зачем, Егор Степанович? Баба есть баба – жена законная, – спокойно ответил Захар и с лица на лицо обежал взглядом широковцев, остановился на Егоре Степановиче Чухляве. Столкнулись четыре глаза – два Захаровы, большие синие, два – Чухлява, маленькие черненькие червячки. Глаза вцепились друг в друга, боролись секунды две-три. Не выдержал Чухляв, опустил глаза в землю, а Захар поднял голову и глубоко вздохнул.

4

Егор Степанович Чухляв сход покинул первым. А что там ему делать, коль мужики решили – «Бруски» отдать Огневу? И кипела же злоба у Егора Степановича: «Этому-то лохматому кобелю Захарке, что понадобилось? Ну, Степке Огневу «Бруски», а этому? Лезет везде...»

Совсем недавно, каких-нибудь полтора десятка лет тому назад, на правом берегу Волги, в горах, будто орлиное гнездо, ютилось имение барина Сутягина, потомка графа Уварова. Сосновый бор Сутягина тянулся вглубь от Волги, а земель, ровно петлей, не только Широкий буерак, но и ряд сел охватывал Сутягин.

Смешно и дико было смотреть на этого барина. Не только взрослые, но даже ребятишки и те говорили про него: «Умом ряхнулся». Сначала он жил где-то за морем, потом в имение явился, привез с собой дам пышных, кавалеров в кургузых штанах. Пировал. Задавал балы... А затем стал чудачеством заниматься. Развел, выписав их из Франции, лягушек в пруду. Мужики иногда украдкой пробирались на берег, разглядывали тех заграничных лягушек и ничего-то особого не находили в них: такие же, что и в любом затоне около Широкого Буерака. Но когда до барина дошло такое мнение широковцев о его лягушках, он сказал:

– Сиволапые, бестолочь. Их ничем не проймешь.

Было это летом, в самую уборочную пору, и чтобы «пронять сиволапых», барин приказал:

– Хочу кататься на санях. Понятно?

Тогда из города выписали эшелон сахарного песка, усыпали им дорогу, и наутро в сани была впряжена тройка лошадей, в сани уселся барин, закутанный в

шубу... и тройка промчалась по дороге, усыпанной сахарным песком.

Мужики сказали:

– Окончательный дурак. Сомнений в этом нет.

Вскоре барин совсем промотался. Остались у него старые барские хоромы да участок... «Бруски»... – земля, прозванная так за то, что на ней было очень много красного камня, пригодного для точки кос.

Егор Степанович часто заглядывался на барские хоромы, на барское богатство, затаенно думал: «Эх, хоть бы маленькую толику мне, разделал бы я дела!»

А когда барин, разбитый параличом, остался один, Чухляв подсыпался к нему, стал ухаживать за ним: в бане парил, на двор водил и проделывал все, что полагается, – раздевал, укладывал в постель... И, видя его голышом, не раз решал – ничем-то он не отличается от Чухлява: и пуп, и все такое на том же месте; даже больше, тело у барина дряблкое, а у Чухлява упругое, мускулистое... И почему ему только одному, дряблкому барину Сутягину, владеть богатством?... Да, ухаживал Егор Степанович за Сутягиным, за что и обещал ему барин участок «Бруски» в вечность. Оттого Егор Степанович – к барину ли идет, от барина ли домой – обязательно заглянет на «Бруски», пальцем землю ковырнет, на язык ее положит – попробует, какова она вкусом.

– Хлебная земля, – говорил. – Ежели руки приложить, зерна не вывезешь.

И уже свои планы строил. А вышло как-то не так: однажды парил он в бане Сутягина. Сутягин ногами и руками дергал – жалость смотреть. Тут возьми и спроси Егор Степанович:

– Как времечко-то жизни у вас прошло, Савель Ильич?

Сутягина ровно пристукнул кто: руками, ногами перестал дрыгать, что-то забормотал, а что – не поймешь. У Егора Степановича мысли в голове понеслись весенним потоком – не догонишь:

«Бес толкнул в неурочный час спросить... подохнет еще!»

Схватил в охапку голого барина, в дом приволок; в рот, в нос начал дуть, ладошками ребра растирать. Отходил малость, обрадовался.

«Душу бы только не пустить без времени: пускай бумажку подпишет – «Бруски» мне. А там лети – нет тебе задержки».

К вечеру барин очнулся. Пальцем – маленькой заваливающей морковкой – поманил Чухлява.

– Что-о-о? – Егор Степанович припал к его лицу. – Что-о-о? Не пойму, – и руки растопырил.

Сутягин обозлился, сморщился, рукой сунул в окно. За окном в синеве вился ястреб. Делая круги, он спускался все ниже и ниже, затем пронесся над зелеными трав и сел на дубовый кол плетня.

– Ну что?... Вижу, – сказал Егор Степанович. – Ястреб. Птица негодная. Ну, и что жа-а?

Ястреб, чуть посидев на колу, вдруг сорвался, кинулся зеленым, выскочил и скрылся в березовой роще.

Сутягин приподнялся и прохрипел:

– Жизнь прошла, как вон ястреб на колу повернулся.

– Не об этом я, – Чухляв недовольно отмахнулся. – Ты отдай земличку. «Бруски» отдай. Родни у тебя нет. В могилу уходишь, с собой, что ль, возьмешь. А? Савель Ильич! Вечно богу за тебя молиться буду, то и родне закажу.

– Попа, – прохрипел Сутягин.

Чухляв ощетинился, жесткий кулак к глазам Сутягина поднес:

– Видал эту штуку? Не позову попа: землю допрежь откажи. Не откажешь, сдыхай в грехах, – и отбежал в угол, засмеялся дробно, визгливо, показывая в потолок. – Ступай, ступай с грехами туда! – И опять кинулся к барину: – Казни большие примешь на том свете без отпуску. Слышишь аль нет, что баю? Жульничать не дозволено. Он те – черт – на том свете за такое дело мошну на огне жарить будет: за што про што я за тобой дерьмо чистил?

И со зла так легонько будто и подавил барина. Сутягин дрогнул, ноги вытянул. Глаза уставились в окно и застыли. Егор Степанович крякнул, отошел в сторонку, вздохнул:

– Промах какой... а? И «Бруски»... вот они тебе – и нет их.

Все углы в хоромах обшарил, обои поободрал, в подпол слазил, сундучишко расколотил. В сундучишке – коробочки, картоночки, картиночки голых дам. Егор Степанович отшвырнул в угол хлам из сундучишка. Во двор выбежал, тут по клетям лазил, по конюшням: клад искал. Нет клада. Согнулся тогда Егор Степанович, позеленел. Снова к барину вошел, и только тут мысль забила:

«Почему меня до кровати не допускал, сам все проделывал?»

Отодвинул рыхлое, коченеющее тело барина в сторону и в кровати под матрацем нашел сложенные столбиками золотые десятки. Поверх бумажка, написанная рукой Сутягина. У Егора Степановича ноги онемели, глаза забегали, ожили.

– «Пять тысяч рублей на похороны мои», – прочел он. «Как же! – мелькнуло у него. – Похоронят... без этого похоронят».

И, озираясь по сторонам, начал хватать и рассовывать деньги по карманам. Затем сдвинул Сутягина, отряхнулся, выбежал на волю и торопко зашагал в Широкий Буерак. Когда вошел в улицу, сообщил мужикам:

– Барин богу душу отдал. Обмывайте...

Потом года два жил втихомолку на задах. А после большого пожара на Кривой улице дом построил. Да не простую хибарку, а глаголем дом. Черепицей его покрыл. Сарай – железом. Плетни глиной умазал. Под сараями – конюшни, под конюшнями – землянки. Замки всюду повесил – большие, с секретами. Ключи от замков в вязанку, вязанку к себе на пояс – и полный хозяин.

Выйдет во двор и радуется:

– Теперь пожар, вор ли – мне ветер в спину. А то, бывало, в поле аль куда едешь – дрожишь, как бы что.

– С чего жить-то начал? – спрашивали его иногда проезжие.

– С трудов, – отвечал Чухляв.

И трудился... Леску купил – дровами кругом обложился. На гумне, у двора, за гумном, за баней – всюду дрова: пни, корежник, дубняк. Земли участок приобрел за Винной поляной. Сынишка Яшка работал. Еще работал Степан Огнев. А в лето татарье, мордва спины гнули на чухлявском участке. Сам же Егор Степанович черного таракана в карман положит, чтобы счастье привалило, в поле сходит, сычом работу оглянет, поворчит – и домой. Дома весь день с метелкой – двор метет, чистоту наводит, с курами скандалит:

– Зверье какое. На одно место на двор ходить не умеют. Только подметешь, а они уж тут... Навалили. Чтоб вам... Кши, проклятые!

Ругал кур, еще ругал желтого таракана – не любил его. А в голове иное бродило – жена Клуня жалуется...

Клуня остатки золота – три тысячи, завернутые столбиками, несколько лет за пазухой таскала. Потом начала жаловаться:

– Колбяшки титьки трут. Силов больше нет. Прятать, куда хошь, надо.

Собирался прятать Егор Степанович и не находил надежного места, где бы каждую минуту мог проверить – тут ли они. Баба Клуня ходячая кладовка. Клуня из избы никуда. Где найдешь лучше место? С этой думой лежит, бывало, рядом с Клуней, за столбушки рукой держится.

– Гниет, мужик, – стонет Клуня. – Черви накинута.

– А ты золой присыпь. Повремени, потерпи малость: найду место – спрячу.

Об этом думалось, это мучило. Потом, когда нашел место, спрятал деньги и с этого часу ни шагу со двора. Выйдет только к завалинке, сидит и, как бирюк, думает:

«Кем это мир создан? Ночь вот... зачем она? Ведь и днем отдохнуть – спать можно. А тут ночь еще зачем-то?... Расход только один – керосин жги и вора́м простор – воруй».

...Вспоминая о Сутягине, Егор Степанович и не заметил, как пересек улицу и остановился у двора Плакущева Ильи Максимовича. В нынешнюю зиму они вдвоем решили заарендовать «Бруски». А тут, вишь ты, Огнев подвернулся.

Этим и шел Егор Степанович поделиться с Плакущевым.

В избе Плакущева еле заметно моргал тусклый огонек.

«Видно, мигалку палит, – подумал Егор Степанович. – Радетельный мужик. У этого добро скопится: он те уж в десять линий лампу палить не будет».

Обойдя колодец у двора, он, правой рукой придерживая козырек картуза,

левой забарабанил в стекло.

– Кого? – послышалось из избы.

– Илью Максимыча.

Окно отворилось, высунулась голова Плакущева. На Егора Степановича изнутри избы пахнуло пареной тыквой.

«Тыкву еще едят», – решил он, колупая пальцем подоконник, глядя на Плакущева, стараясь догадаться, почему тот не был на собрании.

– Выставили уже... рамы-то? – спросил он.

– Да. Припрятать. Весна на дворе – лезут. Ну, мол, от греха дальше, припрятать.

– Чего на сходе не был?

Плакущев прикрикнул на своих:

– Смолкните вы там на часок! – И к Егору Степановичу: – Да ведь дела: корова телиться задумала, и овчины у меня в кадлушке кисли – вынуть надобно... Что там?

«Овчины?... Какие это овчины в весну? Крутит чего-то, башкан». Чухляв подозрительно осмотрел его и сорвался:

– Что там?! Тебе не известно?! Сам знаешь, народ-то нонче какой – пыль: куда дунет, туда и понесется. Да и то, руки-то бы им кто отрубил. А то ведь никто не отрубал – подняли. Да и Захарка Катаев взбаламутил.

– Жулик. Он, Захарка, видно, хочет в председатели совета пролезть – вот и подлизался.

– Ты вот что, – перебил Чухляв. – Как бы и последние-то порты не стащили.

– Ну-у?

– Ты не нукай. Степка в город ходил. Закон, видно, подбирает насчет «Брусков», да я так думаю, и насчет тебя: старшиной ведь ты был. Ты с овчиной-то погодь возиться, а то – не только «Брусков», а и себя-то не увидишь. – И еще плотнее припал Егор Степанович к окну, зашептал: – Бают... может, и так, нарошно... в Илиме-то-роде советской власти башку свернули. Идут... Куда идут – неизвестно.

– Ну, это еще не знай чего.

– И я это же баю, не знай чего, – увильнул Чухляв.

5

Шепот Егора Степановича Чухлява под окном Плакущева, будто мякина в метель, разнесся по селу. Сначала широковцы переговаривались тайком, а к вечеру, когда через Кривую улицу проскакали десятка два кавалеристов, из двора во двор понесся говор о том, что в пятидесяти верстах от Широкого Буерака, несмотря на сплошной лед, через Волгу переправились банды Васьки Карасюка.

Они ворвались в Илим-город, вырезали всех коммунистов и двинулись дальше, на Широкий Буерак.

– Вот под кем поспать доведется, – зло кинула Кате Пырякиной шагистая Анчурка, жена сапожника Петьки Кудеярова.

Катя вбежала в избу, передала весть о Карасюке Николаю. Николай усмехнулся, почесал за ухом, слез с полатей и боком сел на скамейку.

– Нас это не касается. Пускай хоть десять Карасюков идут, – проговорил он, вглядываясь во тьму ночи, скрывая от Кати какую-то, еще ему самому непонятную тревогу.

С той минуты, как спас на Волге Огнева, он разом уверовал в него и вечером, после схода, ложась спать, сообщил Кате:

– Этому человеку доверить себя можно со всеми потрохами. Ну, раз себя не жалел для ребят, значит – ему можно.

С этой мыслью Николай и заснул, а поутру, вернувшись от Огнева, сказал, что отдал себя в руки Степана: «На, мол, бери, делай, что хошь», – и, как бывало в парнях еще, погладил костлявые плечи Кати:

– Заживем хорошо... И ты нальешься... А то глядеть на тебя – беда... А там, смотришь, кости скроются. А то и родишь. А?

Катя, краснея, склонила голову.

– Нас это не касается, – еще раз проговорил Николай. – Брехне не верь... и вообще... Есть давай.

Катя полезла в печь за щами, и показалось ей, будто стучит она ухватом в пересохшей огромной пасти зверя. Подбородок у нее задергался, глаза заволоклись мутью. В артель и она поверила: там она поправится, появится у нее ребенок, тогда и ее не будут бабы называть «проноской»...

– Не касается!.. А Анчурка Кудеярова вон говорит: «Вот под кем поспать доведется – под бандюками». Это она про меня.

– Ей башку-то свернуть на рукомошник: болтать не будет.

– Когда еще свернешь!

– Ну, брось, – ласково прикрикнул Николай, протягивая ложку к серым щам. – Разговору на селе вообще не оберешься. Утресь Железный, – так звал он Чухлява, – тоже намеки... Да наплевать! – Но, сказав это, он почувствовал, как у него по спине побежали холодные мурашки. – Он отмахнулся, решая: «Поем, вздремну, а утром сбегаю к Огневу».

– Ты, Коля, гляди... какие ни на есть мохры... и те утащат...

– Гляжу! Гляжу!

Через разбитое стекло сквозил легкий весенний ветерок. Он обещал высокую, с тяжелым колосом пшеницу на «Брусках», тянул на огороды к толстопузой капусте, к зеленым, сочным огурцам.

«Отчего мир так устроен – чего хочешь, то не делается?» – подумал Николай и, повернувшись к Кате, проговорил:

– Нас не тронут: мы не коммунисты... – и опять смолк, а дрожь чаще забегала по спине. – Фу, – он отфыркнулся и, сдернув с гвоздя пиджачишко, выбежал из избы.

На улице в темноте в ясном говоре весны скрипели ворота, двери изб, запоры, во мглу неба взметывались отблески фонарей, на соломенных крышах колыхались огромные тени, где-то ржали лошади, тревожно мычали коровы, – люди готовились к встрече неведомых гостей.

Николай, давя молодой ледок, побежал к избе Огнева, застучал в стекло.

– Кто? – послышался голос Огнева.

– Открой-ка, – и, вваливаясь в сени, Николай выпалил: – Банды!

– Где? Чего ты орешь? Хлебнул, что ли? Знаешь – в артели пить не полагается.

Николай шумом разбудил Стешку. Она улыбнулась, протерла глаза, посмотрела с полатей вниз. За столом сидели Степан Огнев, дедушка Харитон, мать Стешки Груша и Николай Пырякин.

– Банды, говорю, идут. Все уже укладываются, бегут, – напирал Николай.

– Да-а-а, – Степан зевнул. – Верить-то этому?

В позевоте отца Стешка разом почувствовала беду.

– О-ох, верить-то этому, – Степан еще раз зевнул. – В зайца превратишься: только и будешь прыгать, а работать не знай когда.

Стешка быстро накинула на себя серенькое платье, прибрала распущенные волосы и спустила с полатей голые мускулистые ноги.

– Ты, Стешенька, что?... Спала бы... А впрочем, слезай... Слезай, впрочем.

И этим Огнев дал знать, что надо собираться.

6

Вместе с вестью о переправе через Волгу банды Карасюка Егор Степанович получил весточку о том, что в село Алай – девять верст от Широкого Буерака – лесничий, торгош Петр Кульков, привез две бочки керосину. Эта весточка больше его заинтересовала, и он рано утром на пегой кобыленке снарядил Яшку за керосином. Потом весь день ждал сына. Не раз ругал себя дураком. Ему казалось, что лошадь и Яшку забрали карасюковцы. И он долго и тоскливо из-под сарая смотрел в окошечко на алайскую дорогу. А вечером, когда молва о карасюковцах затрубила по селу, Егор Степанович кинулся в конюшню и золой начал растирать гнедой кобыле холку там, где полагается быть седлу. Кобыла жалась от боли, поднимала ногу. Егор Степанович прикрикивал на нее – она поворачивала голову, жалобно смотрела на быстрое движение его рук.

Разодрав до крови холку, он зачерпнул ведро воды, наложил в него теплого

навоза, размешал и вылил на лошадь. Так он проделал несколько раз. Затем отошел в сторону, усмехнулся:

– Во-от – одер. Придут, скажу: ну, куда на моем одре? Гляди – чего.

Сняв с гвоздя фонарь, он еще раз осмотрел лошадь, что-то невнятно пробормотал и хотел было уже переступить порог конюшни, как защелка у калитки редко, но звонко зазвякала. Егор Степанович попятился.

Защелка зазвякала более решительно. За воротами послышались голоса. Егор Степанович не без тревоги подошел, прислушался, затем отодвинул длинный железный засов. Во двор сначала вошел Плакущев Илья Максимович, за ним Пчелкин Сергей, прозванный за свой бас и буйство «громилой». Свет фонаря ударил прямо в лицо Плакущева.

– Ну-у, – с дрожью в голосе заговорил Илья Максимович, – полчище идет.

– Да, – загудел бас Пчелкина, – давеча нищий у меня был, все сказал.

– А ты тише, – прошипел на него Чухляв.

– Ну, вот! – вновь поскакал бас Пчелкина. – Это надо вовсю, а ты тише. Спасение идет. – Он дернул плечами в плешивом полушубке и последним переступил порог избы.

Войдя в избу, Егор Степанович потушил фонарь, кинул Клуне:

– Ты! Спички где?

– Да ты сроду у себя их держишь, – ответила Клуня.

Егор Степанович спохватился. Спички в самом деле гремели у него в кармане. Он медленно достал их, стал на табуретку, потянулся к семилинейной лампе.

– Вот спички, – бормотал, зажигая лампешку, думая, как бы ему толкнуть навстречу Карасюку Плакущева и вывернуться самому. – Вот спички... Намеднись гляжу – пятка нет... Утром просчитал – было восемнадцать, а в обед гляжу – нет пятка. Куда делись?

– Аль со счету спички? – Пчелкин удивился.

– А то как же? – Егор Степанович спрыгнул с табуретки. – А то как же? Ты думаешь, это все, – он обвел руками выстроганные сосновые стены избы, – все это даром дается? Не-ет, тут крови сколько положено. Это только они, коммунисты-ячейщики, болтают, богатство оно так вот будто... как вон, – чуть запнулся, – как вон дерьмо коровье на лопате... поддел его – и хлоп к плетню... Нет. Тут сбереги. Иной раз и поел бы сладенького, а тут – нет, мол, постой... Я вот, когда в турецкой кампании...

«Ну-у, теперь держись, поедет», – подумал Плакущев.

– Я ведь, бывало, какой был? Я на лету птицу ловил.

Пчелкин басом дробно засмеялся, а Плакущев зло метнул глазами на Чухлява, прервал его:

– Дело не ждет, Егор Степанович. Ты свой сказ потом доскажешь.

– Что ж, – привертывая лампешку, Егор Степанович сжался. – Давайте дело.

Плакущев вынул из кармана лист бумаги, обеими ладонями разгладил его – и над столом враз вплотную склонились три головы: одна – колом – Егора Степановича, другая – большая, с серебряными тонкими нитями на висках – Плакущева Ильи и третья – рыжая – Пчелкина Сергея.

– Вот, – прошептал Плакущев, – тут тебе и явны и тайны коммунисты.

Егор Степанович откинулся, посмотрел на большую голову Плакущева и вновь сунулся к столу.

– Читай, – еле слышно проговорил он.

– Явные коммунисты, – начал Плакущев, – Огнев Степан – в восемнадцатом году грабежом занимался; отобрал у Чухлява Егора шестнадцать овец, крестьян грабил! Притом сына коммуниста имеет в Москве.

– Шестнадцать – верно! – подтвердил Чухляв. – И еще ягненка.

Плакущев мельком на него глянул, продолжая:

– Федунов – председатель сельского совета, явно держит руку коммунистов... Панов Давыдка... Николай Пырякин...

– Стоп, – прервал его Чухляв. – Стоп тут. Николку не след, по-моему, никак не след. И какой он есть коммунист? И сосед мне. Это надо принять.

«Боится соседа», – подумал Плакущев и, заложив Николая пальцем, стал читать дальше:

– Якушев Гараська в артель пошел, явно с коммунистами, Митька Спири...

– Не-е-е-т, – прервал Чухляв, – ты Николку-то пальцем не закладывай. Ты выкинь, выкинь от греха.

– Да чего ты боишься? – вынимая из другого кармана листовку и раскладывая ее на столе, проговорил Плакущев. – Ты вот слушай, – и, чуть приподняв к свету листовку, начал читать то, что было написано жирным шрифтом:

– «Совет трех» народной крестьянской армии под командой Василия Карасюка отныне объявляет, что вся власть принадлежит народу и народ сам собой управляет. Долой коммунистов, комиссаров! Да здравствует крестьянский союз!.. За мной идет сорокатысячная армия... В Москве...» – Плакущев запнулся и, не разобрав, что было написано дальше, обернулся к Чухляву: – Видал? Тут – сила. Советчики на ладан дышат.

Егор Степанович весь сморщился.

– Не-ет... Я на то не согласен... Не согласен на то, чтоб Николку в явные, не согласен – и все... Силой, что ль, меня?

Бились долго, бились над тем, куда отнести Николая Пырякина – в явные или тайные коммунисты.

– Ты с нами в кантахт не хошь, – хрипел Пчелкин, – ты насупротив нас.

А Егор Степанович одно свое долбил:

– Прочь Николку.

Злился и Илья Максимович и в злобе свой план высказывал:

– Перво-наперво – семенной хлеб в советском амбаре поделить, этим на свою сторону всю голытьбу...

После этого Егор Степанович совсем отпрянул в сторону, замотал головой:

– Не-ет, уж тут я совсем не знаю! В старшинах я не ходил, в писарях не был, не знаю. Чужого добра сроду не брал... Не-ет, руки обмываю. Не-ет, – взвизгнул он, – в это дело я не впутываюсь... И вообще не впутываюсь, – вдруг неожиданно заявил он. – Наотрез не впутываюсь, и все. Нет, лет, и не говори, Илья Максимович, и не тяни меня.

– Че-ерт ты! – вырвалось у Пчелкина.

– Постой, постой, – Плакущев схватил Чухлява за плечо, – постой. Мы разберемся... Мы разберемся... в таких делах с тобой.

Торопливый стук в ворота прервал Плакущева. Илья Максимович быстро сунул список и листовку под столешник. Егор Степанович подбежал, выхватил список и листовку и молча сунул их Пчелкину, а сам кинулся открывать ворота... Через несколько минут в избу ввалился грязный, измученный Яшка. Глядя на Плакущева и на Пчелкина, проговорил:

– Собрались? – Потом громче добавил: – Банды в Алае. Насилу вырвался, – и обратился к отцу: – Ты лошадь-то прибери, тятя. Телегу я оставил в поле... Пожрать бы чего, – и, схватив в чулане кусок пирога, выскочил из избы.

– Куда ты? – спросил Егор Степанович, кидаясь вдогонку.

– Куда след, – ответил Яшка и скрылся в темноте.

7

Когда часов в десять ночи Федунов увидел в улице тревожную дрожь фонарей, он догадался, что Карасюк где-то поблизости и его надо ждать в Широком Буераке в ночь или на заре. Вечером же Федунов узнал и о том, что Пчелкин усиленно вертит языком на селе, агитируя за раздел хлеба. Все это и не давало покоя Федунову. Он сидел под окном, напряженно всматриваясь во тьму. Дедушка Максим лежал на полатах, возился, кряхтел и только потом, глубокой ночью, заговорил:

– Отстань, сынок... Не эти дела наши... Наши дела – землю пахать и с народом жить – ну, и поди к народу... Гляди – один на селе. И поди к народу, скажи от власти отстраняюсь, вот вам ключи от амбара. Что хотите, то и делайте с хлебом: я вам не помеха.

Федунов молчал. Одно время у него явилась мысль – пойти к Пчелкину, передать ему ключи от амбара и сказать: «Сдаюсь».

«Ведь и он, – думал Федунов про Пчелкина, – за советскую власть горой стоял – барское имение громил, и все такое... А теперь – вишь как разобиделся...»

Недели две тому назад Федунов ходил по селу, переписывал скот у крестьян... Когда пришел к Пчелкину, тот сообщил, что у него всего-навсего четыре овцы, а при проверке оказалось их пяток. Пяток и записал Федунов. Пчелкин тогда еще пригрозил ему осиной в Сосновом овраге.

– Вишь, зловонный какой, – пробормотал Федунов.

– Все зловонны, – дедушка догадался, о ком идет речь. – Все кусок белый норвят... а этого не зря громилой зовут – громила и есть.

Тараканы, словно drobный дождь, зашуршали в темноте. За перегородкой спала Даша, жена Федунова, и что-то непонятное бормотала во сне. Она дохаживала беременная последние дни. Это-то больше всего тревожило Федунова.

– Из-за прута повесят, – нарушил тишину дедушка. – Вот и говорю тебе: не в те годы на службу ты пошел... народ злой... повесят за милу душу...

– Ты, тятя, молчи... не бери... лежишь, ну и не бери.

– Э-э-эх, робяты, нас не слушаете, баб своих не слушаете. Кого же слушаете? Дядев чужих?!

По порядку – еле заметно – кто-то скользил к дому. Федунов затаил дыхание, плотнее припал лицом к холодному стеклу, всмотрелся. Человек остановился. Вначале, казалось, он что-то долго шарил под ногами, потом, срастаясь с плетнями, хибарками, осторожно переступая лужи, двинулся вперед.

Федунов, не отрываясь от стекла, нащупал под лавкой топор, крепко сжал его в руке, зашептал:

– Тятя... Серка... Серка погляди.

Дедушка быстро шмыгнул с полатей, выбежал во двор... Федунов потянул топор из-под лавки, топор концом задел за бревенчатую стену – звякнул. Человек уже приблизился к калитке, чем-то крест-накрест чиркнул по шершавым доскам, двинулся, заглянул в первое окно, потом осторожно, крадучись, подполз к тому окну, за которым стоял Федунов.

«Как только подойдет, со всего размаха шибану через стекло по башке и тем покончу», – мелькнуло у Федунова.

Взмахнул топором...

Человек, заметя блеск топора, кинулся в сторону, перебежав на другой порядок улицы, скрылся в темноте.

Потом тьму разрезал пронзительный, перепуганный выкрик, и вновь молчаливая тьма глянула в окно.

8

Пчелкин очнулся на заре. Он лежал в луже у двора Чухлява Егора Степановича... В голове у него ныло, шумело, как после сильной попойки. Упираясь руками в грязь, он поднялся сначала на колени, потом, разламываясь,

встал и заторопился в переулочек – на зады. И дорогой припомнил: вчера поздно вечером он вышел от Чухлява, распростился с Плакущевым и, перейдя Пьяный мост, завернул на Бурдюшку. На Бурдюшке все уже спали, только в самом начале, у разодранной ветлы, в избенке Васьки Шлётки горел огонек. Пчелкин подкрался к окну, заглянул. На полатах возился Шлётка, внизу около коптилки за столом сидела Лукерья, быстро вертела в глиняном блюде веретено, а по другую сторону стола – секретарь сельского совета Манафа.

Шлётка повернул голову и, как сыч глянув с полатей на Манафу, заговорил:

– Что, опять завариха?

– Завариха, – ответил тоненьким голоском Манафа.

– Этак-то вот вас и след.

– А тебе легче от этого? Ему легче, а? – Манафа засмеялся, обращаясь к Лукерье, явно ухаживая за ней.

Лукерья сконфуженно опустила лицо к веретену.

– Замучили, – буркнул Шлётка. – Фабрику, слышь, из деревни... чтобы всем хорошо... кисельны берега... да-а-а. Эх, бока-то как болят!

– Еще бы не болеть... день-деньской лежишь, – сказала Лукерья. – У лошади вон под сараем на сажень навозу...

– Ну, чай, лошадь – скотина, не прогневается, – утвердительно заявил Шлётка. – А ты вот что, Манафа, какое жалованье огребаешь?

– Двенадцать целковых.

– Эка!.. Я, бывало, больше пропивал... А это день за письмом торчи – и двенадцать.

Пчелкин оторвался от завалинки, шагнул к воротам из жердочек, глянул во двор. Там кто-то дергал из плетня хворосток.

«Кому бы это быть?» – подумал он и тихо позвал:

– Эй! Кто?

Никто не отозвался. Тогда он нагнулся и напряженнее посмотрел во тьму.

«Человек? Крупен больно. Кому же быть-то?»

Еще ниже нагнулся – и на сером фоне неба разглядел лошадиную голову. Голова, прикладываясь к плетню, вытаскивала тонкий хворосток и хрупала его на зубах.

– А-а-а! – протянул Пчелкин и, не найдя затвора, перелез через ворота. – Э, сидит! Вот чудо!

Лошадь, в самом деле, волочила за собой, точно перебитые, задние ноги. Тогда Пчелкин торопливо взбежал на крыльцо, и дверь со скрежетом впустила его в избу.

– Василий, беда у тебя на дворе!

– Да что ты-ы? – Шлёнка забеспокоился и готов был уже спрыгнуть с полатей.

– У Буланки ноги-то отнялись.

– Какие?

– Задние, стало быть: сидит!..

– Во чего, – разочарованно проговорил Шлёнка. – Это у ней не впервой... Кажду весну... Порошков, бают, ей надо. А я за порошками в Алай не соберусь... Причаливайся... Вот с Манафой спор у нас.

– Да я так... Шел мимо – лошадь увидел, забежал. Зайти, мол, сказать... Да еще, слышь, из города грамотка пришла – хлеб из амбара поделить. В утро дележ должен быть.

Долго говорили о хлебе, о Карасюке, потом Пчелкин вышел от Шлёнки, заглянул еще кое к кому и, растревожив голодный муравейник, направился к Плакущеву, затем повернул и порядком, крадучись, пошел к избе Федунова... черкнул мелком на калитке. Потом... Потом – он помнит блеск топора за окном в избе Федунова и то, как чьи-то могучие руки схватили его на углу дома Чухлява, ударили головой о станок, на котором гнут полозья.

Сейчас, пробираясь через Холерный овраг, он, вспоминая, напрягал память. Раздирая сплошной дикий вишенник, он закрыл глаза, и тут же перед ним всплыло смеющееся, потом злое лицо Яшки Чухлява.

«Он, пес, меня шваркнул», – и Пчелкин тут же вписал Яшку Чухлява в список «явных коммунистов».

Звено второе

1

В ночь – в реве ледохода, в сырости весны – из густой тьмы степей хлестал набат, где-то ухали глухие взрывы снарядов, а в стороне за Широким Буераком пожары красили небо.

В ночь из двора во двор, из хибары в хибару ползал слух о бандитах, о Карасюке и о дележе зерна...

В ночь тревожно жило Широкое.

А рано утром, еле успели хозяйки сбегать к роднику за водой и только что из-за соснового бора, желтая будто тыква, выкатилось солнышко, – в Широкий Буерак въехали три всадника. На высоких папах у них красовались красные повязки, за спинами, рядом с винтовками, болтались туго набитые мешки с краденым добром.

Въехав в Кривую улицу, они звонкой украинской песенкой разбудили тревожную дремоту села и, словно по знакомой дороге, свернули в переулок к самогонщице.

На песенку выскочил из избы Пчелкин. Сначала, увидав красные повязки на папах, он метнулся под сарай, но когда из песни ясно выделились слова:

«есаулы с казаками на панцину гонять», Пчелкин, вертя гашник штанов, заулыбался жене:

– У-у-у, вот это кони! Вот это молодчины! Дуня! Я в совет пошел.

– Ступай-ка, – сердито отозвалась Дуня, – может, башку-то непутевую сымут.

– Не сымут. Не сымут. Теперь и мы с подпоркой дай вот только срок, – ответил Пчелкин и двинулся к двору самогонщицы.

Но не прошел он и нескольких сажень, как у него перед глазами замельтешили его новые яловочные сапоги. Несколько дней тому назад он принес их от сапожника, надел, постлал на пол дерюгу и, поскрипывая, долго разгуливал по избе.

«А гожи – сроду таких не было, – подумал он, и вдруг разом забила тревога: – А возьмут? Белые, красные ли? Мало ли таких дел?... В прошлом году у Маркела Быкова – шубу, а у Егора Степановича Чухлява сапоги... Припрятать...»

Круто повернулся и еще с порога избы крикнул Дуне:

– Дай-ка сапоги-то!

– Зачем?

– А ты дай-ка, дай-ка!.. Ну, вот еще глаза вылупила! Аль не знаешь, кто на селе есть?

Выхватил из сундука яловочные сапоги и, уставя рыжие, точно у беркута, глаза на Дуню:

– Куда деть-то? Припрятать?

Вместе с Дуней осмотрели пустые, в копоти углы избы.

– А ты надень их, сынок, – присоветовал с печки дедушка Пахом.

– Верно! С ног-то не снимут, – согласился Пчелкин и, сбросив опорки, надел сапоги. Поворачивая на каблуке то одну ногу, то другую, пробормотал: – Больно завидны... – загреб рукой в исподе пригоршню саж, плеснул на нее водичкой, сажей сбил лоск с сапог и выбежал на улицу.

Из переулка, распевая песенку, выскочили три всадника.

Перескочив Пьяный мост, кони сбились в узком проходе между двух канав и, сжимая друг другу потные бока, рванулись в конец села.

И тут произошел молниеносный бой.

Неподалеку из еловой рощи резко треснул ружейный залп. Кони под всадниками шарахнулись в сторону, увязая в топкой грязи, затем вымахнули на дорогу и стремглав понеслись вспять.

Еще треснул залп. Тогда два всадника как-то осели в седлах, опустили поводья и сунулись лицами в гривы коней, а третий, плотно припав к спине рыжего жеребчика, со свистом пронесся мимо Пчелкина. И Пчелкин уже пожелал ему доброго пути, как из переулка выскочил, тоже верхом на коне, Степан Огнев, а за ним выбежал с винтовкой наперевес Николай Пырякин. Первый всадник от

неожиданности замялся, затем выхватил шашку и ринулся на Степана Огнева.

– Коля! Не стреляй! – крикнул Степан Огнев, чем весьма удивил Пчелкина, и сам ринулся на всадника, тоже выхватив шашку.

И между двумя всадниками завязался бой. Кони под ними танцевали, вздыбливались, грызли друг друга, над конями мелькали две шашки, и вдруг Степан Огнев как-то отступил, затем взметнул шашку и, крикнув, со всего плеча наотмашь хватанул противника. Тот вскрикнул, выкинул руки вверх и, как мешок, свалился с коня.

– Вот эдак-то его, сволоту такую, – сказал Степан Огнев и, нагнувшись, посмотрел в лицо бандита. – А-а-а. Это Емелька, правая рука Карасюка... Того бы еще придавить, мушкару. Ну, Коля, давай на Шихан-гору, там гостинец им приготовили, – и метнулся в сторону, а за ним, вскочив на емелькиного коня, кинулся и Николай Пырякин.

2

Солнце ручейками сгоняло в реки из оврагов ковриги синего снега. Речушки росли, густели красной глиной и, омывая корни набухшей вербы, дикого вишенника, в шумном воркотании сбегали в Волгу...

Волга ревела в ледоходе.

На задах Кривой улицы, на так называемой Бурдяшке, к избе Шлётки, словно к полному яствами столу, сбегались бурдяшинцы. Первым прибежал сапожник Петька Кудеяров. Он пронзительно кричал, тыкая рукой под уклон в избу Панова Давыдки:

– Давыдку!.. Давыдку Панова тащите! Нос от народа вертит? Не то вон – башкой в реку!

Тогда в окно избы Панова застучал Шлётка.

– Ты иди, – уговаривал его степенно и, как всегда, спокойно. – А то угроза! В Алай-реку намерены!

– Не пойду! – огрызнулся Давыдка. – Ишь чего надумали. Тошно вам мирно-то жить, канитель завели. Думаете – власть дурее вас?... Как же! Власть сказала – хлеб делить. А вы?

Шлётка ухмыльнулся и, выйдя на пригорок, сообщил бурдяшинцам:

– Не идет!.. Грит, вы супротив начинаний, и башки вверх ногами... Видели?

– Леший с ним! – Пчелкин отмахнулся. – Разве одни не справимся?

Под горой, будто случайно, показался Плакущев. Поравнявшись с бурдяшинцами, он низко поклонился:

– Что собрались?... Алай, что ль, глядите?

– Да вот... хлеб, Илья Максимович, делить, – первым высказался Шлётка.

– Какой хлеб?

– Да в амбаре...

– Аль еще не увезли его?

– Не-ет, – Петька Кудеяров, захлебываясь, затоптался перед Плакущевым. – Не успели ща! Ты вот, старшиной ты был – законы тебе и советски известны... Как тут?

Плакущев зачертил носком сапога сухую лбину у завалинки.

– Да ведь как это? Власть народная... – начал он. Бурдяшинцы примолкли и уставились на него. Весенний ветер трепал его длинную пушистую бороду.

– И... власть, значит, его – что он хочет, то и так... народ-то... Я так думаю, по законам советским... – закончил Плакущев, глядя на носок сапога.

– Верно, – подхватил Шлётка, – что народ захочет, тому и быть... На кой дьявола тогда и кровь проливали?

– Правильно!..

– Верно!

– Наш хлеб...

– Позвольте! Позвольте! – разрезал гам Петька Кудеяров. – Это, как сказать, куда баран... баран... туда, стало быть, то ись, куда, стало быть... Одно слово – идти всем, – он разрубил воздух левой рукой, – всем как есть – и Давыдку с собой!

Вытолкнув из избы и взяв в круг растерянного Давыдку Панова, бурдяшинцы двинулись через Пьяный мост ко двору Федунова.

Плакущев же Илья Максимович, как только поравнялся со своим двором, точно рыбка, незаметно выскользнул из толпы и коленкой плотно притворил за собой калитку.

В дверях избы он столкнулся с Зинкой, как жеребенка, потрепал ее за ухо, прошел в переднюю, сел на лавку и уставился в окно.

– Ну, вот, дело началось, – проговорил он и плотнее припал к стеклу, шурша бородой о сосновый подоконник.

За Крапивным долом – в Заовражном – из двора во двор бегали мужики.

«Зашевелились и там, – решил Плакущев. – А это кого несет? – и вытер набежавшую тень на стекле. – Кто это?»

Из Заовражного, под уклон Крапивного дола, скользя по глинной тропочке, бежал в Кривую улицу Захар Катаев.

«Ах, пес! – ругнул его Илья Максимович. – Опять ведь не даст делу произойти, – поднялся с лавки, торопливо надел на голову картуз, потом медленно стянул его и вновь сел перед окном. – Пойти сразиться с ним? Да и то – что еще будет потом?» – подумал он и задержался у соснового подоконника.

3

Федунов запрягал Серка, а дедушка Максим побежал в кормушку за соломой. Как только улицей проскакали Огнев и Николай Пырякин, Федуновы решили Дашу с дедушкой отправить в село Алай, к тетке.

Мужицкий рев сорвал Федунова с места. Он вбежал в избу и, через окно увидав, как бурдяшинцы и криулинцы 'широким потоком двигались к его двору, крикнул:

– Ну, этим я не дамся, – и кинулся к выходу, – эти меня не возьмут!

– Митя, – позвала Даша, еле поднимаясь с кровати.

Федунов задержался, а Даша крепко вцепилась руками ему в спину:

– Отдай... Отдай... ключ-то отдай... от амбара. Чай, не твой хлеб-то...

– Пусти... Пусти... говорю...

– Гибели твоей не хочу... Все равно найдут... Не спрячешься.

Из сарая в избу вбежал дедушка Максим и закричал, старчески прикладываясь ладошками к Федунову:

– Беги... беги, сынок!.. Лодка в кустах. В камыш беги!

Толпа уже гремела вблизи:

– На осину яво!.. На осину! Осина у нас в Сосновом овраге имеется.

– Эй, ты, вояка! Выходи!.. Балясы нам поточишь, как и что!

– Пусти... а!

От толчка Федунова Даша отлетела в сторону, ударилась головой об угол печи, тихо застонала. Сначала она повалилась на правый бок, потом перевернулась на спину и поджала ноги. Федунову в глаза бросился вздутый живот.

Даша открыла глаза – они теплые, ласковые, во влаге слез.

– Сейчас встану, сейчас, Митя, встану...

– А-а-а-а, бей!.. – прогремело с улицы.

Окно со звоном влетело в избу, как ножи, в стену врезались острые осколки стекла.

– Беги... Беги! – дедушка толкнул Федунова и поволок Дашу, загоразивая собой ее вздутый живот.

Мужики уже сплошь забили двор. При появлении Федунова они разом оборвали гам, попятились. Федунов быстро обежал их глазами, остановился на Давыдке Панове.

«И этот здесь, а ведь в артель пошел. Значит, сдаваться бы надо мне давно... канитель зря не разводите...» – подумал он. Невольно сунул руку в карман. В кармане в ладонь попал большой ключ от амбара, им легонько повернул – штанина от ключа приподнялась.

Этого было достаточно, чтобы вывести толпу из минутного замешательства.

– А-а-а! Стрелять хочешь! – крикнул Пчелкин. – Бей!

Он первый бросился к березовому плетню. Плетешок под корявыми руками толпы вмиг развалился, освобождая дубовые колья.

– Граждане! Товарищи! Братцы! – бледнея, взмолился Федунов. – Братцы... Да братцы!..

Первый кол просвистел над его головой – ударился в дощатую переборку коридора, перешиб ее. От второго удара у Федунова уркнуло в груди, он покачнулся и, стараясь не грохнуться с крыльца в ноги мужиков, опустился в выходе, упираясь правой рукой в порог коридора, чувствуя, как из горла – будто лягушонок – что-то выскользнуло в рот: губы разжались, и изо рта выпрыгнул сгусточек крови. Потом лягушата заторопились – запрыгали быстрее. Федунов силился подняться, и вновь кто-то долбанул его в голову, – тогда он полетел точно в глубокий, темный колодец...

– Что делаете?! Что делаете, дети сукины?! – загремел Захар Катаев, вбегая на крыльцо. – Собака это вам аль человек?! А?

– Пчелкин... всё. Громила! – врываясь во двор, сообщил Яшка Чухляв. – Вечер видал его!

Толпа замерла...

А из-под сарая выкрикнул Давыдка Панов:

– Ему вон портки-то спустить и вложить... Мохор проклятый...

Пчелкин выхватил кол у Петьки Кудеярова и, взмахнув им в воздухе, кинулся на Захара:

– Бей!

– Захара не трожь! Не трожь Захара! – Яшка перегородил ему дорогу. – Не трожь! – И над головой Пчелкина повис увесистый, ядреный кулак Яшки.

Пчелкин сжался, опуская кол к земле.

– Ну-у, – медленно в тишине проговорил Захар, – видали его? Кого слушаете? Вот он меня норовил ухлопать. А потом тебя ухлопает, тебя... тебя вот, – он начал тыкать по порядку в лица мужиков, – всех ухлопает, а сам? Самому уже ему тогда прямое – на большую дорогу.

– Захар, – еле слышно простонал Федунов, протягивая крепко зажатый в руке ключ от общественного амбара.

Захар повернулся, подхватил Федунова, поволок его под сарай. Здесь открыл дверцу.

Неподалеку за огородами блеснула бурная, рыжая от глины и солнца река Алай, а за рекой – высокий камыш.

4

А по улице, разбрызгивая во все стороны грязь, уже скакали карасюковцы.

Во дворах закудахтали, метаясь через плетни, через соломенные крыши сараев, куры, визжали под ударами прикладов собаки, а у Степана Огнева со скрипом растворились ворота, и овцы, болтая сухими хвостами, шарахнулись через улицу на зады.

Вслед за овцами два карасюковца вытолкнули за калитку дедушку Харитона. Он, седой, без шапки, махая руками, что-то кричал, пятился. Тогда один – татарин Ахметка – жестоко хлопнул его прикладом по голове. Дед пошатнулся и со стоном сполз в мутную лужицу.

– Ну, старый кобель! – и Ахметка пнул Харитона сапогом в бок.

На полотняной рубашке остался мазок грязи, а из лужицы змейками потекли ручейки.

– Готов уже, – проговорил Другой, шагая через Харитона.

– Готов, так айда к соседу...

Заслыша уличный гам, Пчелкин метнулся сначала на огород – хотел нагнать Захара, но тут же круто повернул и бросился к калитке. На углу избы поскользнулся, топыря пальцы, сунулся ими в жижицу – и разом растерялся, заслышав из-под сарая смех Яшки Чухлява.

– Ты, кобеленок! – пригрозил Пчелкин и потряс списком «явных и тайных коммунистов».

Во двор ворвались карасюковцы и первым вытолкали за калитку Пчелкина, затем, подняв суматоху, прикладами выгнали на улицу и остальных мужиков.

Село уже орало скрипом ворот, криком бандитов, воем баб... У Ильи Плакущева с рыком сорвался с цепи Полкан, кинулся на проходящего мимо карасюковца. Карасюковец шашкой разрубил широкую пасть Полкана.

Вскоре все мужики были поставлены в три ряда на небольшой площади перед церквешкой. И тут по рядам заползло в затаенном шепоте:

– Деда Харитона прикончили. Во-о-о-н он.

У своего двора, в белой рубашке, будто мешок с мукой, в лужице лежал дед Харитон Огнев. И люди из рядов смотрели на него, а Давыдка Панов шептал:

– Эх, дед, дед. Смерть свою где нашел.

В эту минуту к мужикам и подскакал сам Карасюк. Он подскакал на костистой огромной рыжей кобыле, сам маленький, плюгавенький. Мужикам показалось, это скачет таракан на коне.

– Стариков наперед, – приказал Карасюк и потрогал на себе ремешки, кобуру нагана, шашку. Рука у него еле заметно дрожала, а глаза он косил в сторону: ему, видимо, было и стыдновато и трусовато. Но так длилась, может быть, какая-то минута, в следующую минуту Карасюк уже стал другой – подтянутый, жестокий, и еще громче крикнул: – Стариков наперед!

Быстро под ударами прикладов задвигались ряды. Передний украсился бородами. С краю от Карасюка стоял Панов Давыдка, рядом Никита Гурьянов, около – Плакущев Илья, дальше Шлёнка, бородачи... Второй ряд – менее бородатый. Среди него, перед Яшкой Чухлявом – осенью поженившаяся молодежь. Здесь не было Егора Степановича Чухлява.

«Вишь, – подумал Пчелкин, – ускользнул и тут... подлюга... Список-то как же передать? Илья Максимович говорил – тайком. А как тут тайком?»

Яшка Чухляв посмотрел в рыжеватый затылок Пчелкина и улыбнулся, вспоминая, как он вчера, разыскивая в улице Стешку, случайно натолкнулся на Пчелкина и шваркнул его о станок.

«Должно больно ушибся... громила», – подумал он и через согнутые спины широковцев глянул на Карасюка – жестокого, решительного, затем перевел глаза на избу Степана Огнева. Ему показалось, что в растворенной калитке мелькнуло серенькое платье Стешки. Он разом выпрямился, и во всей фигуре блеснула гордость: он вместе со всеми широковцами перед Карасюком, и вот гляди – крепче его никто не стоит на ногах. И тут же ему страшно захотелось: пусть Стешка хоть одним глазком глянет на него – тогда и она не стала бы называть его килияком... Не килияк он, а страху смотрит прямо в глаза.

– Начальник, готово! – сообщил татарин Ахметка.

– Вижу, – взвизгнул Карасюк.

– Моя мал-мал, – забормотал Ахметка и кинулся через дорогу.

Плакущев проследил, как он, брызгая грязью, перебежал улицу, толкнул ногой калитку, – а через миг из избы Плакущева раздался пронзительный крик Зинки... Перед окном мелькнула ее голова, а за спиной – широколапые руки Ахметки. У Плакущева задрожал подбородок, сизая борода плотнее прилегла к широкой груди, из глаз покатались слезы.

– Господи, – зашептал он, – господи...

С седла слез Карасюк. На нем была очень длинная шинель: он, очевидно, носил ее для того, чтобы казаться большим. Разминая ноги, подбирая полы шинели, он два раза прошелся перед широковцами. Те, как муштрованные солдаты, водили головами за ним, за его сапогом. А когда Карасюк остановился, глянул на труп Емельки, своего первого помощника, – они отпрянули назад и тихо сгорбили спины...

– Ну! (спины мужиков вздрогнули). Не согнал бы я вас сюда, если бы ваши коммунисты и комсомольцы не убили моего друга... Теперь с вас спрос: кто родня коммунистам и комсомольцам?

Пчелкин метнул глазами на Плакущева – Илья Максимович, согнув спину, стоял, будто перед свежей могилой.

Широковцы молчали, стараясь скрыться от сверлящего взгляда Карасюка. Даже Яшка Чухляв не выдержал и опустил свои глаза в пятки Петьки Кудеярова, а Петька, засунув обе руки за сапожный фартук, плотно сжал ноги. Только Шлёнка, распахнув с обрызганными полами полушубок, выставив из-под

разорванной рубахи жирок живота, глядел на Карасюка и, казалось, говорил: «Моя хата с краю, я к этому делу не причастен, и вообще с меня нет спросу... А спросишь – наболтаю столько... что сам не разберешься».

– Ну, ты вот! – Карасюк ткнул пальцем в Петьку Кудеярова.

– Я? – Петька, будто щеночек, завизжал, словно около него повели раскаленным железом. – Я!.. Да я что? Весь народ знат, из верстака не вылезаю... Сапожник я... Я ведь это... с дурцой... С дурцой малость...

– Действительно, с дурцой, – тихо, но серьезно проговорил Панов Давыдка.

Вновь наступила тишина.

Жадно припекало солнце...

Урчали ручейки по склону Крапивного дола, в реве льдин играла Волга, чавкали, переминаясь в грязи, копыта лошадей, да где-то прокричал шелапутный петух... Этот петушиный крик не только широковцев, но и Карасюка приковал на миг к говору весны: он посмотрел вдаль – в глазах блеснула детская радость, затем их вновь затянула хмурь.

– С дурцой? – Карасюк повернулся к Панову. – А ты ведь не с дурцой? Ну, ты говори...

Давыдка прищурил глаза:

– Да что, ваша милость. Звать-то уж и не знаю как вашего брата... Все перепуталось: одного товарищем назовешь – в рожу норовит, другого господином – тоже непрочь в рожу. Так и перепуталось все.

– Как ни назовешь, да милуй, – Карасюк неожиданно засмеялся и стал совсем похож на мальчишку.

У широковцев вырвался громкий вздох, а Петька Кудеяров, скорчив кривую рожу, что-то забормотал.

– Так что, – продолжал Давыдка, – ничего и не разберешь, кто коммунист, а кто нет?... К нам намердись из городу приезжал один, взял у моей бабы два горшка молока да спасибо сказал, и все... Коммунист значит?... А вон – татарчук-то твой из избы Плакущева тащит – тоже, стало быть, коммунист?...

Карасюк нахмурился.

А из рядов полетело:

– Разобрать трудов стоит, кто чего...

– Тут человеку грамотному надо быть...

– Да и то, – перебил всех Давыдка, – да и то – вот ты ушел, а отец твой отвечает за тебя... Его тоже, чай, поди, ой, как треплют.

Карасюк встряхнулся. Перед ним мелькнуло море, Джамбай – поселок на взморье, старик отец. Астраханские пески. Отряды. Бои и стычки. Случайная встреча с анархистом Сапожковым. Анархист этот отличался тем, что имел Длинные золотистые волосы и умел страстно убеждать тех, у кого в голове была

еще «политическая каша». Такая же каша тогда была и у Карасюка: из всего, что наговорил ему Сапожков, он вынес одно: «Анархия – мать порядка». И пошел тогда Карасюк всюду насаждать анархию. Анархию насаждал, а порядка вовсе никакого не было, да и сам-то он превратился во что-то безвольное, подчиненное постороннему, тому же Емельке, человеку бессмысленно жестокому: Емелька убивал всех без разбора – детей, стариков, женщин. Когда гражданская война улеглась, отряд Карасюка стал таять. От полутора тысяч сабель у него осталось четыреста. Задержались те, которым некуда деваться: убийцы, грабители, объявленные вне закона. А так, может быть, и Карасюку хочется удрать к отцу, поваляться на песчаном берегу моря. Но этого не может быть. Вот, Емельку уже убили... И Карасюк снова нахмурился, побледнел, затем выхватил из кобуры наган и рванулся к Давыдке Панову:

– Я тебя спрашиваю: где коммунисты? А ты балясы точишь... Говори! Считаю до трех, ну!

– А-а-а-а!.. Такая у тебя народная власть! Стариков, как собак... как собак, согнал на улицу и пистолетом стращаешь... Не застращаешь! Жили, видели не это, не это видели... И тебе припомним, графчик у нас тут был, – вырвалось у Панова Давыдки.

При упоминании о графе у широковцев разогнулись спины, и сотни злых глаз глянули на Карасюка, на карасюковцев...

– Говори! – завизжал Карасюк, наставляя дуло нагана. – Говори! Считаю до трех. Раз! – он отступил на шаг. – Два!

Давыдка (не зря ему часто говорила старуха: «Эх, Давыд! Горяч ты не в меру... сильно горяч!») сорвался с места:

– Да что я тебе, коровий хвост, что ль?... Ты что, галчонок, надо мной...

Остальное завертелось в глазах широковцев с невероятной быстротой. Давыдка метнулся на Карасюка и сунулся лицом в грязь: Карасюк ручкой нагана разбил ему голову и тут же левой рукой ударил в грудь Никиту Гурьянова. Никита со страху подогнул колени и повалился на Давыдку, а Карасюк вцепился в длинную бороду Плакущева, рванул, и тот упал в ноги вороного коня, а в воздухе блеснул клочок сизой бороды.

– Сволочи!.. Я вас проучу!.. Я вас проучу... Я вас! – безумя, выкрикивал Карасюк и рукояткой нагана бил по головам широковцев.

Пчелкин хотел передать Карасюку список, но, когда в воздухе мелькнул клоч седой бороды Плакущева, у Пчелкина задрожали ноги, и он невольно повернулся назад. Позади, в пасти переулка – в тридцати саженьях – мелькнула река Алай, а за Алаем – залитый лучами солнца тонкий оголенный камыш... Пчелкину даже почудилось – вдалеке из камыша на прогалину выскользнула лодчонка с Захаром и Федуновым.

– А-ы-ы-ы!..

– А-ы-ы!..

– А-ы-ы-ы!..

– А! – вылетало из-под ударов нагана, и один за Другим валились широкоовцы в ноги Карасюку.

– А-а-а! Сволочи... Али!.. – позвал Карасюк калмыка. – Поднимай... Али!

Калмык Али стоял недалеко от Пчелкина. За спиной Пчелкина в тридцати саженях река Алай, за Алаем – густой нетронутый камыш. В камыш нырнешь – в камыше не сыскать тебя ни огнем, ни пушкой. Пчелкин затоптался, точно подрезанный конь на привязи, а затем со всех ног, встряхивая головой, метнулся в сторону и переулком помчался на берег Алая.

– Ай... Ви-и-и-й, – взвизгнул Али и припал на колени.

Пуля просвистела и чокнулась в воду. За первой пулей последовала вторая, потом третья. Карасюк закричал: «Словить!» А Пчелкин, добежав до Алая, сначала хотел броситься в воду, но бурная муть реки остановила его. Позади слышались голоса. Потом две-три пули просвистели над головой. Пчелкин перемахнул через плетень, замесил топкую грязь огорода и узкой, в зарослях ветельника, дорожкой добежал до сарая. Нырнул под сухие, развешанные на заборе плети тыквенника – замер в ожидании...

Хрустнули ветки, зашевелился кустарник набухшей вербы, из-за кустарника выросли два калмыка, раскосыми глазами глянули на реку, потом на огород, чуточку постояли. Пчелкин крепче зажмурил глаза, а когда открыл – вдали мелькнули две спины.

«Не-ет... тут, как на углях. К Егору Степановичу... он не пришел, дома, значит, сидит... К нему – прикроет!.. Хитрой!..» – со всего разбегу ударил плечом калитку – та отлетела и попятился: во дворе три карасюковца тормозили Чухлява.

– А-а-а! – застонал Пчелкин и стремглав понесся обратно. Но, добежав до середины огорода, снова попятился: на берегу реки стояли те же два калмыка.

– У-у-уй!

Визг калмыка, будто кнутом, хлестнул Пчелкина. Он подпрыгнул и, ожидая выстрела, согнулся, затем кинулся к плетню. Из-за плетня показались лохматые папахи, и несколько дул винтовок сумрачно глянули Пчелкину в лицо. Он повернул голову. Из-за другого плетня тоже поднялись лохматые папахи, и также сумрачно глянули дула винтовок.

«Отрезан», – застучало у него в голове, и в горле застряли, свернулись горьким комочком слезы. Ему страшно захотелось упасть на загон, зарыться в топкую грязь пахоты или разом превратиться в бесштанного паренька, сесть на дорожку и в удивлении посмотреть на торчащие папахи и дула винтовок.

«Тогда и спросу не будет. Тогда не будет. А сейчас?...»

В ожидании выстрела он сжался и уже представлял себе, как продырявленный со всех сторон пулями, подбитый, словно галка, шлепнется в грязь, и тогда – всему конец, всему: ему, Пчелкину, его яловочным сапогам... уж их непременно теперь снимут, достанут из кармана список и сами расправятся с явными и тайными коммунистами... Плакущев Илья Максимович один будет

довольствоваться и кому-то еще займы даст кожи на сапоги, пуда полтора муки, самогонкой кого-то будет угощать, только уж не его – Пчелкина...

Но выстрела не было. Из кустов, оскаля зубы, вышел калмык Али:

– Ай! Давай! Давай!

«А, дурак я... – мелькнуло у Пчелкина. – Список им надо – вот и не стреляют... а я дурак...»

Быстро сунул руку в карман пиджака. В изорванном кармане запуталась бумажка – со злобой дернул ее и шагнул навстречу калмыку.

И тут же пронеслось два решения:

«Отдать... а?... Потом волком завоеешь. Скажут: сколько народу подлец загубил...» И второе: «Что ж... не я отдал... не сам. Все видели – силой. Кому охота свою голову свернуть».

В этот миг карасюковец, взобравшись на плетень, обрушился сверху на Пчелкина, затем чьи-то сильные руки сдавили его, и Пчелкин, колыхаясь, поплыл над землей... Сначала он слышал гвалт мельничного колеса, потом гвалт смолк. Перед Пчелкиным мелькнули спины широковцев, сам Карасюк. И кто-то сообщил на ломаном русском языке:

– Председатель, начальник!..

– Карош, ай!

«Ага, словили, словили Федунова... Федунова», – завертелось у Пчелкина.

Калмык Али ткнул его в спину прикладом – хрястнул позвоночник, по телу пробежала холодная дрожь. Потом тело куда-то уплыло, глаза заволоклись дымкой, и Пчелкину показалось, что у него осталась одна голова, и то только часть ее – лоб, а под лбом – живое, двигающееся, светлое.

– Карош начальник! Ой, карош! – закричал еще раз Али, оглядывая Пчелкина. – Ай, карош!

Карасюк подскочил к Пчелкину, вставил ему в рот наган.

– Говори... сукин сын!

От холодного прикосновения револьвера Пчелкин отдернул голову.

– Ахметка! – крикнул Карасюк.

Ахметка выбежал с узелками из двора Плакущева, отложил их в сторону и засуетился перед Карасюком.

– Моя берим, моя берим, – забормотал он, грозя кулаком карасюковцам.

– Ахметка! Делай свое дело!

Ахметка кинулся во двор Гурьянова.

В толпе кто-то тихо, сдержанно завыл.

– Ну-у-у-у!.. Повой ты там... Повой! – еще громче завизжал Карасюк и, грозя наганом, вскочил на коня. – Винтовки!

Широковцы сбились в круг, стараясь каждый втиснуться в середину, жались, глядя только в одну сторону – на Карасюка.

С сытым, коротконогим меринком со двора Гурьянова выскочил Ахметка. Калмык Али подхватил под мышки Пчелкина и, чертя его яловочными сапогами весеннюю грязь, поволок к меринку. У Пчелкина вылупились глаза. Но, когда Али концом веревки захлестнул петлю и на второй его ноге, Пчелкин поднял к лицу ладони и будто умылся. Перед ним мелькнул лошадиный хвост, а от хвоста – к его ногам – две веревки. Он отпрянул, закричал дико, пронзительно. От его крика меринок рванулся и под гогот карасюковцев, под сдержанный стон мужиков поскакал вдоль улицы.

Желтый пиджачок вместе с рубашкой сполз с плеч Пчелкина, закатался, из ран на спине, пробивая грязь, кудерилась кровь, и трепетали кровяные разорванные мускулы.

– Ой! Живой! Живой! – разрезал гам женский плач.

Меринок шарахнулся через улицу в переулок. На повороте Пчелкин ударился о сложенный стопочкой дубняк, несколько раз перевернулся в воздухе и шлепнулся в лужу.

Из сотни грудей широковцев разом вырвался свирепый рев. Этот рев спугнул костистую лошадь под Карасюком.

Карасюк плеткой осадил коня и снова повернул его к широковцам, но те уже бежали во все стороны, и карасюковцы, догоняя, били их в спины прикладами, а Ахметка, стянув с Пчелкина сапоги, стал шарить по его карманам.

В одном из карманов он нашел влажный, загрязненный лоскуток бумаги... и кинулся к Карасюку.

– Началнык! – еще издали закричал он.

Карасюк выхватил из рук Ахметки лоскуток, пристальнее взгляделся... В верхушке расплывчато торчали три буквы – «ком».

«Ну, неужели?» – мелькнуло у Карасюка.

Где-то ухнула пушка. Над селом чиркнул снаряд, ударился в Волгу – бабахнулся, взметывая огромный столб брызг. Второй снаряд ударил в пожарную стойку, разнес ее вдребезги, а на горе Балбашихе, в двух верстах от Широкого, показался отряд кавалеристов.

– Ахметка! Забрать с собой!

Последние слова Карасюка утонули в гаме.

Улица забрызгала грязью. Отряд Карасюка быстро скрылся за околицей. На перекрестке дорог задержался, потоптался, потом конь Карасюка рванулся вправо – по направлению к селу Никольскому.

Тогда с земли поднялся Плакущев Илья. Раскачиваясь, щупая плешину на бороде, он тронулся к своему двору. Навстречу выбежала Зинка... Она попятилась от белого, поседевшего отца.

5

Яловочные сапоги Пчелкина, узелки с одежкой Плакущева Ахметка привязал к седлу и, будто кочевник, подъехал ко двору Егора Степановича Чухлява.

Егор Степанович, обхватив сухими руками живот, сидел под сараем и корчился от боли: его уже несколько раз позывало в угол за конюшню.

– Брюхо, видно, уж так устроено, – ворчал он, – как завируха, так из-под сарая хоть не уходи.

Когда же в калитке появился Ахметка, Егор Степанович побледнел и, улыбаясь, тыча пальцем в живот, заговорил:

– Уй-уй, знаком, трещит мало-мало.

Ахметка заржал, щуря раскосые глаза:

– Ты Якыф?

– Нет Яков! – И Чухляв вновь кинулся в угол сарая. Сидел обдумывая: «Чего гололобому понадобилось?»

А через село, будто сдирая крышу сарая, пронесся снаряд. Он взорвался на огороде Николая Пырякина. В щелку задней дверцы Егор Степанович видел, как брызнула от взрыва во все стороны сырая земля и осколок снаряда шлепнулся в лужу. Ахметка, тревожно стуча винтовкой о колесо телеги, крикнул:

– Эй-й! Шалтай-болтай нельзя! Якыф давай! Давай Якыф!

Яшка вышел на крыльцо, бледный, растрепанный:

– Что тебе?

– Лошадь есть? Кобыл там, мерин там?

Егор Степанович второпях оторвал у штанов пуговицу – обозлился, повертел ее в руке, затем воткнул один конец гашника в петельку и затанцевал перед Ахметкой:

– Какая у нас лошадь? Не лошадь, а глядеть неохота – одер! На махан не пойдет... Иди хоть сам погляди, – и ввел татарина в конюшню.

– Ай, ай, – Ахметка покачал головой, глядя на лошадь, – зачем так, а? Моя так – когда солдат тащил... Красный солдат тащил, моя глаз пускал, мой глаз кривел. Ай, ай – глаз кривой был.

– Не-ет. Не-ет, знаком. Ты думаешь, нарошно с лошадыю? Ну, чай, кто себе враг? Не-ет. С осени с ней беда случилась.

Егор Степанович пустился рассказывать про беду, а Ахметка, не слушая, вышел из конюшни и направился под сарай.

– Во-он... прихлопнуть... топором, – тихо шепнул Яшка, показывая отцу на торчавший в чурбаке острый топор.

– Что ты? Что ты? – Егор Степанович затрясся и зацарапал затылок острыми, длинными, грязными ногтями. – Другое что.

– Что другое? Давай... В Волгу сбросим.

– Не-ет! Ты беги-ка, там за печкой две бутылки первачу стоят. Тащи... Ну, знаком! – Чухляв ринулся к Ахметке. – Чужая лошадь та. Чужая, не наша.

Ахметка вывел пегую кобылу. Кобыла вздыбилась, вырвалась из рук и, прижимая уши, поскакала по двору.

– Вот, какая стерва! А кусается – страх! – постращал Егор Степанович.

– Ах, карош! – взвизгнул Ахметка. – Якыф давай! Давай Якыф!

– Яков будет, она туда пошел, – Егор Степанович пальцем щелкнул под подбородком и, ломая язык, обнял Ахметку пониже плеч. – Кунак, айда! Кунак!

Из избы с двумя бутылками первачу выбежал Яшка. Егор Степанович, показывая на бутылку, сильнее потянул Ахметку в избу.

– Айда, кунак! Гость дорогой будешь... Люблю брата вашего. Хоть вера разная, а бог-то один! Айда!

Ахметка упирался, скалил зубы, потом потянулся к бутылке и разом выпил ее до дна.

«Ну и жрет», – подумал Егор Степанович.

– Нца, – чавкнул Ахметка и решительно почесал левую щеку. – Давай, Якыф! На лошадь давай. Началнык Карасюк давай! А то резить будем.

Егор Степанович в злобе зашипел на Яшку:

– Пес! У-у, дьявол! Чего наделал? Чего наделал, говорю. А-а? Вот через тея... и лошадь через тея... Ах, ты, господи, – и опять к Ахметке. – Знаком, чужая лошадь. Не наша. Ну!

У Яшки от упрека отца задрожали губы, лицо налилось кровью.

– Ты-ы-ы... ты все, – Егор Степанович повернулся к нему. – Через тебя и люди страдай.

– Ну, верну тебе лошадь. – Яшка со всего разбега вскочил на лошадь и обратился к Ахметке. – Ты, исковыренный, айда!

– Куда ты?... Яшка, куда ты?

Не успел Егор Степанович выбежать за калитку, как два всадника галопом скрылись за околицей.

Самогонка вскоре ударила Ахметке в голову... Расплюснутый нос будто еще больше расплюснулся, ушел в щеки, глаза превратились в щелки, и вытаращились круто обрубленные, жесткие усы.

– Карасюк, а-а-а, началнык карош, – бормотал он, – моя Карасюк. Ахметка... Ахметка берим, Карасюка берим, мало-мало берим... базар. Ой, Карасюк... Ай!

А когда они выехали в открытое поле, Ахметка, поправляя у седла яловочные сапоги Пчелкина, протянул измятый лоскуток бумаги. Взяв лоскуток, Яшка разгладил его, долго всматривался в расплывчатые, замазанные грязью слова и единственно, что мог прочесть в загибе, – это «Яшка Чухляв». Кровь разом

бросилась в лицо, листок задрожал в руке.

«В коммунисты вписал... Пчелкин вписал? Ну да, он, громила. Себе башку сломил и другим... Листок-то спрятать... а? А без листка что мне?...»

– Давай, Якыф, давай, – Ахметка протянул руку к листку. – Лошадь давай, деньги давай, шурум-бурум давай – сам гуляй!.. Девкам гуляй, кунак гуляй. Что молчишь? Язык терял? – он раскосо посмотрел на Яшку, засмеялся, покачнулся и еле удержался в седле.

– Ну, знаком... Лошадь возьмешь? Бери, черт с тобой. А денег у меня нет. Где возьму денег?

– У-у-у... скупой, ай, ай, скупой. Лошадь драл, драл.

– Да. Железный. В селе Железным зовут, – согласился Яшка, понимая, что татарин говорит про его отца. – А с тобой друзья будем, – по-отцовски ломая язык, продолжал он, – коммунистам башки колотить будем. Ух-ух!

– Есть коммунист? – встрепенулся Ахметка.

– Ну, еще бы нет... много коммунистов... во-он – там много, – показал он вдаль на село Алай.

Слева за сосновым бором мелькнула колокольня Никольской церкви, и впереди зазияла пасть Бирючиной ямины. Справа вилась через гору Балбашиху дорога в Подлесное; чуточку в стороне от дороги, будто у огромного арбуза вынут ровный ломоть, тянулся Долинный дол.

По слухам, Яшка знал, что в Бирючиной ямине стоит отряд Карасюка.

«Стало быть, Ахметка туда меня и тянет... надо сбить его с дороги, завести в лес, а там – что будет. Двум смертям не бывать. На кулаки бы...»

Он оглянулся. Ахметка дремал. На колючем подбородке у него появилась зеленоватая слюна.

«Разобрало... Отец в самогонку куриного помету для крепости положил. Вот и разобрало».

Он тихо повернул лошадь и рубежом тронулся по направлению к Долинному долу. Несколько минут у него сильно колотилось сердце, ноги клещами врезались в бока Пегашки.

Впереди черным пятном из разлива вод выпятилась плотина. Яшка придержал Пегашку и вместе с Ахметкой въехал на изрезанную колеями плотину, затем круто повернулся и ураганом бросился на дремлющего Ахметку. Ахметка от неожиданности дрогнул и, падая вместе с Яшкой на плотину, ухватил рукой за винтовку. Яшка со всего размаху ударил кулаком по руке – винтовка отлетела в сторону.

Они долго, пыхтя; возились в грязи.

– Черт! Че-ерт! – иногда вырывалось у Яшки. – Черт!

– А-а-ай! Ву-у-й-й! – взвизгивал Ахметка.

Мазок грязи ударил Яшку в лицо. Яшка разом отпустил правую руку Ахметки. Ахметка пальцами вцепился в кадык Яшки, перекинул ногу ему на спину, крепко прижал к себе. Яшка напряг все силы. На лбу у него вздулись синие жилы, в животе поднялась тошнота. Плотина, лошади, кустарник качнулись, потом быстро завертели, встали вверх ногами и задрожали вдалеке... Две алые струйки выступили на губе и потекли на грудь... Яшка рванул головой – пальцы Ахметки скользнули и вновь вцепились чуть пониже горла, сжимая ключицу. Яшка зарычал, собрал все силы – вскочил на ноги, поднимая с собой Ахметку.

Что-то булькнуло за плотиной, в бурлящей горловине пруда, а Яшка повалился у ног лошадей, зацарапал пальцами грязь. Затем глубоко вздохнул и в ожидании удара быстро вскочил на ноги.

Ахметки нигде не было.

«Должно быть... – разжимая кулаки, подумал Яшка, – должно быть... А-а-а, гололобый, уробел... сбежал...»

Покачиваясь, шагнул на середину плотины и уже обрадовался, что вот приведет домой не одну, а две лошади, – как под плотиной в водяном реве что-то заплескалось. Он отскочил от перил.

«Должно быть... Сом, должно, быть, попался. – Прислушался к плеску. – Сом и есть... зацепился за корягу или еще за что».

Глянул через перила – лицо передернулось: в горловине затворни, там, где с ревом вырывалась вода из пруда, – вверх подошвами, покачиваясь пузырями, торчала пара новых яловочных сапог, а чуть пониже колыхалась лысая голова Ахметки.

Звено третье

1

По склону Крапивного дола, по рытвинам овражков уже не булькали весенние потоки, не редела в ледоходе Волга. Лоснясь сизым хребтом на солнце, она расхлестнулась вширь и залила берега и отмели. А в низине Крапивного дола сочными молодыми побегам распустился куст дикой малины. В малинике малиновка свила с горсточку гнездышко. Самец сторожит малиновку: ероша шейку, он скачет с куста на куст и скоком пугает земляную мышь.

В улицах же Широкого Буерака ветер крутит сухой навоз и задирает соломенную крышу на избе Шлётки. Иногда ветер рвет с нее солому и пучочками разбрасывает по берегу реки Алая, путает соломой ветви зеленого ветельника.

– Вот, проклит, – поднимаясь с берега Алая, ворчит Шлётка. – Каждую весну вздернется – и всё тебе. Хоть святых выноси.

– А ты солому-то лутошками заложи, – советует из-под кручи Степан Огнев. – Вот она и окрепнет... А то литвеном прикрыл. Знамо, где ей держаться?

– Будет тебе! – огрызнулся Шлётка. – Будет учить-то. Учены да переучены мы, слава тебе господи... И у меня сын был бы в Москве, – и я бы...

– Что сын? Сын мне крышу не кроет!

– Знаю, крышу-то не кроет, да еще чего... Думаешь, люди не знают?...

– Берегись, Шлёнка! – понеслось из-под горы. – Не то язык-то прикусишь!.. Вставлю тебе перо в одно место, и полетишь.

– Не пугай! Пуганы мы, вот что, – еле слышно пробормотал Шлёнка и по глиняной тропочке пошел к своей избе.

А Степан Огнев Вынул из воды мокрые, скользкие лыки, перекинул через плечо и крикнул в заросли кустарника:

– Стеша! Я пойду, да и ты скорее...

– Кого это он?... Сережу, что ль?

– Да-а... Думает – другим кто-то все делает.

Одного хотел Шлёнка – хлеба... Об этом часто сны снились. То горы толстопузой пшеницы навалены у его избы, то прямо пирогами обложен весь двор. Да это все во сне... Во сне мало ли что можно увидеть. Сегодня ночью ему даже приснилось, что по какому-то неведомому распоряжению из Москвы – начальником над всем уездом назначили его, и он всю ночь грыз сахар с калачом. А утром Лукерья от печи прохрипела:

– Вася, сухари-то все.

– Эх, лучше бы и не просыпался... Спал бы да спал. Нашему брату только во сне и жить.

«Рыбки наловить хоть бы, – думает он, глядя на реку Алай, – да сети, проклит, попортились за зиму. Ведьма эта, – ругнул он свою жену, – не досмотрела. У Плакущева есть – слышал... Разве у него взять? Ему все равно не до ловли – занемог беда как. Может, скоро помрет, тогда к нему на поминки. Вот где пожру».

Тут мысли у Шлёнки перескочили на Карасюка... С того дня, как Карасюк скрылся из Широкого Буерака, широковцы притихли, точно куры на нашесте в позднюю ночь, а Шлёнка все равно ждал – вот-вот кто-нибудь подойдет к его избе и позовет хлеб делить в общественном амбаре... Об этом иногда неожиданно и секретаря сельсовета Манафу спрашивал:

– Секлетарь, ты... слышь, хлеб нонче делить в амбаре?

А Манафа только посмеивался:

– Не есть тебе советский хлеб! – и настойчиво ухаживал за Лукерьей, на что Шлёнка даже ухом не вел.

В тоске по хлебу тянулись весенние дни... В тоске по хлебу с утра до позднего вечера крутился Шлёнка около своей избы, словно голодный мерин на привязи у столба; смотрел, как дырявит ветер соломенную крышу, как плещется рыбка в Алае. Ловил разные слухи, гонялся за ними, как борзой за зайцем, а когда в Широкое заявился Степан Огнев, да еще в шинели Карасюка, – с мечтой такой все было покончено.

– Убит, так пес с ним, – сказал Шлёнка Лукерье. – А вот хлеб-ат где?

2

На берегу Алая, изгибаясь, точно молодой вязок, с силой бьет Стешка вальком по холстяному белью. Шлепает, вскидывает, перекручивает винтом. Сочатся тонкие струйки, падают крупные капли и рябят синюю гладь реки. В ряби себя видит Стешка – большие, чуть зеленоватые, с мазками бровей колышутся глаза, длинная коса свалилась через плечо, таращатся из-под кофты груди.левой рукой прикрывает их Стешка, а правой колотит вальком белье, напевая тихую, грустную песенку. За водой она теперь ходит на берег Алая. Верно, это подальше, чем до Шумкина родника, но у Стешки каждое утро болит нога. Случайно ногу на гвоздь наколола – по утрам ноет болячка, и Стешке трудно спускаться по круче Крапивного дола к Шумкину роднику. Пусть будет до берега Алая чуточку подальше, но тут не столь уж большая круча... Да еще и то – каждое утро здесь она, в зарослях ветельника, по пояс в оде, видит Яшку. Он серпом режет для корзинок молодые побеги ветельника, насвистывает песенку, а с появлением Стешки, повесив серп на плечо, громко приветствует:

– А-а-а-а, Стешка!.. Стешенька, здравствуй!

– Здравствуй, – отвечает Стешка. – Ишь тину какую поднял...

Задирая ребром ведра гладь реки, она черпает воду, подхватывает коромыслом ведра и, изгибаясь, поднимается в гору.

– День нонче славный! – кричит с пригорка.

– Славный нонче день, Стешенька!

– И скворцы, гляди, почернели.

– Почернели скворцы! – соглашается Яшка и выходит на берег. – А скворчихи уже в скворечницах сидят!

– Сидят, – Стешка звонко, радостно смеется, понимая на что намекает Яшка, и еще выше поднимается на бугор.

И всего-то несколько слов бросит Яшка, а нога уже не ноет и до дому кажется совсем близко – рукой по дать.

– Ты корзинку хотел сплести мне? – приостанавливаясь, говорит она.

– Сплету, Стешка, корзинку... Сплету такую – сама увидишь. – И по тропочке в гору шлепают Яшкины босые ноги.

– Шлёнка у избы торчит, – предупреждает Стешка.

– Не привыкать ему, – отвечает Яшка, приближаясь к Стешке...

Но сегодня Яшки что-то долго нет... Сегодня как-то не так плещется рыбка в Алае, не так шныряют серяки-утки в камышах, и у Стешки легла на лбу тоненькая складка, в глазах появилась грустная поволока.

Она уже второй раз принялась полоскать белье, второй раз рябит синюю гладь

Алая... А Яшки все нет.

С тех пор, как Яшка отбился от татарина Ахметки и привез узелки с одежкой Плакущева, среди молодежи он совсем стал героем, а девки – каждая ждала Яшкиной ласки, и Яшка щедро обнимал девок, балагурил. И сильнее билось у Стешки сердце, когда Яшка в хороводе ласковее всех обнимал ее плечи...

А вечер не гуляла Стешка: со дня смерти дедушки Харитона вышел сороковой день. Утром же забежала подруга, рассказала, что поздно ночью (пропели вторые петухи) с ватагой ребят, пьяный, к хороводу подошел Яшка Чухляв и у двора Плакущева глумился над Стешкой.

– Мне только свистнуть, – хвалился, – пальчиком поманить, и Стешка прискачет ко мне в ригу...

«В ригу? – на лбу у Стешки еще резче легла складка. – Я те покажу ригу...»

Но тут же вновь сжалось сердце, большие глаза заволклись мутью, а тоска скривила губы. Да, да, сейчас, как только явится Яшка, она непременно его обрежет.

«Эх, скажет, Яша! Разве я тебе что плохое сделала, обидела, аль что? Что ты меня поносишь? Аль, думаешь, приголубила, так волно дала над собой глумиться? Нет, Яша, не на ту напал, чтоб ноги тебе мыла, а водичку – себе заместо чайку», – и срасталась Стешка в тоске с говором камыша, забывалась в шорохе кустарника. Потом вздрагивала и снова принималась полоскать белье.

– Шарлатаном я родился, шарлатаном я помру!.. Ды-ы шарлатаном!.. – вдруг раздался голос Яшки.

«Вот сейчас, сейчас!» – решила Стешка, все ниже сгибаясь над рекой, слыша за спиной торопливые шаги Яшки, тихий смех.

Но в это время с Бурдяшки понесся голос Шлётки:

– Яш! Яшок! Подь, милый... подь-ка!..

Яшка большими прыжками выскочил к избе Шлётки.

«Сильный-то какой, – мелькнуло у Стешки. И опять: – Верблюд, и тот сильный».

– Расскажи-ка, милой, как это ты Ахметку-то? – захлебываясь в смехе, попросил Шлётка.

Стешка быстро вскинула коромысло с бельем на плечо, поднялась на возвышенность и, не глядя на Яшку, прошла мимо.

– Стешка! Стешка!

Спина Стешки дрогнула. Но Стешка не повернула головы на зов Яшки, скрылась за ветлой на улице.

– Что это она?

– Что? Это тебе не татарчук! – Шлётка засмеялся. – Род-то больно уж, –

добавил он чуть спустя, – непоклонный – никому поклона нет. А без поклону что?

В это утро Шлёнка видел, как Яшка без разбора сплеча рубил серпом ветельник.

– Ах, ты, до чего девка парня задела... Ишь, как кабан, – проворчал Шлёнка и направился к Плакущеву Илье.

3

Илья Максимович лежал в передней. Лицо у него осунулось, сморщилось, как старый солдатский сапог, борода скрутилась хвостиками, а глаза блуждали по сосновому потолку... Временами он сдержанно, сцепив зубы, стонал на скрипучей кровати, гладил руками грудь. Кряхтел он уже сорок первый день. Жаловался на все – на живот, на спину, на ломоту в голове... Приглашал фельдшера. Фельдшер неделю растирал его спиртом, пичкал порошками – это мучило. Отказал фельдшеру. Лежал, считал сосновые доски на потолке, водил глазами по трещинам и все молча, затаенно думал.

Род Плакущевых в Широком Буераке считался цепким... Об этом знал Илья Максимович и не раз за обедом перед своими гордился:

– Наш род – Плакущевых – это тебе не то, что Пырякиных, аль там Шлёнка... Мы из дерьма конфетку лепим, а уж из конфетки и подавно что устроим.

В улице же говорили про Плакущевых, особо – про дедушку Максима:

– Тот, покойник, бывало, до ветру пойдет – сядет и глядит: нельзя ли это добро назад в квашню... Та-акой был...

– Скупость не глупость, – отвечал на это Илья Максимович. – Ты сумеешь так жить, чтобы над чем скупиться можно было... а вон Шлёнке и скупиться не над чем.

А за эти дни Илья Максимович почувствовал, что он уронил свой род – сорвался. Сорвался так, что и себя-то всего переломал. И держится все сейчас на тоненькой ниточке... Оборвется ниточка – и конец цепкому плакущевскому роду... За кого тогда выйдет замуж Зинка? Какой жених попадет? Хорошо бы рода чухлявского, аль Захарки Катаева – ничего бы! А коль подцепит Зинку вертопрах и разнесет все, скопленное годами, по ветру... Тогда что?

Слезы поползли, запутались в седой бороде...

«За гнилой сучок по дури уцепился, вот и сорвался... Ко власти хотел разбойника, какого-то Карасюка – вот он гнилой-то сучок. И то забыл: только поддайся – мужик тебя с кишками слопаёт, да еще облаёт, скажет – не жирен, проклит, был, костистый. Ах ты, дурная голова».

За Карасюка, за его встречу не раз Плакущев колотил себя кулаком по высокому выпуклому лбу и все искал крепкий, надежный сучок, за который можно было бы не одному, а десятерым уцепиться – не лопнет.

Кряхтя, он поднялся, свесил худые желтые ноги, сел.

«Земля? – Он упрямо всматривался в темный угол. – Из-за нее дед Сутягина – Уваров-граф – мужиков порол, из-за нее мужики барина в Волгу... За землю мужик зубами... Стало быть, – Илья Максимович, будто подсчитывая выручку от продажи, загибал пальцы, – стало быть, от земли и идет».

В напряжении лоб собрался в морщинки, губы затряслись, а глаза еще упорнее глянули в темный угол.

«А землю эту – эти обиралыщики, ячейщики, советчики... Они от господ отняли... Куда ее? Мужикам! Ну, стало быть, и зубы мужичьи у ячейщиков... а отселя... и сила в этом у Степки Огнева... А отселя...»

Сунул босые желтые ноги в опорки, вышел за калитку и сел у двора на лавку.

Улица на сорок первый день показалась ему какой-то иной; не то она обносилась за эти дни, не то состарилась совсем... Даже ветла у Пьяного моста будто еще больше расщепилась, обкургузилась, а яблони за двором Никиты Гурьянова будто хихикают. Отвернулся от яблонь, прикрыл ладонью глаза, напряженно думая.

Из-за угла показался Чухляв. Он долго, будто на покойника, смотрел на Плакущева, потом тихим шажком подошел, сел рядом, заговорил ласково:

– Эх, Илья Максимович, хворь-то как тебя скрутила... Краше в гроб кладут. Мы думали, ты уж и не встанешь: умрешь.

Илья Максимович поднял голову – в упор долго смотрел на Чухлява.

– Да, вот дряница какая-то, – наконец заговорил он, – дряница какая-то по всему телу – ломота: и ноги, и поясница, и в утробе – беда. – Чуть помолчал, посмотрел вдаль. – Да что, Егор Степанович, плохо сыграно – кругом решка.

Чухляв снял с головы картуз, положил его на острые колени, крикнул в недовольстве – не то на Карасюка, не то на хворь Плакущева, проскрипел:

– Да ведь под решкой-то орел находится.

Ветер мел по улице сор, трепал сочную зелень ветлы и кособочил идущих по мосту Шлёнку и деда Катая.

– Не за тот сучок ухватились! Согласен с тобой, Егор Степанович, – прервал молчание Плакущев. – Да что, – развел руками, – знать бы, а-а-а?

– Да, – еще тише, завидя шедших на мосту деда Катая и Шлёнку, заговорил Егор Степанович, – а они бузуют, голяки-то... На «Брусках» лопатами бузуют... Утрось проходил я – Давыдка там, Митька Спириин, этот Николка Пырякин, Ванька Штыркин – с бабами все... Степки только не было, а тут и он подошел... Все бузуют... – и заторопился, предупреждая: – Дохляк этот идет... Катай. Стар, а ухо держи, а с ним волчок голодный, Шлёнка.

– Здорово! – прошипел Катай, поравнявшись с Плакушевым и Чухлявом, и свернул за угол, а Шлёнка направился прямо на них и разогнал их в разные стороны, словно ястреб голубей.

4

Катаевы когда-то назывались Яшиными и жили в Кривой улице, на том самом месте, где после пожара Егор Степанович Чухляв построил свой дом глаголем. Катаевы же переправились в Заовражье. Здесь – по глубокому убеждению дедушки Катая – и для огородов и для пчел место вольготное. Да и народ не такой хапун, как в Кривой улице.

И расплодилась от дедушки Катая семья большая – все, как от одного куста побеги. Сын – Захар – кряж хороший. У Захара четыре сына – с одного разу колом не сшибешь.

– Костям Яшиных со дня смерти сто лет. Теперь с меня другой род пошел, Катаевы, и у меня в хозяйстве – я хозяин.

– Без хозяина дом, понятно, сирота, – соглашался Захар.

И дед Катай, не замечая, как у Захара и у всякого при этом губы шевелятся в улыбке, будто перед ним не старик сидит, а трехлетний шалун-паренек, – продолжает:

– Они-то что теперь передо мной, ребята-то? Я, бывало, мокру варьгу одену – под сарай... и пошел катать топором – варьгу высушу... А ребята-то уж не те пошли, совсем не те... Впрочем, – спохватывался он, – у меня ребята – не то, что у других: трудовики, моей крови.

Иногда же по вечерам, когда кто-нибудь из алайских или Никольских ночевал у Катаевых да еще за столом рассказ вел про какого-нибудь счастливчика, Катай отмахивался и недовольный ворчал:

– Да-а-а что там. Чего завидовать? Трудом бы... а то ведь сметанку где слизнул – ну, и... того... Неча завидовать... Это мы вот, бывало...

После этого Катай всегда рассказывал про ту горячку, которая охватила широковских мужиков в то время, когда барин Сутягин стал направо и налево разматывать свои обширные леса...

Да, помнит хорошо то время Катай... Помнит: распродажа леса под раскорчевку была объявлена в весну, а в середине лета многие крестьяне смаху продали свое хозяйство до нитки, в землянки забились, а вырученные деньги тасили Сутягину... И дедушка Катай в то время, кроме двух лошадей, всю скотину со двора согнал, хлеб, скопленный годами, из амбара повывез и за три сотни серебром купил у Сутягина шесть десятин на Винной поляне.

– Да как работали, – восхищался Катай. – Устанешь, ноги у тебя пни-пнями, а ты рубашку с себя долой, в ладошки плюнешь: ну, мол, катай, ребята – вечером по чарочке водки... Они и катают!

С того времени широковцы и забыли, что дедушке при крещении имя дано Вавил – прозвали Катаем.

– За работу оно дано, звание такое, потому до того доходило – в меня кишки-то горстями вправляли: вся внутренность наружу вылезала – вот работали...

После корчевки, весной, Катай просо посеял на новой земле, а после уборки в железную из-под леденцов коробку положил двести целковых.

А в следующую осень скирды пшеницы утыкали участок.

И года через четыре уже шептал Катай Захару:

– Вторая тыща, сынок, пошла, и в амбаре сорок мешков зерна.

– Ну, корчевал, копил, а дальше-то что? – спрашивал его гость.

Тут дедушка Катай молча вылезал из-за стола, наскоро козырял перед «казанской» и забивался на полати... Дальше как-то нежданно-негаданно – с каких гор и каким ветром, дедушке Катаю не было известно – принесло на широковские поля ураган. Появились на селе другие люди, заговорили люди другим, совсем непонятным языком, и те, кто, бывало, лаптем щи хлебал, – учить начали стариков тому, как надо жить. Поля широковские поделили, перетрясли все вверх тормашками: купленные участки полосками порезали. Порезали тогда и катаевский ланок на Винной поляне. Дали Катаю лоскуток у Соснового оврага – лоскуток этот отрезали от бывшего участка Чухлява. Чухлява поравняли со всеми, отмахнули ему лоскуток от участка Плакущева... Да не в одном месте, а разбросали ленточками по всему полю – колеси теперь от своей земли да за семь верст по чужой.

– Канитель какая-то – совсем канитель, сынок... Что это идет?

– Это и есть революция, – толковал Захар, – чтоб, значит, без бар жить... Ей супротив пойдешь – голову потерять зараз можно, потому – она для народа...

– Для народа? Не пойму, сынок, зачем народу все вверх тормашками?... Мы бы, чай, с тобой на своем участке что бы разделали? А-а-а? Да мы бы... глядеть бы к нам все шли... А теперь что? Растащили добро такое... Аль, думаешь, правда Огнев, там, Степка аль Шлёнка к земле прилипнет? Не-е-ет, к земле прилипнуть – тут надо горб не жалеть... Ты вон из поля уже едешь, а они занавесочками закрываются, чтоб день не тревожил их – спать им... А-а-а? Не-е-ет, сынок, тут – сноровка барская... Вот дед-то Суत्याгина – Евграф-батюшка – мне спину за что порол? Участок у него, княжеской милости, купили, а он денежки собрал да назад землю. А этот, Суत्याгин, размотал. Теперь его родня, чай, аль кто по-другому землю назад... Вот, дескать, большаков им подпустим, пускай народ взбаламутится, все вверх ногами, чтоб вошь его через это заела, чтоб жрать-то ему глину из Крапивного дола, а после, когда народ языком ворочать не будет, – землю назад в барские руки... Тут так и есть, сынок, ты догадывайся!..

В одну ночь ко двору Катая тихо подскрипели чужие подводы, и вплоть до зари из амбара сыпалась в воза пузатая пшеница.

– По двадцать целковых за мешок? По двадцать, а-а? Цены такой сроду не видал, – шептал Катай, – по двадцать? А ты, сынок, не бычись... Теперь три тыщи целковых у нас с тобой... На три тыщи сложа руки жить можно.

Втихомолку, украдкой шелестел Катай бумажками в углу кладовки. Мусоля пальцы, пересчитывал хрустящие лоскутки. Потом закладывал камнем, замазывал глиной коробку с тысячами.

– Ты, батюшка, – уговаривал его иногда Захар, – купи что на деньги... Ну, хоть телка, аль что...

– Телка? За три тыщи? Ты что, сынок, телок, что ль, где есть золотой?

– Ты не притворяйся, – Захар сердился. – Сам знаешь – деньги теперь совсем из цены выбились... коробка спичек – сто целковых.

Об остальном же дедушка Катай никому никогда не говорил, остальное его и состарило, потому что в дальнейшем, как он ни кряхтел, а когда увидел, что такими же грамотками, какие у него замазаны в углу кладовки, у печника Куваева оклеены все стены в избе, – дедушка Катай сдался и за три тысячи целковых купил у Петьки Кудеярова своей бабушке коты, да еще придал каравай хлеба... Хлеб пошел за два миллиона, а три тысячи – так, в придачу... Получив за коты хлеб и три тысячи рублей, Петька вышел на улицу и, подбросив кверху «царские» грамотки, крикнул:

– Вот что Катай всю жизнь копил... а я возьми да подбрось!

Ну, как об этом говорить? Тут думать – и то все нутро воротится. Вот и сейчас – лежит Катай на лежанке за печкой. У порога – носок к носку скособочились бабушкины коты... У одного козьей губой подошва ощерилась, а из-под нее тащится лубок.

– Пес, – бормочет тихо Катай, – хоть бы стельку настоящую поставил, а то лубок.

5

Идет Катай краем посечки, шуршит ногами о сухую зеленую траву, временами царапает лысину ногтем. Остановится, чтобы передохнуть, на широкоцев в поле пристальной взгляд, потом опять шуршит ногами. Пройдя посечку и березовую рощу, он заметил – в стороне на «Козырьках» Яшка Чухляв доканчивает пахоту своего загона.

«Вот еще две бороздки – и загон долой», – думает Катай и кричит:

– Помогай бог, Яша! Друг ты мой!

– Пускай походит бороздой!.. Да без лаптей пускай – вот поможет.

– А? Чего? – не поняв, Катай мотнул головой. – Чего?

– Бороздой, говорю! Бороздой пускай походит бог-то... а я полежу малость под кустом... а то хорошо помогать – с небесей.

Катай подумал:

«Что народ нонче какой пошел? Со всеми норовит в раздор: с богом в раздор, со старшими в раздор».

– Как лысина-то твоя, дедок? На иордани, бают, ты опять урожай предсказывал, а?

Не заметил Катай смеха, в ногу с Яшкой зашагал.

– Да она у меня, – он захлопал ладонью по лысине, точно по заслону, – знает уж... правду метит...

– А оно, вишь ты, несет. Опять на озимом клину черепок в палец, и пыль, гляди, какая. Как же лысина-то... изменница она у тебя?

– Это, видишь ли, милоч, молод ты, растолковывать тебе трудов стоит. Как это тебе сказать спроста? Жисть человека предначертана... одному туды, другому сюды, и каждому по его дороге... В книге, значит, небесной написано.

– А чем написано в той книге? Простым карандашом аль чернилами?

– Чем? Это уж бог ее знает...

– То-то. А то ведь вон у нас в совете – поди к Манафе, расписку тебе надо, аль что, так пиши чернилами, карандашом не полагается...

У Яшки от сдержанного смеха трясутся губы, а у Катая морщится высокий восковой лоб.

– Что так глядишь? – не удержав смеха, спросил Яшка.

– От вас наказание такое идет. И хлеба нет – от вас и банды разные – от вас...

– Та-ак! Значит, от нас? Согласен с тобой... А мы-то от вас аль от кошек?

– Чего? Не пойму... Ты громче...

– От кошек мы аль от вас родились?

– Ну, знамо... не от блох...

– За какой же грех нас вам бог послал? Чего вы набурили до нас? – перевернул все Яшка и опять засмеялся.

– Этого я что-то... и не пойму.

А Яшка уже заливался громким смехом и сквозь смех выкрикивал:

– Или так – нам бог беду послал за наш грех. Поделом, значит, нам – не грехи... Ну, а вы-то зачем век лебеду жрете да с кочедыком на-двор ходите? А?

Зацарапал Катай пятерней штанину, посмотрел на Яшку.

– Вот это уж я тебе не скажу... не встречал того... за грех – это верно... а уж как оно это... – И не докончил, двинулся бормоча: – Оттуда зайду. Зайду от Захара. Он у меня путный – с ним подержу совет. А у тебя башка!

– Да мне бы по башке-то вверху сидеть, по башке-то я – ЦИК. Вот кто, – и Яшка снова рассмеялся.

6

Яшка выпряг лошадей, достал из серенького мешочка огурцы, краюху хлеба, нарезал ее ломтиками, разложил перед собой, налил из лагуна в блюдо воды, затем отодвинул от себя еду, склонил голову, положил ее на огромные руки, локти упер в землю и посмотрел вдаль.

С горы Балбашихи, поднимая пыль, пастух гнал коров на водопой, а над посечкой, выискивая себе добычу, трепетала на одном месте птица-трясуха. Яшка долго смотрел на трясуху, а в голове рождались столь же трепетные мысли... На днях с фронта вернулся Кирька Ждаркин. Чудной парень был до этого – высокий, вихлястый, золотушный да синий. Девки глядеть на него не хотели, а ребята звали глистой. А тут вернулся – в шинели солдатской, на груди орден Красного Знамени. И ростом Кирька будто поднялся, и голос, словно железный, гудит. Всех широковцев обозвал он кротами, а Яшку – бычком, бездельником-буяном. И одну только девушку назвал хорошей – это Стешку. А вчера Яшка видел, как он вместе со Стешкой прошелся по улице. Будь это прежде, Яшка непременно помял бы его основательно за такое, а тут только промычал да зубами скрипнул...

Яшка действительно буйствовал: он каждую ночь напивался самогонки, выходил с ватагой ребят на дорогу, останавливал проезжих, заставлял их ехать в объезд или обратно, воровал кур у кого попало, обдирал с них перья и живьем пускал по улице. Куры с перепугу метались из стороны в сторону, а ребята с гиканьем бегали за ними. А совсем недавно он с ребятами у Никиты Гурьянова стащил с огорода плетень в речку... Наутро Никита заявился к Егору Степановичу с жалобой.

– Ты видал сам? – спросил его Егор Степанович.

– Не-ет... народ байт – он вечор стащил. Ну-ка, плетень новый.

– Знаешь: не пойман – не вор. Поймал бы ты его... ну, тогда...

– Оно эдак, – согласился Никита, – только ты гляди...

– Гляди? За своими гляди, за чужими гляди – это и глаз не хватит.

А когда Никита ушел со двора, Егор Степанович решил: «Женить надо Яшку. Жена все буйство сосет».

С этой мыслью он кружился около сына ежедневно. И раз (вместе насыпали они для помола рожь из амбара) тихонько заговорил:

– Друзьяки-то, чай, твои уж собираются жениться? На губах еще молоко материно не обсохло, а уж жениться... Нонче ведь так?

– А я и не спрашивал.

– А ты, милый, что это с отцом как? Чай, не сотня у тебя отцов-то, один я... да и ты у меня один – двое, значит, нас, всего на селе двое, а кругом не спотыкнись – встрязь замнут...

А потом, когда увязывали воз, Егор Степанович, стаскивая с дикой яблони у амбара червячка, проговорил будто между прочим:

– Жениться, чай, и ты надумал, а-а-а? Не рано ли?

– В монахи не собираюсь.

– Вот это и хорошо... К чему в монахи?... Монах – пустой колос: качается, а толку нет – ни богу, ни людям, я так думаю... людей только дразнят... Кого облюбовал?

Вряд ли бы в другой раз сказал Яшка про то, о чем думал в одиночку, а тут в нем злоба закипела: понимал отцовскую хитрость, и потому сказал, будто дубинкой ударил:

– Стешку... Огневу...

– У-у-у! Озоруешь все. Я тебе в действительность, а тебе – все бирюльки...

– Никакого озорства нет. Спрашиваешь – ну, я и говорю...

– Аль мозги-то в самогон утекли?

– Закрепли.

– Об этом и из головы выбрось. Нам в дом надо человека, кой шерстью к нашему двору подходит, вот, – отрезал Егор Степанович и тропочкой направился к своему двору.

7

Печет солнце землю – дышит земля жаром: горячо босой ноге. Бегут по Волге пароходы, баркасики; люди из белых будок машут флагами... И волны плещут на песчаные отмели.

Ближе к Волге, на высоком берегу, полдничают артельщики: под обрызганными березками спят вповалку, похрапывают, стонут, ругаются во сне.

Под березкой, совсем в стороне от других, свернувшись, как улитка, лежит Стешка, смотрит на Волгу, на далекую синь степей, на пароходы, думает:

«Сегодня суббота... завтра воскресенье – троица. Завтра девки пойдут в Долинный дол с ребятами чай пить. Там увижу его... Может, туда придет... За сосновыми шишками одна пойду, поманю его».

Эх, и пронесется же иногда такой ветер – сухой, горячий и никому не нужный. Обдерет такой ветер с вишенника цвет, засушит пахучий цвет на липе. Вот как будто такой же ветер пронесся и теперь.

Кому это нужно, чтобы печаль туманила глаза Стешки? Кому это нужно? Да, кому? Ведь совсем недавно была одна обида – болтовня Яшки. Но эта обида прошла: слух был ложный. А вот совсем недавно Стешка прошла по улице с Кириллом Ждаркиным. Польстило это девушке: Кирилл был одет в полувойенный костюм, на груди у него красовался орден, сам он, Кирилл – статный, могучий, сильный. Ему, Кириллу, все встречные кланялись. Но ведь это еще не все. И когда Кирилл тихонько сообщил, что Яшка намеревается жениться на Зинке Плакущевой, что отец Яшку теперь перед свадьбой впряг в работу, – у Стешки все дрогнуло. Она даже на какую-то секунду остановилась, еле перевела дух и уже сама не помнит, что сказала Кириллу. Знает только, что это было что-то злое, нехорошее и что Кирилл в этом совсем не виноват: ведь он ей сообщил просто то, что слышал. Но Стеша так зло посмотрела на него и так резко кинулась бежать от него домой, что люди даже подумали, не обидел ли чем Кирилл ее.

Вот и теперь она лежит под кустом березы и все думает о том же:

– Неужели на всю жизнь хочет связать себя с Зинкой?

А завтра троица. Завтра все девчата и ребята отправятся в Долинный дол – чай пить, песни петь, танцевать. Так идет из года в год. Завтра там, в Долинном долу, намеревается Стешка встретить его, Яшку... И не знает, как сказать ему про то трепетное, горячее, что появляется при встрече с ним. Сказать, да не получить бы в ответ обиду. А вдруг он скажет:

– А разве я обязан на тебе жениться? Экая штука нашлась!

– Спи, Стешенька, спи. Себя береги, – проговорил, поднимаясь на ноги, Огнев. – Спи... А я вот посижу малость на бугре... В случай чего кликни меня.

Степану тоже не спалось: мечты претворялись в жизнь, а жизнь колкая, неприступная, совсем не такая, какой казалась она ему до этого.

«Дело еще только около квашни, – думает он, глядя на даль степей. – Квашню еще только достали – землю с красным камнем да полынью. А люди уже не терпят, ровно лапти на ногах у пастуха меняются: прошла неделя – новые лапти, так и у нас. Митька Спирын сбежал. Придут, хлебнут и впопятку. А все он, Железный... Тихоня. Тихо кусается, молчком».

Степан знал: Петьку Кудеярова сманил Чухляв. Петька косит Чухляву луга за Волгой. Егор Куваев, печник, подался по деревням печи класть...

– От человеческих рук, Степан, ничего не отобьется, – уверял сегодня утром Давыдка Панов. – Отшлифуемся, подберемся. Показать только надо, что мы есть.

Слова Давыдки радовали Степана. Радовало его и то, как крепко вцепился в дело Николай Пырякин. Но силы нет... На призыв откликнулась небольшая горстка из села: два человека – Панов Давыдка да Николай Пырякин.

«Надеяться надо, верить надо... самому запрягаться. – Он столкнул меловой камешек с кручи в Волгу. – Вот и тебя толкнут... на дно пучины... свались только... только стань на карачки..., Значит, крепче держаться надо... под ноги людские не попадайся... не столкнут и не булькнешь».

Сзади слышались шажки и постукивание палочкой по сухой лбине утеса. Огнев обернулся. В двух-трех шагах от него стоял Егор Степанович Чухляв.

– А я гляжу, – заговорил Чухляв, – кто это, мол, над самой пропастью сидит... Гляжу вот, – перевел он вдруг разговор, показывая палочкой за Волгу, – на зеленя лугов. Луга тоже убираются. А у тебя, Степан Харитоныч, как с лугами-то?...

Огнев молчал.

– Что, Степа? – не выдавая смеха, снова заговорил Чухляв, приближаясь к круче. – Что задумался? Аль Волгу хошь в артельное дело затянуть?

– Чего смеешься?

– Не смеюсь я вовсе. А то давно тебе говорю: бросай, говорю. Бросай, осопливишься скрозь. Посмотрел я на ваше поле. Что у вас в зиму будет?

– Ладно. Посмотрим! Кто осоплится, а у кого уж и ноне текут!

– Бросай, голова садовая, – кинул ему вслед Чухляв. – А то чесотка пойдет по

вас от этой коммуны – страх. Придется всем селом в дегте, как лошадей, купать. Пра, истинный бог, – добавил он и, довольный своими словами, рассмеялся.

– Ну, товарищи, вставай! – крикнул Огнев, подходя к березняку. – Вставай на ноги. Вставай маненько. За работу время. Вечер скоро.

Вяло, нехотя разминаясь, поднялись артельщики, звякнули лопатами, лемехами маленьких плужков и двинулись на «Бруски».

Дует ветер, дышит земля жаром.

На «Брусках» ближе к Волге, в отшибе от общества, возятся артельщики, на себе и на коровах пашут.

Впереди всех Огнев, Панов Давыдка, Стешка – тянут самодельный плужок, за плужком стелется тонкая узкая полоска лохматого дерна. За ними – Николай Пырякин за Буренкой в сохе шествует, поднимая лаптями пыль.

Тихо идет Буренка. Голову в сторону клонит, траву хватает, жует и мычит жалобно, ровно потеряла теленка.

– Хватай ты! – И, злясь, Николай Пырякин дергает за вожжи. – Не наелись все. – И думает: «В какую дыру полезли? Себя мучаем. Скотину мучаем. А чего добьемся? Раз обдерем, там еще пахать да перепахивать – маята одна».

И еще – хлеба нет у Николая. Уходил – Катя сказала:

– Мука вся!

За это Катю облаял. А она виновата, что ль, что муки нет? Жалко стало свою бабу.

Была Катя в девках полная да ядреная, а на третий год жизни с Николаем повяла, посерела, ходит – плечи чекушками торчат.

Из года в год ждал Николай, когда у Кати ядреность появится да улыбка бабья. Верил в это Николай, говорил:

– Когда выдрой перестанешь быть? Поправляйся.

– Да я что, – Катя опускала голову, – да...

– Что да? – Николай сердился. – Другие вон...

– Другие-то вместо хлеба лебеду не едят.

Это злило Николая, – ругался, а Катя тихо плакала.

И так вот часто – дома оборвет ее, а останется один – жалко.

«Пойду, обласкаю, – думает, – скажу, не сердчай, не я виной всему».

И жалко Катю, ой, как жалко.

– Коля! – закричал Огнев. – Куда поперла?

Николай очнулся.

Буренка прямехонько направилась к березовому кустику, а за ней наискось по паровому клину тянулась борозда от сохи.

– А! Сволочь! – Николай рванул Буренку. – Куда те черти понесли?

И вновь, жалобно мыча, переступая сухими ногами по борозде, брела Буренка.

Два круга прошла тройка. Заныли обожженные лямками плечи.

– Ничего-о-о, – сцепив зубы от боли, подбодрял Огнев, – всякая сласть трудов стоит. И мы сласти захотели – терпеть надо.

Остальные молчали. Молча тянули плужки, поворачивали голову на солнышко. Оно, красное от пыли, катилось за липовую рощицу... За липовой рощей – Долинный дол. В Долинном долу – меж кудрявым орешником – ягодник кружевами стелется.

– Кирька Ждаркин, – неожиданно проговорил Давыдка.

Дорогой, тяжело выворачивая ноги, будто он нес на плечах пятерики, шел Кирилл Ждаркин. Одна штанина у него засучена, другая болталась на босой ноге. По засученной штанине и по брызгам грязи на лице можно было определить, что он еще совсем недавно возился где-то на болоте.

Поравнявшись с артельщиками, он быстро спустил штанину и, глядя поверх Стешки, поклонился.

– Вот кого бы нам затянуть, – захлебываясь от восхищения, прошептал Давыдка: – лошадь, а не человек. Нет, ты не кричи! – остановил он Степана. – Ты догони его да сторонкой так и замани к нам.

– Пахать ведь надо?

– Пахать? Допашем и одни. Стешка, допашем?

Стешка оторвала взгляд от Кирилла Ждаркина, утвердительно мотнула головой.

– Ну, вот, мы с ней кони большие... А ты ступай... крути Кирьку.

8

Степан Огнев настиг Кирилла Ждаркина за гумнами. Сначала он заговорил о фронте. На фронте под Перекопом они вместе вели наступление на белых, часто встречались. Верно, Кирилл тогда еще был совсем юнцом. Но армия закалила его, и сейчас, несмотря на свои двадцать восемь лет, он выглядит совсем возмужалым.

– Ну, а теперь что ты думаешь делать? – задал вопрос Огнев.

– Что? – Кирилл широко улыбнулся. – Разгромили у меня все хозяйство. Обстраиваться надо. Да еще рядом с Коровьим островом дали мне уголок Гнилого болота – десятину. Хочу раскорчевать под огород.

И тут же рассказал про то, как он, при наступлении на Варшаву, был интернирован в Германии и там видел одного фермера, который с трех десятин земли берет добра раз в пять больше, чем любой широковец. Рассказывал он об этом с таким же восхищением, как и про героические бои под Перекопом, но, увидав кривую улыбку на лице Огнева, оборвал, сказал просто:

– На этой бросовой земле хочу принести пользу государству тем, что покажу мужикам, что может давать земля.

– Ясно, – сказал Огнев. – Ясно, что хочешь.

По тону голоса Кирилл определил, что Огнев не одобряет его затеи и не верит его намерению.

– Ты думаешь, дядя Степа, я цапать хочу? Я хочу, понимаешь ли, через индивидуальное, культурное хозяйство в коммунизм, – и он начал уверять Огнева в своем искреннем стремлении отучить мужиков от расточительства, от безобразного отношения к земле. – Мужик ведь наш, – говорил он, – землю, как корову, привык доить. Доит из года в год, а не кормит.

Они спустились в Крапивный дол и подошли к Гнилому болоту. Рядом с Гнилым болотом, там, где когда-то была березовая роща, торчали пни, а чуть в сторонке несколько пней, уже выкорчеванных Кириллом, топырились рогульками корней.

– Вот пяток я за два дня выдрал, – радуясь, проговорил Кирилл.

– Знаешь что, Кирилл? Нет, погоди, дай скажу... Тебя я ведь знаю. Конечно, цапать ты не думаешь. Цапать ты мог бы и в другом месте. А здесь не нацапашься.

Кирилл, счищая с лица засохшие брызги грязи, в недоумении посмотрел на Огнева.

– Я вот что думаю, – продолжал Огнев: – здесь радости у тебя не будет. Что глядишь? Да, не будет, Кирилл. Ведь то, что ты хочешь делать, было и есть. А мы бились за то, чтобы этого не было. Ты возьми, к примеру: торгаш куда лучше нашего кооператива делами вертит, а ведь мы за кооператив, а не за торгаша. А ты вот, я так думаю, на земле хочешь быть торгашом... И нечего прикрываться коммунизмом.

– Ну, что ты, сроду и не думал этого...

– Не думал? Оно часто так бывает: иной думает одно, а выходит другое. Плакущев вон думал нас сковырнуть, а хватъ, Карасюк ему бороду выдрал. Видал, как бывает?

Кирилл рассмеялся громко. Этот смех обозлил Огнева. Степан хотел обругать парня так же, как когда-то ругал дезертиров. Сдержался, забубнил:

– Раскаешься ты скоро, хватишься... Потому – пока ты тут будешь в Гнилом болоте торчать, в одиночку корчевать, мы далеко отбежим от тебя, а ты ведь не такой, чтобы радоваться только своему богатству. Ты не оторванный кусок. А вот, когда увидишь, что сам себя оторвал, тогда и беда. Не на коне, а на колоде верхом ты в бой кидаешься. И где это ты зацепил, что нашему государству непременно нужно, чтобы ты и я, все такие в одиночку корчевали?

– А я вот думаю, – прервал его, бледнея, Кирилл, – сам ты скоро хватишься... Вон от тебя как побежали.

– И с фронта бежали... Да ведь все-таки мы победили. Одни убегут, другие

придут.

– Придут, жди, – и Кирилл, нагнувшись, стал подводить оглоблю под березовый пенёк.

А Огневу показалось, что между оглоблей и Кириллом есть что-то общее. Что – он не мог сразу разгадать и, поднимаясь в гору, подумал:

«Какой еще мужик в Кирьке сидит».

От своего двора Егор Степанович Чухляв мел сор.

– Что? У ерманца был? – спросил он Степана и сморщил лицо. – Ерманите всё.

Огнев ничего не ответил.

«Какая разница между этим кротом и Кирькой? – думал он, шагая к своей избе. – А может, и прав Кирька? – и тут же на минутку и у него закралось сомнение. – А может, и правда – я не за ту лямку тяну?»

Несколько дней тому назад его вызвали в уездный комитет партии, предлагали стать во главе земельного отдела. Он решительно отказался. Может быть, напрасно отказался? Глянув на свою перекошенную избу, он тут же представил себе чистенькую квартирку в городе, письменный, с зеленым сукном, стол в земельном отделе... в городском наряде Стешку, и тут же перед ним расхлестнулось Широкое – с горбатыми избами, мужики ощеренные, готовые кинуться друг на друга из-за куска хлеба... Но, переступая порог калитки, он громко рассмеялся.

9

Завтра троицын день. Егор Степанович первым на селе отмел от двора мусор на дорогу, утыкал землю около дома зелеными березками, посыпал желтым песочком и присел на красный камень.

– Псы, пра, псы, – ругаясь, из переулка вышел Шлётка.

– Ты что?

– Что? Федунов призывал – налог, слышь, с тебя...

– Какой налог?

– А еще – в лес дрова рубить для школы... Да мне, говорю, она сроду не топись... мне, мол, наплевать... «Ты, говорит, в обществе живешь – повинность нести должен...» Живешь? Да я уйду вон в лес – землянку себе выкопаю и буду жить... «И там, грит, найдем». Вот и укройся...

– Зачем в лес бежать? Чай, здесь жисть свою надо складывать.

– Сложишь! Оно жрать-то нечего...

– Ну-у-у? – как-то безучастно протянул Егор Степанович и поднялся с камня, намереваясь спрятаться во дворе, уже предчувствуя, что Шлётка что-то хочет просить. Но Шлётка тоже уловил намерение Чухлява и не дал ему скрыться:

– Егор Степанович, слышь-ка... нет ли пудика' два? А?... Отдам... уродится.

– Эх, – Егор Степанович вдруг вцепился в живот. – Ох, дьявол... Вот с брюхом беда... Эх, пес, эх! – Он вскочил и засеменял во двор, и тут же у него другая мысль: «А приветить разве его? Псом ведь послужит – только дай ему маленько. И правда, а?» – Выпрямился, предупредил: – Ты погодь там... я вот малость оправлюсь: брюхо у меня развоялось, страх.

Несколько минут постоял за воротами, все взвесил, вышел.

– Да у меня-то и у самого мука к концу... Да что будешь делать – раз беда на тебя. Делиться должны мы... Ты зайди. Только – гляди, тихонько, а то подумают – у меня баржа муки...

В улице тучей стояла пыль: широковцы отметали от дворов мусор на дорогу, утыкали землю около завалинок березками, усыпали желтым песком.

Ко двору Степана Огнева на паре лошадок подкатил Яшка. Улыбаясь, тряхнув толстой косою, из телеги выпрыгнула Стешка.

Яшка нагнулся к ней.

– Завтра зайду, если хочешь! – и стегнул лошадок.

Егор Степанович снял картуз, вновь его надел на голову и замер в воротах. Левая бровь задергалась. Выпятив вперед руки так, как будто на него шел медведь, он двинулся навстречу Яшке:

– Ну, лошадок-то я сам введу!.. А ты ступай, – и быстро раскрыл ворота. – Ступай... И глаз не кажи...

– Куда?

– К Огневу, – взвизгнул Егор Степанович. – К Огневу. Тебе по нраву это – ну, и ступай!

Лошади торопливо вбежали во двор и наперебой начали глотать воду из бочки.

– Вылазь, вылазь! – приказал Егор Степанович.

– Ты вон гляди, – Яшка показал на бочку, – лошади останутся без ног...

Егор Степанович, прикрыв ворота, зло рванул лошадей.

– Знаю! С твое знаю. Ступай, говорю, и глаз не кажи... Омерзел ты мне. Разом омерзел, – прошипел он. – Ну!

Яшка сначала не знал, что делать, но потом и сам удивился – у него нет страха перед отцом.

– Как в балагане: смешно только, – сказал он.

– Яшка! – с дрожью в голосе закричал Егор Степанович и сухой рукой заколотил о наколесок телеги.

Яшка посмотрел ему в лицо:

– Да ты случайно чего дурного не объелся ли, а?

– Яшка!

Егор Степанович быстро выхватил из телеги кнут, и Шлётка не успел мигнуть, как ременный хлыст разрезал воздух и со свистом опоясал Яшку. Яшка подпрыгнул в телеге и камнем обрушился на Егора Степановича. Шлётка видел, как покатались двое по двору, слышал, как раздался пронзительный крик Егора Степановича – от крика лошади шарахнулись и забились под сарай, а с улицы во двор через калитку хлынули криулинцы. Шлётка высунул вперед руки, закричал:

– Уйдите! Уйдите! ^ч

– Яшка-а-а!.. Пу-у-у-сти! – хрипел Егор Степанович. – Задушишь!..

Яшка вскочил на ноги, встряхнулся и застыл: с улицы через полуоткрытую калитку на него смотрела Стешка, и на плетень лезли соседи. И уже кто-то закричал:

– Айдате! Чухлявы лупцуются.

Звено четвертое

1

В эту ночь Яшка не ночевал дома. Передавали, что он до зари просидел со Стешкой у двора Огнева. А утром в троицын день и сам Егор Степанович видел, как он, в группе ребят и девок, рядом со Стешкой отправился в Долинный дол.

– Вот какие нонче пошли занозы, – посочувствовал Шлётка. – Мать вон под окном горе горюет, а ему хоть бы что... Ровно чужая утроба его носила.

– За собой гляди! – обрезал его Егор Степанович и скрылся в избе.

Мать Клуныя, худая, высокая, плакала без слез, сухо, временами протяжно стонала, а Егор Степанович сопел, ходил из угла в угол.

– Оборви, – иногда только скрипел он на Клуню. – Ну, что ты вроде жилу без конца тянешь?!

И поползли тягучие дни.

Егор Степанович забивался в сарай, садился на чурбак и подолгу копался в мыслях, как курица в сухом навозе...

Главное – сраму на селе не оберешься: сын родной, еще не женясь, из дому сбежал.

«Да ка-ак!.. Паскудник! Отец-то, может, весь век силы клал на то, чтобы тебе как-никак жизнь склеить. А ты, накось вот, отцу родному: посмотри-ка, как я мимо двора шатаюсь, а во двор и не загляну... Хоть кровью облейся, а я все – мимо».

Иногда ночью он слезал с полатей, припадал к окну и часами, всматриваясь во тьму улицы, прислушивался – не стукнет ли защелка у калитки и не послышится ли знакомый голос Яшки в сенях...

– Эх, – кряхтел, – да что это?... Зачем это?...

И постепенно, будто речушка после половодья вошла в свои берега, у него

пропала злоба, появилась жалость. Клуне об этой жалости не говорил, про себя же повторял то и дело:

«Жалко. Родной кусок оторвался. Чужой бы, а то ведь родной – крови моей».

Призвал Шлёнку, шепнул:

– Разузнай, милый, где он торчит?

– Да чего разузнавать-то? С этим приезжим очканом валандается... по улицам, что собаки бездомные, шатаются... А ночью со Стешкой...

Егор Степанович, сдерживая слезы, вошел в избу, забился на полати, будто таракан в щель. Долго лежал, ворочался, кряхтел, потом слез, тихо оделся и вышел в темную ночь.

2

В Широкий Буерак заявился высокий, очкастый, с отвислой нижней губой и в больших солдатских сапогах человек. Напялив на голову кепку так, что она повялым козырьком касалась блестящей оправы очков, он с утра и до позднего вечера слонялся по улицам, со всеми встречными заговаривал, как будто с каждым давным-давно был знаком, и на вопрос: «Откуда будешь?» – неизменно отвечал:

– Издалека. Ну, как живете?

– Живем?... Ничего живем, – отвечали ему. – Куды до прежнего... Куды-ы...

За свое короткое пребывание здесь он узнал, что село поделено в основном на две части – заовраженцев и криулинцев. В Заовражном владыка умов Захар Катаев, в Криулине – Плакущев Илья.

Иногда он останавливался перед избой Шлёнки или на берегу Алая и подолгу смотрел на то, как Кирилл Ждаркин в одиночку, обливаясь потом, корчует пни у Гнилого болота. Раз он даже заговорил с ним. Но Кирилл в очкане почему-то почувствовал чужого человека и постарался от него поскорее отделаться. Очкан же записал в свою желтенькую книжечку: «Интересна фигура Кирилла Ждаркина. Он на фронте был героем, недавно вернулся в деревню и в деревне хочет стать героем на земле. Больших работников дает Красная Армия».

А за несколько дней перед троицей они вместе со Степаном Огневым, Федуновым, Николаем Пырякиным, Давыдкой Пановым пересекли Кривую улицу и скрылись в избе Захара Катаева. В эту ночь у Захара вплоть до зари в окнах светился огонек и мельтешили человеческие тени. Это уж совсем встревожило широковцев, и каждый наперебой стал высказывать про очкана свое предположение, а те, кто был в эту ночь у Захара, на вопрос: кто это такой очкан? – упрямо молчали или отсмеивались:

– Вот увидите. Вот он себя покажет.

– Значит, где-нибудь у них и торчит... у этих ячейщиков, – решил Егор Степанович и тихо, шурша валенками о сухую землю, направился ко двору

Федунова.

У Федунова в избе было совсем темно, тихо, только из-под сарая изредка раздавался гортанный крик курицы.

«Типун у курицы, – подумал Егор Степанович. – А в избе спят. Тут – нет... Надо к Степке Огневу».

Повернул в переулочек, хотел пересечь конопляники и задами пробраться ко двору Огнева. Но на повороте из темноты от плетня до него донесся говор. Это обозлило:

«Вот еще – увидят... На глаза им рогожу не накинешь».

Торопливым шагом затрусил обратно. У плетня забубнил совсем знакомый басок. Егор Степанович прислушался, потянулся, будто лошадь к пойлу, всмотрелся – неподалеку от плетня стоял Яшка, а рядом с ним, прижавшись к нему, – Стешка Огнева.

– И-и-и-и... и не думай, – в тихом смехе лепетала она. – Не возьмет он меня, бирюк-то твой. И на порог не пустит.

– А законы нонешние знаешь? – гудел молодой басок. – Дурить-то им теперь не дозволено.

У Чухлява дух сперло, точно кто подхватил веревкой под ребра и туго стянул. Кое-как передохнув, хотел крикнуть – угрозой, – получился шип:

– Яшка-а! Суки-и-ин сын!

Смолк говор у плетня... Стешка и Яшка кинулись в сторону и, шлепая ногами по земле, скрылись в темноте. Егор Степанович, покачнувшись, взмахнул руками и пошел по направлению к своему дому. Всю ночь, лежа на полатах, разглаживал дрожащие ноги, стонал.

А наутро запряг пару лошадок, отправился в поле.

«Поглядим, сукин сын, как запоешь... Я те поклонюсь, Дай вот только срок...! Приду, гляди... Ты ушел – другие люди найдутся... С Ильей вот Максимовичем возьмемся, спаримся: Илья, бог даст, на ноги (поднимется... Тогда поглядим».

3

Илья Максимович упорно стряхивал с себя хворь. Верно, у него по телу пошли чирьи. Они лопались, рядками вскакивали на шее, спине, ногах, зрели маковыми головками.

– Это не беда – чирьи, – говорил он, – от чирья ног не протянешь. Утроба только была бы в порядке. А то ведь утроба ссохлась. Теперь малость расправилась утроба.

Сегодня утром он совсем хорошо почувствовал себя: встал с постели раньше всех, ушел на гумно и у дырявого овина – сам похожий на дырявый овин – присел на гнилом обрубке осины. От осины пахло фельдшером. На углу у риги, около остатков соломы, пыжилась сизая рожь...

Очканом и Илья Максимович заинтересовался.

«Говорят, ко всем лезет, пишет что-то. А что?»

Вспомнил Карасюка, список – сердце забилося.

«Да нет. Кто доказать может: Карасюка и Пчелкина прикончили. Думать об этом не след. На ноги крепче встать надо, встать да и другим порядком», – решил Плакущев и поднялся с обрубка осины, посмотрел на дырявый овин.

– Эх, как тебя без хозяйских-то рук размотало, – проговорил он, с присвистом ощерив крупные и желтые зубы. – Ну, теперь, голубок, давай поправляться.

К плетню подбежал Шлётка. Он за время болезни Ильи Максимовича, таскаясь ежедневно в лес за лыком, проторил дорожку через плакущевское гумно и теперь, подскочив к плетню, уцепился за толстые дубовые колья и замер.

Илья Максимович сдирал с овина гнилую солому, выбрасывал на ток трухлявые перекладыны и что-то ворчал. На спине у него, под самотканной рубашкой, ходили лопатки, как концы весел, от него шла испарина, будто от лошади после быстрого бега.

Шлётка оглянулся. Чтобы попасть в Широкий Буерак, ему теперь надо было с полверсты бежать обратно. Он некоторое время стоял в нерешительности. Затем весь потянулся, как перерубленный червяк.

– Илья Максимыч, здоровенько как ваше? – заговорил он. – Давно не видал тебя. Гляжу – на гумне... Дай, мол, забегу. К тому же, какой-то леший и тропу тут у тебя проторил. Вот башку бы свернуть.

Плакущев выпрямился:

– Здорово, Вася. Лезь уж ко мне. Проторил кто, теперь не сыскать.

– Эко, подлец, плетень-то как размял... ячейщик, чай поди, какой... коммунист. – И Шлётка перемахнул через плетень, затем подергал, колыхая плетень, за колья и еще больше удивился, глядя на Плакущева: – Как хворь-то тебя скрутила. А ба-а!

– Насилу пот телом пошел, – Илья Максимович показал на мокрое пятно под мышкой.

Шлётка опустил на корточки рядом с Плакущевым, вынул из кармана две папироски.

– Курни-ка: помогает.

– Да ведь не курю я, – Плакущев заулыбался, неумело вертя в руках папироску.

Дым от двух папиросок поплыл прозрачными струйками и, цепляясь за стенки риги, за вихры соломенной крыши, таял.

– Откуда достал сигарочки эти? – поинтересовался Плакущев.

– Да этот, очкан, дал. Вчера в совет пришел и мне – с десятка.

«Ну, врешь. Выцыганил, поди-ка», – подумал Илья Максимович.

– Тебе, говорит, – продолжал Шлёнка, бахвалясь, – тебе, говорит, этим дерьмом... Знаешь-ка, наш табак дерьмом зовет... Тебе, слышь, это дерьмо курить не полагается, потому ты есть как передовая беднота. Кури вот папиросы. Понимаешь, Илья Максимыч? Оказывается, нынче власть курс взяла на нашего брата, – подчеркнул он, чтобы припугнуть Плакущева.

– Да кто он есть? Скажи на милость, – спросил Плакущев.

– Тебе только одному... Держи, смотри, за зубами. Из губернии этот человек есть... всей губернией командывает. Да вот он идет.

– А-а-а, – баском пустил Илья Максимович.

4

Очкастый человек (ответственный секретарь губкома, а по другому Александр Яковлевич Жарков, – бывший учитель) рано утром обошел широковские поля, а оттуда завернул на яр за гумнами.

Перейдя каменистую ложбину, он увидел на гумне у риги Плакущева. Обрадовался. Быстро пересек загон с картофелем... За плетнем мелькнули плечи Шлёнки, а от риги навстречу поднялся Илья Максимович.

– Здравствуйте, – сказал Жарков и запнулся, – Максим Ильич, кажется?

– Илья Максимович... Здравствуйте, – с присвистом, сдерживая дрожь, поздоровался Плакущев. – В наши края понавелись? Посмотреть, значит, как мы тараканами в темном углу возимся.

Может быть, потому, что кочкастое широковское поле вселило уже в Жаркова гнетущее чувство, слова Плакущева как-то обрадовали его. Он еще раз, не выпуская, крепко пожал его руку.

– Ну, как живешь, Илья Максимович? Слыхал – тебя Карасюк потрепал? Как бороду-то выдрал!..

– О бороде смолкни, – Плакущев нахмурился. – Голова уцелела – ладно. А живу ничего... Ни хорошо, ни плохо.

– Жалко, чай, участок-то отобрали?

– Ты на смех, что ль, аль что спрашиваешь?

– Ну, что ты!..

Швыряя ногой гнилую труху, Илья Максимович некоторое время молчал, затем глубоко вздохнул и глянул через плечо Жаркова.

– Жалко? Знамо, жалко. Вот с тебя рубаху сымут – не жалко тебе? А-а-а-а! То-то вот оно и есть... Да что делать? На рожон не полезешь. Раз народ своего захотел – тут не ерепенься.

Плакущев внимательно посмотрел на Жаркова. То, что Жарков слушает его и интересуется им, – это он подметил и, чуточку помолчав, вновь забурчал, поводя сухими жилистыми руками:

– Ведь раньше-то как жили? Рвали кругом. Барин у нас тут был плюгавенький такой – Сутягин, а шкуру со всех драл. Ну, а у меня сила и сноровка была – я с бар драл. Раз вот прислал своего человека за мной барин. А я уже прослышал – деньжата ему понадобились: за границу любовница его звала... Любовниц у него этих сотня была... через них все размотал и без ног остался... Ну, вот... прислал за мной. Старшиной я в то время ходил... Ну, я сапоги чистым дегтем круто смазал, понюхай-ка, мол, вот, барин, нашего духу – и к нему. Как вошел в хоромы-то... – Плакущев подождал, тихо засмеялся, – так моим духом-то и пахло... сам я учуял. Барин выбежал – раз платочек к носу, кричит: «Васька, гони его в шею... Вонь от него». А я ему: «Вы, мол, в нужде... деньжат я принес». – «Давай», – слышь, и ручкой меня к себе в комнату. Сели. Складываю я у себя в голове: «Ты, мол, к любовнице едешь, тыщи проматываешь... сорвать с тебя надо, потому мне каждая сотенка ведро моей крови стоит». – «Ну, – говорю ему, – уважаю я вас, барин, и верю вам, как богу... только чтоб не напоминать вам да и не вонять у вас в хоромах... для памятки, стало быть... заложите-ка вы мне овсецок свой... а так, ежели к весне, верю я вам, как Христу, а только уж – ежели к весне не то, так я уж овсецок-то ваш продам». Барин на дыбы... горячий народ они были... кричит: «Васька! Гони его». А я денежки на колени выложил да нарочно шуршу ими, думаю: «Брешешь. Любовницу, как огня, боишься». Барин тут и утоп, кричит: «Васька, пиши расписку...» Ну, за полторы тыщи целковых взял я в ту пору у Сутягина три тыщи пудов овса, а в весну его по целковому за пудик на базар махнул... полторы тыщи зараз в карман положил. Тут и узнал, как легко можно деньги зашибать.

Где-то далеко навзрыд кричали лягушки.

Пропел петух. Под горою выкрикнула баба – звонко, сочно.

Плакущев вздохнул:

– Да-а. А, вишь, по зряшной дороге пошел... Силу тратил, хватать, не в прок. – Он повернулся к Жаркову и детскими, ласковыми глазами глянул ему в лицо. – Знать бы? А то метался, силу свою клал... Зачем? Вот и теперь – участок не жалко, а года и сила без толку пропали – жалко. Лет бы пятнадцать сбросить, – Плакущев докурил папироску, измял окурочек в ладони, сердито отбросил в сторонку. – Вот и года так измялись... Это жалко... Теперь и пошел бы по другой дороге, а силов-то уж и нехватка.

Жарков встрепенулся:

– Ну-у, у тебя еще силы много. Только, – он торопливо поправил очки, будто стараясь разглядеть Плакущева, – только... только надо продумать все...

– Продумать? Я уж, мил человек, продумал. Да ведь как установлено – раз человек украл, словили его – навеки он вор, навеки в него пальцем тычут... Может, потом и не он украл, а как воровство, так на него... И я... Разве меня теперь допустят? – вновь тихо засмеялся, оттолкнулся обеими руками. – Не-ет, и думать не след.

– Это ты, Илья Максимович, напрасно... Напрасно. – Жарков выхватил из кармана блокнот, что-то записал и тут же спросил Плакущева о Федунове,

чувствуя, как Плакущев все больше и больше начинает нравиться ему.

Плакущев вновь, сдерживая дрожь, засвистал сквозь зубы:

– Да что он? Ничего! Работает и работает... Как сказать – ни богу свеча ни дьяволу кочерга. Да и то подумать – своего дела у него, чай, позарез... Своей-то земли у него хоть и на три души, да у других берет. Мужик сильный! Что не брать! – Он посмотрел на Жаркова и, видя, что этим Жарков тоже интересуется, продолжал: – Он нонче в поле-то душ на шестнадцать запахал. Где ему в совете торчать?... Старик – дедушка Максим – отработался.

– А он что, арендует землю?

– Как арендует? Берет – и все... Не без этого... А то разве рысака на три души прокормишь? Он съест. – Плакущев ногой отодвинул гнилую мякину, пригласил присесть Жаркова и вновь заговорил: – Бедняка, я так думаю, в совет надо: хоть бы Шлёнку.

– Кто это Шлёнка?

Плакущев замотал головой:

– Я с тобой, как со всеми... Шлёнка – Пискунов, знаешь-ка? Овец шлёнских после бар роздали – они у крестьян замухрились... Ну и его тож Шлёнкой прозвали. Изба-то у него на краю Бурдяшки вот-вот свалится...

– А-а-а-а, знаю... знаю... Дурной ведь больно?

– Ну-у-у, нет. У него голова бедовая... Ему бы только подпорку, а там он пошел... С тебя вот сыми штаны да пусти на улицу, и ты согнешься...

«Что это у него за примеры – рубашка, штаны? А хорошо», – подумал, все больше увлекаясь Плакущевым, Жарков.

– А у него хоть лошаденка и есть, да хвораая, от бедности обезножила, а плужка нет, сбруйки нет – уцепиться-то и не за что.

Жарков быстро, внимательно осмотрел Плакущева.

– А Чухляв? – спросил он, в упор глядя на Плакущева.

– Чухляв? Егор Степанович? Как тебе сказать. Вот, к примеру, человек научен правой рукой молиться аль что там – левой рукой и трудов уж стоит... А так мужик – голова крепкая...

5

Егор Степанович бороздкой ходил весело. Посвистывал... От ходьбы у него расправлялись сухие мускулы.

– К чему в поле выехал? Аль дома надоело сидеть? – спрашивали проезжие крестьяне.

– Соскучился, по пахоте соскучился, – откликнулся он. – Кости застыли, расправить малость!.. А ты гляди – ось-то у тя в колесе! – шутил он и мурлыкал песенку: – «Как солдат шел на войну». Это у него было весьма редко – только в

минуты наивысших удач, а теперь он и чувствовал полную удачу: пашет, сам пашет! Сначала, когда первый раз пустил лошадей на загон, у него от волнения задрожали руки. – А если не смогу пахать? Перезабыл?... Сраму тогда на селе не оберешься!

А тут плужок пошел... Да еще как! Оттого и пел песенку Егор Степанович и в то же время думал:

«Вот так заработаем... А чужие люди кормить не будут. Чужие люди нороят тебя самого с потрохами... Жрать захочешь – придешь. Я с тебя тогда шесть шкур спущу».

Вдруг откуда-то сорвался и налетел на чухлявских лошадей рой слепней и пестряков... Лошади вскинули уставшие головы, замотали хвостами и начали то и дело биться, останавливаться в борозде.

– Вот налетели. Вот принесло вас, вот невидаль! – закричал Егор Степанович.

Он некоторое время кнутом сшибал слепней со спины лошадей, потом сорвал рыжий пиджачишко, замахал им. Слепни загудели и, словно растревоженный рой пчел, с новой силой кинулись на лошадей. Гнедая кобыла начала брыкаться задними ногами, бросая пахотой в лицо Егору Степановичу. У Егора Степановича по телу потекли ручьи пота.

– Вот сволочи, – выругался он, и сам от своей ругани приостановился.

– Выпрягай, выпрягай, Егор Степанович, – посоветовал со своего загона старичок Чижик, так прозванный на селе за малый рост и шустрость.

– Полдничать надо! – подхватили со всех сторон пахари.

– От шлепней теперь не отобьешься!

– Вот жара спадет!

– И то, и то, – ответил Егор Степанович и кинулся выпрягать лошадей.

Отстегнув постромки у пегой кобылы, он отвел ее к телеге под вяз. Затем повел гнедуху. Рой жирных слепней взвился, метнулся и сплошь облепил ей живот. Гнедуха задрожала, вскинула задними ногами, в два-три прыжка перескочила пахоту и остановилась, срывая верхушки полыни на непаханной части загона.

«Уйдет, проклит!» – подумал Егор Степанович и ласково заговорил:

– Ну, что ты? Что ты, родная? Чай, обедать сейчас... овсеца дам. Аль полынь тебе слаще?

Гнедуха фыркнула, вскинула веером хвост и, развевая гривой, рубежом понеслась на полянку к березовой опушке.

– Вот демон... вот демон... Яшка набаловал. Яшка! У меня бы не убежала... Я бы...

Он бежал и слышал, как ему со всех сторон (это даже чуточку польстило ему) пахари подавали советы:

- А ты не пугай ее! Не пугай, Егор Степаныч!
- Подкрадывайся! Будто не за ней!
- Сразу! Сразу!
- Цапай смелей!
- С куста! С куста! Чтоб не видела!
- Спереду, Егор Степаныч! Спереду!

Егор Степанович перескочил овражек, добежал до поляны.

– Ну, ты, мила, мила, – забормотал он и боком, словно приближаясь к колючей проволоке, пошел на гнедуху.

Гнедуха прижала уши, дрогнула и помчалась полем по направлению к «Брускам».

6

На «Брусках» около кургузых березок, на лбине обрыва сидели Яшка Чухляв и Жарков. Внизу, под обрывом, покачиваясь в солнечной колыбели, расхлестнулась Волга, а за березками артельщики ковыряли залог.

– Ну, так вот, – теребя кепку, говорил Жарков, – растратчики мы. Время свое мотаем направо и налево, словно пропойцы. Вот ты, к примеру, парень еще молодой, много в тебе сил, а живешь, слышал, шарлатанишь.

Жарков оборвал: в зелени березок показались упругие голые девичьи ноги. Он некоторое время смотрел, как они мелькали в кустарнике, потом березняк дрогнул, и на лбину, чуть в сторонке, вышла Стешка. Ветер трепал на ней короткую юбку, а синяя полинялая кофточка плотно облегла спину и грудь. Было видно, что Стешка давно выросла из этой кофточки: рукав кофточки лопнул и оголил часть плеча.

«Сколько здоровья в этой девушке», – подумал Жарков и залюбовался тем, как быстро и умело Стешка мыла ведро для варева.

- Чья это?
- Кто? – Яшка оторвался от дум.
- Вон та девушка?
- А-а-а, Стешка-то? Огнева, дочь Степана.

Перед Жарковым всплыли сухие, с поблекшими лицами женщины большого города... Они всегда казались ему сухими, с поблекшими лицами... Он невольно вспомнил свою жену – короткую, согнутую и вечно куда-то бегущую с кипой бумаг под мышкой... И глаза заволокло дымкой.

– Фу... Фу!.. – фыркнул он и, чтоб отогнать всякие сравнения, заговорил: – Тебе надо ехать учиться, Яша. чего тут небо коптишь?

Батюшки! – Стешка всплеснула руками. – Глядите-ка! Яша, гляди-ка, отец-то!

Прямо на «Бруски», перескакивая через рытвины, мчалась гнедуха. Вслед за ней, обливаясь потом, с перекинутой через плечо портянкой, бежал Егор Степанович.

Яшка кинулся к гнедухе.

– Стой! Стой! – Огнев остановил. – Стой! Яша, стой! Поглядим, как батя твой ловить будет!

– Ну-ну, Егор Степанович, – из-за куста вышел Николай Пырякин, – знаток ты в этом деле... меня укорял...

– Чего стоишь? – закричал на Яшку Егор Степанович. – Аль чужая лошадь? Лови!

– Лови? Чай, не я упустил.

– Пес! – буркнул Егор Степанович и пошел на гнедуху, заходя сбоку.

– Яшка, слови, – шепнула Стешка. – Гляди, у него глаза выскочат.

– Ну, слови!.. Поглядим...

– Злой ты, – Стешка улыбнулась.

– Не злой.

– Стой, стой, милка, голубка, стой – бормотал Егор Степанович. – Просмеетесь. Я хоть лошадь ловлю, есть чего ловить, а вы – блох только. Это вам и ловить по башкам вашим...

Гнедуха перешла на другую сторону ложбины, потом дрогнула, вскинула ноги и перебежала в березняк.

– Э-э-э-э! – Огнев засмеялся. – Мы хоть блох – и то разом ловим... А ты вот!

Егор Степанович долго бегал за гнедухой – из березняка в ложбинку, из ложбинки на пахоту, с пахоты опять в ложбинку и опять в березняк. Раз гнедуха подошла совсем вплотную к корове Николая. Николаю стоило бы только протянуть руку и уцепиться за постромку...

– Лови! Лови! Чего дуришь? – сердито вырвалось у Егора Степановича.

– Ступай! Ступай! – и Николай пнул гнедуху в бок.

Артельщики засмеялись, а Давыдка Панов, расставя кривые ноги, отдельно сказал:

– Судьбу свою ловишь! Вот поймай-ка, Егор Степанович!

У Егора Степановича ныли ноги, от пыли пересохло в горле. Поднималась обида на лошадь, на Яшку, на голяков, на себя.

«Лучше бы не бегать, пускай бы домой прибежала, а то сраму подлил... Эх, ты, милая голова», – думал он, растерянно глядя на Стешку.

– Ну, что вы над ним мудруете? – И Стешка левой рукой вцепилась гнедухе в гриву. – Стой, ты! Ишь ты, бездомная!

Гнедуха рванулась, потом сунулась мордой в Стешкино плечо, почесала губу.

– На! Возьми, Егор Степанович!

– Бери. Да наперед про блох-то болтай поменьше, – проговорил Огнев.

– На блохах-то и тебе доведется поучиться, – засмеялся Николай.

– Егор Степанович, а судьбу-то тебе ведь Стешка словила... Ты это припомни, – Давыдка похлопал Чухлява по плечу и глянул в сторону Яшки и Стешки.

7

Егор Степанович долго лежал на загоне под телегой, смотрел, как пахари ходили бороздами, как ежилась гнедуха от укусов слепней, и сгорал от обиды.

И только совсем поздно вечером он впряг лошадок и подкатил к своему двору. Поставил лошадей на сухую солому, со зла хотел пнуть гнедуху, но только пригрозил продать ее немедленно и вошел в избу.

В избе его подждал Илья Максимович. После беседы с Жарковым Плакущев окончательно решил столкнуть с поста председателя Федунова и подобрать такого, «чтоб за нас тянул – послушного».

Об этом он советовался с Никитой Гурьяновым, с его племянном Кириллом Ждаркиным. Решив посоветоваться с Кириллом, он направился прямо к нему на Гнилое болото и еще издали, сжав ладонями свою большую голову, одобрительно закричал:

– Батюшки! Труды-то какие кладешь, Кирилл Сенафонтыч. Вот какой породы народ советский, оказывается, есть. А я, признаться, думал – калякать вы только мастера да щи лопать. А тут! Эх, наворочал!.. Эх, ежели бы так все взялись! И возьмутся, шут тебя дери, – добавил он тише. – Поглядят вот на тебя и ментом все болото – в золотое дно.

Этим Илья Максимович сразу попал в точку.

– Да, трудов тут много, – заговорил Кирилл, протягивая руку Плакущеву, но, заметя, что она в грязи, отнял ее за спину.

– Ты давай, – Плакущев с восхищением сжал в своей ладони его грязную руку. – Вот союз земель давай учиним, – и второй рукой размазал грязь на узле сжатых рук. – Землицей бы нас с тобой закрепить.

И здесь, на Гнилом болоте, Плакущев победил Кирилла... Кирилл говорил о переустройстве деревни и о том, что Плакущеву надо забыть про старое – не сердчать, а силу свою и голову отдать народу. Плакущев со всем этим соглашался, спрашивал Кирилла, стучал себя грязным кулаком по высокому лбу, удивлялся, а Кириллу казалось, что Илья Максимович целиком переходит на его сторону, и он думал:

«Вот Огнев говорил... А тут – вишь, всяк ведь человек добра себе хочет, только травить людей не надо».

Эту мысль он высказал Плакущеву.

«Младенец еще», – подумал Плакущев, но тут же прицепил свое:

– Людей травит не власть. Ты гляди – чего может сделать Федунов?... Он даже со своим дедушкой сроду по-доброму не жил, а теперь народом управлять ему доверили... Вот тебе бы головой села!

Кирилл от председательствования отказался – он с земли начнет, но на смену Федунова согласился.

Потом Илья Максимович говорил со своей родней, об этом же деле пришел перекинуться и с Егором Степановичем.

«Видно, еще не знает про беду мою, – выслушав его, подумал Егор Степанович: – Не знает, что теперь я смехом служу на селе», – и сморщился, раздраженно задрезжал:

– Ты опять за это? Раз уж голову было сорвали...

Лишиться головы – минутное дело...

– Ты не кипятись, – тихо говорил Плакущев. – Ты же сам баил – под решеткой-то орел лежит... Вот теперь – неперемный орел...

– Я супротив этой канители. Не к чему нам лезть туда. Надо так – сторонкой... Вот двоих я сманил от Огнева, теперь Давыдку Панова сманить бы... У него, я слышал, муки-то, что ягод на дубу. Вот и посулить... А там и Огнев сбежит... Я так мекаю, Илья Максимович. А туда нам и нос совать не след – дело это чужое...

– Ты кротом все хочешь? Рой! Это делу не мешает. А и то: своего председателя поставим, мигнем – и голоса наши. Понимаешь, тут штука какая может быть? Дунул – и с «Брусков» их метлой. А то налог такой накатим – штаны доведется с молотка. Вот кого только? Шлёнку – дело подходит, с одной стороны. Да в рот больно глядит... Вот тут и подумай...

– Нет, меня ты в это дело не тискай. Шлёнку только не трожь... Нужен мне. А в беде если – помогу...

Тогда Илья Максимович в одиночку повел линию. Он, сутулясь, ходил по избам, присаживался по вечерам к мужикам у завалинок, говорил о том, о сем, потом осторожно вставлял словечко о Федунове, и вскоре в Кривой улице покатился говор, что Федунова непременно надо сменить. Почему? Да хоть бы и потому: давно сидит, и вообще – может, что и переменится, может, и другим светом день глянет. Старательно за это дело взялись братья Гурьяновы, охранник вод Петр Кульков из Полдомасова и Кирилл Ждаркин.

И бой начался.

Этому бою дал полную волю Жарков.

До выезда в Широкий Буерак он деревню знал по докладам, по выступлениям на съездах, по случайным беседам с крестьянами-одиночками, и деревня всегда представлялась ему темным сгустком, причем этот сгусток делился на три части: бедняк, середняк и кулак. Кулак – с большой головой, в лакированных сапогах; середняк – в поддевке и простых сапогах; бедняк – в лаптях.

Так по крайней мере малевали деревню на плакатах. По плакатам невольно и у Жаркова рисовалась деревня: с одной стороны, противник революции – кулак, с другой – защитник ее, бедняк. А середняк, – жуя губы, стоит в стороне.

После же того, как он несколько дней пробыл в Широком Буераке, у него разом перепутались все эти понятия, а когда он столкнулся с таким бедняком, как Шлёнка, – У него закралось сомнение.

«Если она такая беднота, – писал он в своем блокноте, – то мы свою политику в деревне строим на песке, впустую».

Огнев же Степан, Панов Давыдка и еще некоторые бедняки разубедили его в этом, а Захар Катаев и Плакущев Илья внесли полную сумятицу. Главное, его поразило то, что деревней руководят не бедняки, как он думал до этого, а такие крепыши, как Захар Катаев и Плакущев.

– Одного не пойму, – говорил он Огневу, – почему Захар Катаев так отрицательно покачивает головой, когда я с ним заговариваю о Плакущеве?

– Вас сдвинуть трудов больших стоит. Вы вот решили председателем Шлёнку. Смех. Ну, что ж, давайте поглядим Шлёнку. Я бы его близко к совету не допустил.

– Да ведь бедняк, – доказывай Жарков и в то же время сам не верил своим доводам. – Бедность его одолела. Будь у него хорошее хозяйство – и он бы заработал не хуже Захара. Видел вон: Чухляв считался у вас хорошим хозяином, а как сам приступил к работе, так и лошадь упустил.

– Хозяйство? Оно горбом создается... с небушки пироги не падают... а Шлёнка – век у двора сидит да, как коршун, выглядывает, где бы цапнуть.

– А ты без горба был? Нет у тебя ничего...

Огнев бледнел.

На волостном же собрании коммунистов, делясь впечатлениями о деревне, Жарков, высказываясь за перевыборы всех сельских советов и волостного исполнительного комитета, в частности, задержался на том, что ширококовцами управляет Федунов и что там необходимо в первую очередь произвести перевыборы, и тут же вскользь упомянул о Шлёнке. Затем он высказал такую мысль: в совет необходимо провести не только бедняка, а и тех крестьян, которые имеют достаточно хорошее хозяйство и могут разбираться в политике советской власти.

Коммунисты в недоумении молчали, а Жаркову казалось, что они его понимают, разделяют его мнение, – по крайней мере председательствующий Шилов, человек с огромной головой и маленькими, почти женскими, плечами, в знак согласия все время качал головой. И только в конце речи, когда Жарков приступил к выводам, с лавки неожиданно вскочил Огнев и крикнул:

– Мигунчика... спекулянта в совет посадить?...

– У Огнева перескок, – ответил на это Жарков.

– А у Жаркова недоскок.

– А впрочем, – плавно и мерно продолжал Жарков, – и Мигунчик мужик не дурак, предприимчивый... если бы он перешел на нашу сторону, то и его можно было бы – и надо было бы – провести в правление кооператива...

– Если бы волки стали собаками, не назывались бы волками! – выкрикнул Огнев и, не дожидаясь своего очередного слова, вышел из рядов, нахмурясь, глядя в пол: – Хорошо бревна с гвоздями подкладывать другому, а нам товарищ Жарков не только бревна подкладывает, а прямо таки хочет на нас надеть рубашки из крапивы.

Это взорвало Жаркова. Он почувствовал себя, как человек, которого неожиданно из тьмы вывели в ярко освещенный зал.

– Председатель! Приведите к порядку, – предложил он.

– Да это... пято-десято... я вам слова не давал, товарищ Огнев, – проговорил Шилов. – Ваше слово, товарищ Жарков.

– Я сам его привык брать, – бросил Огнев, вышел и покинул собрание.

После ухода Огнева Жарков вновь принялся доказывать свое. Но уже видел: все коммунисты, хотя они и молчат, целиком находятся на стороне Огнева. Верно, они единогласно приняли то, что предлагал Жарков, но этого было вовсе недостаточно. Жарков боялся теперь уже того, что Огнев может иным ходом разрушить всю намеченную линию. И он решил удалить Огнева на время из волости. Наутро, призвав его, он, написав письмо в губком, заявил:

– Ну, дружище, палкой социализма не создашь. Ребята вы подходящие, крепкие, вот и решил я написать письмо, чтоб вам в сельсоюзе дали троечку лошадок.

«Может, так и надо. Может, и правда, надо Плакущева в совет... В армии ведь спецов держали?... Только пусть переварится все... пускай», – догадываясь о высылке, думал Огнев. Ему и в голову не могло прийти, что потом случится с Жарковым, каким человеком он окажется через несколько лет и какой удар он нанесет стране. – Поеду. Хорошо, – ответил он. – Если пару лошадей достанем, вперед двинемся быстрее. А годика через три приедете – не узнаете село...

Огнев уехал две недели тому назад.

А сейчас Жарков шел на выборное собрание – к сельсовету. Он знал, что село раскололось на две половинки: одна – около Плакущева, другая – около Захара Катаева. И ждал бури. Еще только вчера он пробовал уговорами смягчить, свести Захара Катаева и Плакущева. Но и тот и другой, улыбаясь, говорили ему, что они вовсе не враги, даже за всю их жизнь ни одна черная кошка не перебежала между ними. Пусть и не думает Жарков, что вражда какая.

И Жарков махнул рукой.

8

Илья Максимович поднялся и кинул своей бабе Елизавете:

– Ты гляди за домом...

– И я, чай?... Бабы-то идут?

– Тебе там делов нет, – обрезал Илья Максимович и вразвалку зашагал по направлению к сельсовету.

За ним поднялись и пачками двинулись по порядку криулинцы.

– Ну, айдате, – звал он. – Держитесь крепко!

– Груша! Пойдем, – барабаня в окно избы Огнева, кричала Елена Спирина. – А то я одна-то не смею...

– А ты зайди... зайди! – слышался голос Груши.

– Вот всполошились!.. Всем, говорит Илья Максимович, от мала до велика, всем на сход идти. – Елена опустила с рук на пол двухгодовалого Володьку. – Непременно, говорит, – и засмеялась. – А чего мы там делать будем?...

При виде Володьки Стешка вся вспыхнула.

– Миленький, – тихо воскликнула она и, вскинув над собой Володьку, прижала его к груди. – Кукленишек ты мой!

Володька вылупил глаза и пухлыми ручонками потянулся к матери.

– Ты... тискаешь! – Елена засмеялась. – Вот погоди, свой явится – тогда и тискай... Ну-ка, дуреха!.. Что, зарделась?

– Да, невеста уж... года-то идут, – все понимая, проговорила Груша. – Куда ты, Стешенька?

– Приду... скоро, мама.

Через конопляники, густыми зелеными картофеля Стешка перебежала за гумна и села под бездомницей-рябиной, закрыв лицо руками.

Сегодня она скажет. В сторонку отзовет и непременно скажет: сватов надо слать... А то стыд появится... Над стыдом люди смеются... А может, и не будет еще стыда? А может, будет?

И хочется и не хочется Стешке стыда... Она знает – теперь не звать ей своего милку Яшкой, будет звать Яшей. И еще знает, у него, у Яшки, грудь широкая, как спинка парных саней... руки сильные... Небось, с такими руками жить можно...

«Не пропадешь с ним – сильный он! Вот как взял меня на руки и понес. А?»

Как случилось все это – не помнит... Впрочем, помнит. На троицы «день гуляли в Долинном долу, хороводом песни пели, плясали под тальянку. На тальянке играл Кирилл Ждаркин. Играл он для Стешки... Плясала Стешка. Спина изгибалась пружиной.

«Хорошая Стешка... хорошая», – думал Кирилл и шире растягивал мехи гармони, и громче ревели, бегали переборы по Долинному долу...

И в самый разгар, когда девки и ребята закружились в вихре танца, – из соснового бора вырвался молодой, сочный бас Яшки.

Первая остановилась Стешка, дернула за руку подругу и вместе отбежали в кустарник... Потом... сидела с Яшкой на траве под кустом орешника...

Спускалась ночь над Долинным долом. Гремели из дола песни, и крепко целовал ее Яшка...

– Какая грудь у тебя сильная... сильная... А? – И руку за открытый ворот рубашки положила – обожгла рукой крутую грудь Яшки.

– Ах, ты-ы!..

...Ржаниной несло с гумен. Где-то за конопляниками, видно, у амбара Плакущева, протяжно, неумело закричал молодой теленок... Стешка опустила голову на колени, тихо закачалась...

– А-а-а-а! Вот ты где! – раздался голос Яшки из-за плетня. – А я заходил, спросил мать: где, мол, Стешка? Убежала, слышь.

Он перепрыгнул через плетень – и Стешка забарахталась в его сильных руках.»

– Пусти! Пусти! Что ты? Люди увидят!

– А я и хочу – пускай видят... Ты что? Плакала?

За огородами, за гумнами, за соломенными сараями гудел сход.

Яшка посмотрел в ее большие, во влаге, глаза.

– Ну, утрись. Матерью будешь – слез меньше лей: не слезной я тебя считаю.

– Отец! – Стешка засмеялась. – Како-ой отец!

– А что?

– Не от горя слезы, Яша, от радости.

Они травной, колеистой, старой дорогой обогнули гумна, перелезли через плетень огорода и молча подошли к сельсовету.

9

У сельсовета море голов. Направо криулинцы. Тут все: мужики, бабы, парни, девки, старики и даже поп Харлампий. Положив руки на овальную грудь, он уперся глазами в крутой затылок Кирилла Ждаркина. Налево заовраженцы – здесь мужики, парни, и кое-где виднеется голова в косынке. За столом на крыльце сельсовета Жарков – председательствует. По одну сторону его Захар Катаев дремлет, по другую – Никита Гурьянов поводит рыжей бородой и, кажется, вот-вот бросится на Федунова. А у Федунова дрожит в руках протокольная книга, он перекладывает ее с места на место, глотает слова.

– Сошлись, – шепнул Яшка и потянул Стешку в сторону заовраженцев.

В толпе пополз тихий гул. Яшка увидел: в глазах у Плакущева блеснул злой огонек, и губы чуть разжались...

– Так как... как я, граждане... – вытирая пот на лице, продолжал Федунов.

– Закакал! – кинул ему Кирилл Ждаркин.

У Плакущева в смехе заискрились глаза, он посмотрел на Кирилла и снова

точно замер. Выкрик Кирилла криулинцы подхватили хохотом, заовраженцы сжались, а Жарков постучал счетами по столу.

Хохот смолк.

– Дождь будет: морит, – послышался со стороны из-за угла сельсовета голос дедушки Катая.

– Должен бы, – ответил дедушка Максим.

– Надо бы, – согласился Катай.

– Эй, вы там, свой митинг открыли, умные головы! – оборвал их сапожник Петька Кудеяров.

«Мирно ведут себя», – думал Жарков, разглядывая широковцев.

Он первый раз видел такое большое крестьянское собрание. И потому он всматривался в каждое лицо, в каждую характерную черточку мужиков, особенно подолгу останавливался на Шлёмке, Кирилле Ждаркине, а когда в толпу врезался Яшка со Стешкой, Жарков задержался на Стешке, потом перебежал глазами на других крестьянок.

– И как я не готовился... то прошу вопросы, – закончил Федунов и сел на стул.

– Эдак... эдак... не готовился, – ковырнул Федунова Петька Кудеяров.

– Знаю мы, на что ты готовился...

– Знаю...

– Рысака-то нажил!.. – загудели криулинцы.

– Скрывать от вас не намерен... У нас всё налицо! – начал отбиваться Федунов.

«Ну, зачем так грубо? – подумал Жарков. – Надо полегче».

– Не скрывай-ка!

– Вот открой-ка карты свои!

– Ну-ка!

– Товарищи! Нельзя же так... по очереди... просите слово.

– Ну, что ж, – произнес Никита Гурьянов, когда гул смолк. – Раз сказать ничего не может... такой, значит...

Раз лошадь не везет – на махан ее.

– Ого-го... – Шлёмка заржал. – Хотел гору своротить, а зерна не поднимет. Председатель!

– Вы что?... Вы что?... – прорвалось со стороны заовраженцев. – Мудруете что?

– Это вы мудруете, – полетело в ответ. – Головы садовы!

– За его держитесь, живя за версту, а у нас он на лазах. Нагляделись, слава те, господи!

– Граждане-товарищи, – гаркнул Шлётка и сразу секся. – У меня, – он махнул в воздухе листом бумаги, – у нас, то ись, есть акт ревизионной комиссии.

Плакущев сузил глаза, а Никита Гурьянов ударил по столу ладонью:

– Читай! Просим!

– Просим! – подхватили другие. – Давай!

Шлётка прочел нараспев:

– «От такого-то числа, стало быть, акт ревизионной комиссии, под председательством...»

Федунов удивленно, будто перед ним малец сразу превратился в верзилу, посмотрел на Шлётку, потом, крепко вцепившись руками в перила крыльца, процедил:

– Ах ты, вертун!

– «Председатель селькредкома, – продолжал Шлётка, – и председатель сельсовета Федунов взяли взаимобразно из амбара селькредкома (Шлётка пожевал губами) двадцать семь пудов ржи...»

– Стой! Тут стой! – С лавки сорвался Никита Гурьянов. – Видали, граждане? Видали, куда наш хлебец пошел? Видали?

– А-а! Нам жрать нечего, а он на рысаке!

– Развели рысаков-то!..

– Жу-у-л-и-и-и-и-ки-и!..

– А-а-а-а-а!

– Плут! – Федунов бросился на Шлётку.

– Граждане-товарищи! – Шлётка отбежал в сторону. – Моя жизнь в опасности... При советской власти енералит!..

– Врет! – резанул Яшка. – Врет!.. – и разом сорвал гам.

– Щенок! – в тишине процедил Плакущев.

Яшка взлетел на крыльцо и, оттолкнув Шлётку, начал кидать:

– А-а-а-а!.. Говорить нельзя? Нам говорить нельзя? Ты что, Илья Максимович, голову пудовую имеешь – думаешь, мы головастики?... Не-е-ет! Не головастики...

Это подхватило заовраженцев.

– Довольно!

– Очухались... Ишь! Нас подняли!

– Кольями их!

От неожиданного нападения криулинцы на миг притихли. Затем Шлётка выскочил вперед, кинулся на заовраженцев, задел под ногу Панова Давыдку, скovyрнул его.

– А-а-а-а-а!

– Вы-ы-ы!

– Мы-ы-ы!

И вдруг в вое, в гаме, в скрежете зубов, с вытянутыми худыми, изможденными лицами заовраженцы лавиной хлынули на криулинцев. Криулинцы чуточку подались и плотной стеной двинулись на заовраженцев. Петька Кудеяров перекинул фартук через плечо, рванул перекладину перил, а Яшка, взметнув Шлёнку, откинул его обратно к криулинцам.

Жарков сорвался с места, метнулся в толпу. Его закидало из стороны в сторону, точно щепку во время бури на озере: то он выскакивал, то скрывался в серых холстяных, сарпинковых рубахах, во взмахах корявых кулаков.

Он сам кричал, брал за плечи разъяренных мужиков, а мужики бросали злые слова куда-то в сторону. Жарков вертелся. В круговороте перед его глазами мелькал Илья Максимович: спокойный, сложа руки, он стоял в сторонке и поглядывал на кипящий котел.

Звено пятое

1

После дождя в радостной испарине забила земля. С соломенных крыш падали капли. На дороге в тепло-прелом навозе копались куры. В сельсовете за столом против Манафы сидел Шлёнка и коряво царапал по бумаге.

– Что еще-то? – спросил он, глядя на Манафу.

– Коров сколько в селе – указал?

– Указал.

– А лошадей?

– И лошадей.

– Кажись, семнадцатый раз за год всю скотину переписываем, – почесав за ухом, проговорил Манафа. – Что ж еще-то? Да, насчет массы спрашивают. Пиши – главное внимание наше было массы, бедноте и вообще внимание гражданам в обхождении... Написал? Ну вот. Еще что?

– Про «Бруски» закатить? Мол, на носу у мужиков артель села?!

– Про «Бруски»? – Манафа вновь почесал за ухом, подумал. – На носу-то, на носу... да ведь скажут: зачем сажали? Протоколец у нас есть – добровольно «Бруски» отдали. Нет, тут надо сторонкой как... Вон опять Ванька идет. Ты его тяни, Илья Максимович баил, – тяни его.

В сельсовет вошел Иван Штыркин. У него своя беда шире заволжских степей. Намедни в лес ездил, с возом в топь попал, надорвал лошадь – сдохла. Об этом грамотку дней пять тому назад достал, не хватало печати.

А без печати, слышь, не поверят – пособия не дадут.

За печатью и ходил несколько уж дней к Шлёнке.

– У-ух, умаялся, – Шлётка вздохнул. – Чего тебе, Иван Ефимович? – ласково спросил он.

Штыркин затоптался у стола, протянул бумагу.

– Да вот, пришлепку.

– Чего? Пришлепку? – и Шлётка строго посмотрел на него. – Советскую власть прошу в моем присутствии не оскорблять.

– Печатку, – смутился Штыркин.

– А-а. Ну, сейчас... Захар как там живет? Пускай заходит. Срочно вот доклад требует, – говорил Шлётка, шаря по карманам печать. – Да где же она, Манафа? Вот тебе на. Тут доклад срочно, а тут печать... Ну, сиди, я сей минут...

– Да ведь я, – заикнулся Штыркин, – пятый денек хожу.

– Ну, пять дней ходил, а минутку обождать не можешь? Сиди. Вот тебе мой портфель в заклад.

Шлётка сунул Штыркину брезентовый потертый портфель – подарок Манафы – и вразвалку вышел из сельсовета. Сначала он направился к баням на реку Алай, но что-то вспомнил, остановился, потом круто повернул к своей избе.

Первые дни и Шлётке казалось странным, что именно он председатель на селе. Он не раз вспоминал и то, как шли выборы. Заовраженские голосовали на заседании сельсовета за своего кандидата, криулинские – за Шлётку. Шлётка прошел только потому, что у заовраженских было четыре голоса, а у криулинских – пять. Над тем, что главой Широкого – Шлётка, на селе до упаду смеялись все. Да ведь над кем не смеются? Обвыкнутся. И сейчас уже некоторые, кто раньше и говорить-то не хотел со Шлёткой, шапку перед ним ломают.

«Потому – машина в моих руках», – решил он.

Переступив порог своей избы, Шлётка крикнул:

– Лукерья, обедать!

– Чего-о?

– Обедать, говорю.

– Господи Иисусе Христе, – Лукерья закрестила перед ним воздух. – Да когда это у нас был обед? Ты что-о?

– Сожрала?

– Сожрала? Было бы что.

«Как жалованье получу – непременно обед завести», – решил Шлётка, взбираясь на полати.

– Лошадь-то сдыхает! Председатель!

– Ну, и что ж теперь? Чай, я не дохтор? Ну, меня не тревожьте. Голова теперь для общества нужна, а она у меня одна – не сто их.

Но только было он прикрыл глаза и начал засыпать, как в окно с улицы

забарабанила морщинистая, грязная рука.

– Кого это еще там принесло? Покою не дают.

– Ураган! – ответила Лукерья. – Эй, окно-то расколешь!

– Василь Егорыч! Егорыч, – неслось с улицы. – Ты председатель? Ты? Выдь-ка, выдь!

Шлётка нехотя слез с полатей и, почесав бок, босой вышел на улицу.

– Василь Егорыч! Батюшка! – с визгом налетела Анчурка Кудеярова, жена сапожника Петьки Кудеярова, высокая, огромная, худая и костистая, как измученная лошадь. – Чай, зарежут! Зарежут! Пра, зарежут!

– Постой... Ты это? Не пойму.

– Он ведь пес! Кобель! Тихоня, а пес! Намеднись тинжал австрийский украл. Я, мол: ты украл? Ты-ы-ы? А он – нет, байт, нет. А он! Он украл, он! Украл тинжал австрийский, украл да в репейник бросил.

– Кто? Он-то?

Анчурка, разиня рот, захлопала глазами.

– Да он, Миколай, чай, – и вновь со слезой: – Миколай Пырякин, – и с визгом: – Украл! Украл, пра, истинный бог, украл! Ты пойдем-ка, пойдем-ка.

И, не дожидаясь согласия Шлётки, она вильнула подолом и понеслась к своему двору.

– Занятия кончены, гражданка Кудеярова, – крикнул с расстановкой Шлётка и тихим шагом направился к баням.

Добежав до своей избы, Анчурка повернулась, миг стояла в оцепенении, глядя в спину удаляющемуся Шлётке:

– Василь Егорыч! Егорыч! Ты председатель? Ты?

Шлётка вполуборот бросил:

– Занятия, говорю, кончены. В порядок надо вас вводить, ни днем, ни ночью покоя не даете. Что, заячья жисть, что ли, у меня?

На берегу Алая он встретился с Грушей, женой Степана Огнева. С большим достоинством, чуточку уменьшая шаг, приподнял картуз.

– Скажи этому... как его? Ну, мужу, чтоб непременно явился в совет. Председатель, мол, требует.

Груша ответила, что Огнев еще не приехал и что сама ждет не дождется его.

– Ну, это нас не касается: в семейные дела не входим.

Груша, сдерживая смех, проследила, как он спустился к баням, и пошла в гору.

– Хи-хи, – засмеялся, вывертываясь из-за угла, Чухляв. – Вот председатель у нас: опять самогонку лакать пошел. – И тут же всплеснул руками: – Э-э, Груша, в девках-то ты была сок с малиной.

Застыдилась Груша, концом косынки вытерла губы.

– Сок. Чай, двоих родила, вскормила: жениха да невесту.

– Двоих... Другие семерых, и то не то... А ты, гляди-ка, чего – земля в лице-то.

Егор Степанович пошел рядом, говорил о хлебах в поле, о покосе, о жатве.

– Вот жать скоро. А у вас, слышал, в поле ветер гуляет, а-а? Эдак трудно зиму прожить.

– Как не трудно? Трудно, – Груша ниже к носу стянула платок.

– Лучше, – чуть спустя ласково проговорил Егор Степанович, – бросить бы ему «Бруски»-то... Дивлюсь я: мужик он умный, а дела о другом говорят, супротив. Ну, что, допустим, лошадь ведь ему одному достать легко – дадут: власть – родня ему. Со мной бы спарился. Эх, забузовали бы! Да и парень к твоей девке вяжется...

Знала Груша, что над Чухлявом Степан всегда смеется, сторонилась, а тут слова родные обронил Чухляв – это сблизило. Даже колом голова Егора Степановича показалась круглее...

– Обозлит он мужиков, – скрипел Чухляв. – Муравейник растревожит. Подождут еще... Этого надо бояться...

Торопливым шагом Груша взбежала на гору, пересекла улицу, в избу вошла, под окном села и, кладя заплаты на штаны Огнева, долго смотрела через окно на гору Балбашиху.

«Ежели по железке Степан поедет – с горы его надо ждать, ежели лошадей достанет – с Волги».

Ждала она Степана четвертый день: давно уехал – третью неделю – и не сегодня-завтра должен быть дома... А его вот все нет – это тяготило. Тяготило и то, что нынче ночью сон нехороший видела: Степан будто из города вернулся – бритый, в сапогах новых, а в руках вверх ногами владычицу держит.

Тревожил и Чухляв, тревожил и говор на селе... Бабы смеялись у Шумкина родника, сторонились, а как уехал Степан в город, родные повалили со всех сторон – злой говор шепотком да с упреком передавали.

– Он еще бы Алай вот запрудить взялся, – говорили, – это бы еще делал.

Может, поэтому и владычица приснилась вверх ногами, может, оттого и тревога сжимала сердце, поднимала с позднюю ночь Грушу с постели, заставляла в темноте шептать молитву. Замерла в руках иголка, и заплатанные штаны сползли с колен на рябые половицы пола...

2

Заскрипели ворота.

– Ну, отец приехал, а матери нет, дочери нет, – раздался голос Огнева в сенях.

Бодрый, шуточный голос Степана успокоил Грушу.

– Аль приехал?!

– Прилетел... На тройке... Как тут у вас? – спросил Огнев. – Телеграмму я от Жаркова получил. Здесь он еще?

– Уехал вчера в Алай.

– А-а-а! Война, говоришь, была?

– Беда, – Груша застучала у шестка самоваром, – за грудки хватались...

– То-то он и уробел... Прислал – выезжай немедленно. Ну, вот и я.

Раздирая пальцами бороду, Огнев сел на лавку.

– А мне сон приснился: бритый ты вернулся домой.

– Ну! Да там враз побреют – пикнуть не сможешь, как околпачат. Кто в совет-то прошел?

– Кто? Шлётка...

– От козла жди вони, от клопа – укуса. Ну, а еще кто?

– Ты... Заовраженцы тебя... А наши никак не хотели... Кирька Ждаркин да еще кто-то, уж я не помню...

– Та-ак... А я коней привел.

– Ну-у, коней?! – у Груши засияли глаза.

– Иди... Гляди...

Под сараем стояли три лошади – высокая, гнедая, в сизых плешинах чесотки – матка, сивый меринок и косолапый серенький жеребчик.

– Вот кони, – Огнев хлопнул рукой по приплюснутому заду жеребчика. – Не нравятся? Э-э, это в канцелярских руках они были... Мы их подчистим, подкормим, удержу не будет.

Груша смотрела на лошадей, на Степана – и в то же время вспомнила слова Чухлява: «Власть-то ему родня... Спарился бы со мною...»

– А вот и я! – и Стешка как вкопанная стала в пролете калитки.

– Ну-у! Быть не может! Как это ты себя узнала, а-а-а? – намеренно удивленно произнес Огнев, одновременно подмечая в дочери что-то новое.

Она будто пополнила. Во всяком случае раздалась, губы чуточку развернулись, потеряли упругость, зато лицо не птичье, а ясное, осмысленное, да и бег не козий, а прямой, решительный. И он подумал: «Красивая у меня дочь...»

От взгляда отца Стешка вспыхнула.

– Что, отгадайте? – она нагнула голову, держа руку за спиной.

– Рожон у тебя в руке! – задиристо, но в то же время и ласково произнес отец.

– Нет! – Стешка тряхнула головой. – Правда.

– Ну, чего у тебя, касатка? А ты говори, – как всегда в таких случаях, испуганно поторопила Груша.

Стешка потянула руку – из-за спины глянул синий конверт.

– От Сергея? Ну-ка, ну-ка! – Огнев тут же, в ногах у лошадей, опустился на чурбак. – Подлец! Сам не едет десятый год, и писем в год – три...

Разорвал конверт.

– «Здорово, отец...» Ишь ты, отцом зовет. «Мать, здорово!» Чуешь, мать? Тебя не забыл. А про Стешку ничего, – и повернулся к Стешке: – Забыл тебя... Ну, ну, не куксись... и тебе есть... «Слушай: «Маленькая моя сестренка, здравствуй!» Маленькая, – он засмеялся, мотая головой: – ему там кажется, что мы тут и не растем.

– А ты читай, читай. Балагур какой из города приехал. – Груша толкнула его в плечо рукой: – Читай!

Сергей писал о том, как живет в Москве, что соскучился по родным, по Широкому Буераку, по Волге, что непременно вырвется месяца на два, придет погостить и отдохнуть. Под конец писал: отец хорошо сделал, что организовал артель.

Одним словом, письмо дышало бодростью, приветом, одобрением – это растрогало Огнева. Но Степан не показал это своим, а, наоборот, переступая порог избы, пробормотал:

– Денег бы прислал...

– Будет тебе, – пряча письмо за зеркало, упрекнула Груша. – Самому-то, чай, не хватает... Холостой...

– А кормил, поил?

Смех отца понравился Стешке, а Груша опять замахнулась:

– Ну, и кормил... На то и отец!

– Раз так, что ж будешь делать, – полушутя согласился Огнев. – Ну, давай пообедаю, да на волостной съезд тронусь.

3

Борьба групп из Широкого Буерака неожиданно перекинулась и в остальные села. Сначала буря разразилась в селе Полдомасове. Там на предвыборном собрании победу одержали коммунисты и те, кто были с ними. Но на выборном собрании сторонники Силантия Евстигнеева, по примеру Плакущева, согнали всех своих единомышленников, и список коммунистов провалился с треском. Небывало шумели избиратели и в волостном селе Алае. В Алае не только в сельский совет, но и на волостной съезд советов прошли бывшие владельцы мельничушек, двигателей, мелких земельных участков – отрубники. А в селе Никольском выборы шли несколько дней. Там общество разбилось на две почти равные группы, и обе группы будто в состязании тянули за палку, голосовали

только за своих представителей. Туда выезжал Жарков, и ему в течение дня еле удалось уладить конфликт и провести в сельсовет представителей той и другой группы.

К волостному же съезду советов крестьяне готовились, как на покос даровых лугов.

И вот съезд.

Нардом – бывший мануфактурный магазин местного купца, пасмурный, в бревенчатых стенах – переполнен делегатами, гостями, базарниками Алая, возчиками делегатов из других сел. Утро первого дня целиком было потрачено на приготовления, на чай, на расстановку знамен и скамеек в нардоме, и только часов в двенадцать под бурным напором делегатов приступили к выборам президиума. На этом вопросе съезд и задержался до следующего дня. Каждое село хотело провести в президиум своего представителя, каждая группа – своего, а коммунисты бились за свой список.

– Наш кандидат, – говорил Плакущев о матером торгаше лошадьми Петре Кулькове, – является представителем беднейшего класса и как пострадал за народ...

– За грабеж на каторгу-то сослали... А ты на старости лет душой кривишь! – кричали в ответ.

– За погонщиками зачем носился в Сибирь?!

– Это, может, было, а может, болтовня какая, – отбрасывал Плакущев. – Надо проверку сделать... а раз теперь не до того, то об этом и говорить не след.

Жаркову из-за стола со сцены было видно, как постепенно, переходя с места на место, около Плакущева и Евстигнеева Силантия сбились восемнадцать делегатов – бородатые, широкогрудые. А в нардом из коридора напирали гости.

– Снизу голосовать, снизу! – кричали делегаты.

– А мы предлагаем – с серединки!

– А вы дуровину-то не плетите, – протестовал Плакущев. – Все бы обедали с каши, а потом щи... Порядок как есть, так и должен быть!

В конце концов после злых выкриков, пререканий, в президиум съезда прошли – Жарков, председатель волостного исполкома Шилов и Захар Катаев.

Делегаты, вздыхая, дружно прокричали «ура» вновь избранному президиуму, похлопали в ладоши, а балалаечный оркестр на церковный лад сыграл «Интернационал». Деловая часть съезда открылась докладом Жаркова о международном и внутреннем положении Республики Советов. Он доклад то и дело пересыпал примерами, сравнениями, воспоминаниями из подпольной жизни, из жизни фронта, анекдотами и тем, что он видел и слышал в Алайской волости, и тут же рассказал про те пути, какие намечает советская власть для поднятия сельского хозяйства. Говорил про социализм, рисуя его так, как ни один мужик не слышал, не представлял. Слушая Жаркова, делегаты и гости начали верить в грядущее, увлеклись речью. Но, когда Жарков указал на то, что единственным

выходом из нищеты и бедствия для крестьянского двора является коллективизация крестьянского хозяйства, по лицам присутствующих побежали улыбки – «знаем, дескать, мы эту штуку!»

До этого Жарков был похож на рысака в состязании с крестьянской клячей, но, увидав улыбки, он сбился, затоптался на месте, точно перед неожиданной пропастью, и, видя, что делегаты от него отхлынули, и в то же время желая во что бы то ни стало вернуть их расположение, – он рывком, почти бессознательно наскочил на коммуну «Прогресс», что находилась неподалеку от села Алая на бывшей земле графа Уварова. Он, зло издеваясь, высмеивая коммунарков, передал съезду те впечатления, какие получил при посещении коммуны. При въезде в коммуну его встретила стая собак. Что, разве уж так нужны эти собаки коммунаркам? Инвентарь в коммуне, словно после пожара, разбросан по двору, по участку. Живут они ев грязных, закопченных, с проваленными половицами, с крысами, избах, и кругом грязь, вонь. Народу много, а в поле хлеб гораздо хуже, чем у соседей – крестьян.

– От такой коммуны крестьянин, конечно, бежит, и советская власть никогда не советовала создавать такую коммуну... Это не коммуна. Это суррогат. Сушеная тыква, а не сахар.

Участники съезда и гости слушали его внимательно, прерывали выкриками, смехом, аплодировали, и Жарков вновь увидал, что съезд целиком в его руках.

А после перерыва, словно кто кнутом хлестнул по Алаю, – не успел Жарков пообедать, как народом был уже переполнен крестьянами. Не уместаясь в народоме, они толпились по коридорам, около народома, во дворе, облепили окна, сцену и гудели, словно осы в дупле.

Жарков вышел из-за кулис. Навстречу ему бурей понеслись хлопки, выкрики, гам. Все задвигались, кинулись по своим местам... Несмотря на то, что Жарков к аплодисментам привык, он некоторое время поправлял очки, смотрел на делегатов и, только когда гул чуть смолк, заговорил:

– Товарищи! Сейчас мы приступим ко второму вопросу нашей повестки – к отчету волостного исполнительного комитета.

В зале некоторое время молчали, потом заворчали, точно из-под пола, потом трубой:

– Жаркова!

– Жаркова давай!

Председатель вика Шилов вскочил:

– Товарищи! Товарищ Жарков не может больше... устал, как человек... и время теперь рабочее... Понятно?

– Жаркова!

– Жаркова!

– Проси!

- Давай!
- Перетерпим!
- Поле не убежит!

Голоса гостей, делегатов слились в общий гам, забились в бревенчатых стенах нардома.

И вновь выступил Жарков.

...Так прошли два дня... И, казалось, то буйство, та злоба, которые разразились при выборах президиума, теперь улеглись, а лица делегатов, гостей расплзлись в довольной улыбке. Только одно замечал Жарков, что почти все коммунисты, особенно Пономарев, по прозвищу Барма – широкоплечий, с красным вздутым лицом и осипшим, хриплым голосом, – косятся на него, при разговоре сторонятся, будто готовят заговор. Это тревожило Жаркова, но он тут же отряхивался:

– Пройдет... Это же всегда бывает... Главное, масса стала иная, наша, приблизилась к нам, – утешал он себя.

К отчету делегаты приступили мирно, дали председателю вика Шилову времени на доклад столько, сколько потребуется.

– Только ты уж жалеючи, – проговорил в смехе Захар Катаев. – Время, знашь-ка, рабочее!.. Зимой мы бы тебе месяц: хочешь – валяй!

И на трибуне – стареньком амвоне – появился Шилов. Он волновался, жадно глотал воду из стакана, затем выложил из портфеля на край трибуны кипы исписанной бумаги и, заикаясь, путаясь в написанном, приступил к отчету.

Читая, он сообщил съезду, сколько у него (именно у него, потому что он говорил: «у меня в волости») отделов, подотделов, кто каким отделом и подотделом ведает, сколько было заседаний, подзаседаний, сколько и каких вопросов разрешалось. Сколько было, есть и предполагается быть у него в волости лошадей, коров, овец, свиней и всякого прочего скота. Сколько съедает виковская лошадь сена и каковы расходы на канцелярские нужды.

Жарков сначала внимательно вслушивался в доклад Шилова. «У меня в волости», – резануло его, но он успокоил себя тем, что Шилов еще не совсем опытный председатель вика.

Но чем дальше, тем все больше доклад раздражал его, Жарков все чаще и чаще начал ловить себя на позевоте и думал:

«Скоро кончит... перетерпеть надо».

Но Шилов все читал и читал.

Вот уже прошло сорок минут, а может, больше? Может, год, два, три? От цифр у Жаркова начала пухнуть голова, появилась ломота в спине, ногах. Он посмотрел в зал. Задние ряды, коридоры нардома, где раньше стояли гости, опустели. По лицам делегатов видно – мыслями они все у себя по домам, в поле – пашут, месят лошадям, что-то мастерят в хозяйстве.

А Шилов читает, читает, читает.

Наконец кто-то не выдержал, вздохнул:

– О-о-ох! Инда в кишках заломило!

Делегаты дрогнули, засмеялись, закричали:

– Давай вопросами!

– Время рабочее!

– Не зима это, – соглашается Захар, – зимой бы туда бы сюда!

– Да я это, как его... только начал, – перебирая большим пальцем бумаги, растерянно произнес Шилов.

4

Степан Огнев прибыл на съезд в тот момент, когда крестьяне в ожидании прений вновь забили нардом, а со сцены по отчету вика говорил Жарков. С первых же его слов было видно, что он обрушится на Шилова и за форму его доклада и за работу вика.

– Вот если бы я, – говорил он бледнея, – с этой трибуны в течение полутора часов начал считать, сколько у вас рук, ног, волос на голове...

Делегаты и гости сдержанно засмеялись.

– Мы пригласили Шилова, – возвысил голос Жарков, – для того, чтобы узнать, как смотрит советская власть на наши нужды, какие она принимает меры, чтобы устранить эти нужды... А он нам – о том, сколько сена за год съела у него в вике лошадь. А вот под боком у вика есть сельсовет. Этот совет, где председателем коммунист Пономарев, занялся самообложением, собрал по фунту с едока на селе, на приобретение печати... Пустяковое будто дело. Но в Алае семь тысяч едоков, значит семь тысяч фунтов, то есть сто семьдесят пять пудов хлеба. Сто семьдесят пять пудов хлеба на печать!

Делегаты сначала слушали молча, потом с недоумением, но когда Жарков сказал: «Сто семьдесят пять пудов на печать», – делегаты, гости, сам Жарков, члены президиума и даже Огнев разразились таким хохотом, что в нардоме задрезжали окна, а у Захара Катаева посыпались слезы, и он, вытирая их рукавом рубахи, выкрикивал:

– Вот головы!.. Вот работнички!.. Ух-хо-хо-о-о!..

Жарков еще долго, прерываемый возгласами одобрения, хлопками, говорил о том, как надо было работать вику.

Кончив, он отошел за кулисы. Сразу почувствовал нервную дрожь во всем теле и, вытирая пот, долгое время слушал громкие возгласы, аплодисменты, вызовы его на сцену. Он не вышел.

В зале некоторое время стояло замешательство, слышалось покашливание, неожиданные взрывы хохота, потом слово попросил один из восемнадцати,

Силантии Евстигнеев, делегат от Полдомасова – большого базарного села.

Теребя борт поддевки, он говорил медленно, нерешительно:

– Ну, что ж, мужики, – он глянул в сторону своих, потом через головы делегатов на гостей, – я, стало быть, молотьбу производил летось. Вот советская власть к машине идет. Ну, и мы за машину, стало быть.

– Еще бы! – выкрикнул Степан Огнев. – Не зря вас движками зовут.

– Пустых слов не принимаю, – Силантии отмахнулся. – Ну, взял я машину у Шилова... ну, четыре телеги обмолотил машиной – двадцать четыре пуда взял... Гляжу, в колосе зерно имеется. Лошадьми катнул – еще шестнадцать пудов накатал. Разве это в порядке молотилки?! Не в порядке они. Вик не в порядке их держит... в разруху полную привел молотилки... и двигатели там... По моему мнению, их хоть возвратить, что ль, аль что? Старым хозяевам, к примеру.

Сел. Но вслед за ним тут же выскочил Петр Кульков. У этого животик круглый, борода клинышком, и говорит он прямо, без «что ль».

– Во-первых, двигатели и молотилки возвратить владельцам – от этого будет большая польза и государству и пролетариату нашему, и товарищ Жарков говорит тут весьма справедливо: дурака на хорошую лошадь сажать нельзя, и вообще позор нам держать так драгоценности...

– Я этого не говорил! – крикнул было Жарков.

Но в это время из-за кулис вышел председатель сельсовета, коммунист Пономарев-Барма. Упираясь в трибуну локтем, выставив огромную изуродованную руку, он захрипел:

– Товарищи! Вчера тут товарищ Жарков выступал и в своем докладе говорил, что он был в коммуне «Прогресс», и когда подъезжал, из коммуны кинулась на него стая собак... и что от коммуны вонюю несет кругом на семь верст. – Чуть подождал. – Товарищи, собаки, как нам всем не секрет, на чужих только лают, на своих они не тявкнут.

– Эй! Обормот! – крикнул кто-то из зала.

– А благородному носу, – хрипел Пономарев, – все кажется вонюю. Конечно, нас духами не спрыснешь... такие уж мы... Оно хорошо в городе сидеть. Грамотки писать и всякие там статьи.

– О чем это ты понес? – перебив его, спросил Захар Катаев.

– А о том, стало быть, что собаки лают на чужих. Понял? А тут приедут вот к нам, взбаламутят...

– Насчет печати ты... а-а-а?

– Мало сто семьдесят пудов? Триста надо?

Гвалт, крик, гам. Пономарев что-то кричит, машет руками, вертит белками на красном лице, и только иногда сквозь гам прорывается его хрип:

– Хорошо указывать! Чужих нам не надо...

– Слово прошу! – И Плакущев, не дожидаясь, когда кончит Пономарев, расталкивая делегатов, подошел к трибуне.

Гам разом оборвался.

– Вот Пономарев, – начал Плакущев, – все мы знаем его... и Бармой зовем... бормотушка... Может, и как честный коммунист! Конечно, чужая душа потемки, говорят. А только одно, граждане: коммунисты те сели на золотое дно. Видали – в поле еще после графа какие кучи навоза навалены? Миллионы пудов. А у коммунистов солончаки, вихрами по участку... Вот я иду раз – на меня тоже собаки кинулись. Чужой я, стало быть? Говорю председателю: «Почему вихры навозом не уничтожите?» А тот: «Того не дозовешься, другого не докличешься... А сельская власть во-он она». Гляжу, а под кустом кто-то вдрызг лежит... Не ты это был, Пономарев? – он неожиданно повернулся к Пономареву.

– Голова у меня болела, – прохрипел из-за кулис Пономарев.

– То-то. У нас не болела ли у обоих – обоим нам в глаза блевотина около тебя бросилась... Вот на тебя, я так думаю, собаки уж не кидаются... На него уж, поди, собаки не лают!

Делегаты засмеялись.

– Свой человек!

– Вот-вот! Человек он там свой, а вонь ему родная, а родная вонь не вонюча!

– Хо-хо!

– От себя идет – не чуешь!

На последние слова Плакущева Жарков засмеялся и в знак одобрения качнул головой. А Плакущев таким же тихим шагом пошел дальше – развил перед мужиками намеченную советской властью линию, указал на решение съезда Советов, съезда партии, прочитал на память несколько выдержек из речей наркомов и все-таки под конец завернул к своим – предложил молотилки и двигатели отдать старым хозяевам.

И не успел Плакущев кончить, как на сцену снова вылетел Пономарев.

– Съезд является, – начал он, – вершителем судеб...

– Барма, не сорвись! – крикнул Петр Кульков.

Пономарев глянул на Кулькова, на делегатов, потрогал рукой лоб.

– Ну, продолжай, продолжай, – глядя себе в ноги, крикнул Петр Кульков, – это я, чтоб, мол, не сорвался ты.

– Ну, вот, – Пономарев беспомощно развел руками, – говорил не прерывайте... Забыл, – тихо добавил он и ушел в задние ряды.

В хохоте, в выкриках, в бурных аплодисментах Плакущеву Жарков вдруг увидел, что победа неожиданно стала переходить на сторону восемнадцати делегатов. Он быстро, сосредоточенно начал взвешивать создавшуюся обстановку и только тут почувствовал, что он и сам-то слишком увлекся, говоря по отчету вика, и, пожалуй, своим выступлением больше сыграл на руку бывших

владельцев мельничушек и движков.

«Выступить сейчас же, – думал он, – да ведь как защищать вик? Молотилки действительно разбросаны по гумнам, а двигатели свалены в кучу под сараем вика».

Но в то же время он видел, что близился неизбежный провал: с каждым новым выступлением делегаты съезда все больше и больше склонялись на сторону восемнадцати, а в речах «движков» все ярче сквозило требование возврата частной собственности и осуждение политики советской власти. И когда перед делегатами выступил ответственный секретарь волкома и когда его, после первых слов о том, что нельзя обогащать зажиточную верхушку деревни возвратом двигателей, гамом согнали за кулисы, – Жаркову показалось, что изменить движение съезда так же нельзя, как нельзя изменить движение пушечного снаряда. У секретаря губкома выступил пот на висках, задрожал в руке колокольчик.

– Слово прошу давно, – из-за стола встал Захар Катаев.

– Слово товарищу Захару Катаеву, – сказал Жарков.

Захар вышел вперед и, видя, что «движки» собираются гамом сорвать его со сцены, сразу заговорил:

– Меня не перепугаете. Вы будете кричать, а я буду стоять и ждать, пока вы не наоретесь. До утра будете кричать, стоять буду до утра. Ну-ка, а я сяду. – Он подвинул к себе табуретку и сел.

Восемнадцать делегатов притихли.

Захар поднялся и, глядя на них, тихо заговорил:

– Что это вы? Как только съезд, так вам непременно что-нибудь да вернуть? А? Эдак вы, пожалуй, скоро и последние портки с советской власти стащите, скажете: в портках-то ходить толку мало, греха много.

Первым засмеялся громко, раскатисто Жарков, за ним еще несколько делегатов. Послышались редкие выкрики.

– Да вам... тебе хорошо! – гаркнул из задних рядов Никита Гурьянов. – У тебя нитки не взяли! А у нас трудом нажитое добро...

– Вам и обмолот в прошлом году указали двенадцать пудов, а на нас накатили – село, дескать, центральное – двадцать... – поддержал Никиту Петр Кульков.

Плакущев дернул за рукав Кулькова, но уже было поздно: ненужные слова вылетели. И Плакущев, укоризненно глядя на Кулькова, согнутым пальцем постучал себе по лбу.

– А-а-а-а, вот как! – радостно подхватил Захар. – Вас обижают! Который вот уж годок обижают! И молотилки-то у вас отобрали, и землю, и то, что на нас вот, – он обвел рукой всех делегатов из других сел, – на провинцию, так сказать, налогу меньше накатили, а вас и тут обидели... Граждане, – он повернулся к остальным делегатам, – мне не верите, давайте им верить. Тут Силантий Евстигнеев первый говорил: он машиной четыре телеги хлеба обмолотил –

двадцать четыре пуда намолотил, сам сказывал, а потом лошадьми еще шестнадцать – это сорок пудов с десятины выходит?! А обмолот им показан не сорок, а двадцать пудов. Это ли не обида? Как дурочка-баба, пять пирогов в печку посадила, а вынула шесть, сидит и плачет: горе какое!..

Последние слова утонули в хохоте делегатов.

– С такой обиды умрешь, – заключил Захар. – Да, кроме того, машиной ему удалось помолотить. Хлеба нет, а машину молотить взял – это тоже обида?! А мы вот не обижаемся, – он повернулся к «движкам»: – рады бы по-вашему обидеться – машиной помолотить хлеб... да вот нет такой возможности обидеться – цепями и то нечего было молотить.

Тут уже случилось то, что не ожидал не только Огнев, но и даже сам Захар, – делегаты сел гаркнули на «движков». Это захлестнуло Захара. Он, уже не чувствуя себя одиночкой в тяжелом возу, взметнулся и пошел рвать направо и налево... Восемнадцать делегатов метнулись к нему, а он к ним и, стуча кулаком по ладони, бросал колкие слова.

Жарков тоже вскочил со стула, звонил колокольчиком, кричал, но в то же время чувствовал всю бесполезность своего вмешательства. По крайней мере ему показалось, что он колокольчиком призывает к порядку воду, которая неожиданно прорвала плотину и вот-вот разнесет вдребезги мельницу.

– Сто-о-ой! – неожиданно разрезал гам голос Огнева. – Мо-е слово-о-о! – И зашагал на сцену.

Делегаты разом смолкли.

– Допрежь машины. Ну, что ж?! А потом дома – народом вот купцу вернуть, – Огнев обвел рукой бревенчатые стены нардома. – Да еще подштукатурить: штукатурка отвалилась. Ну, что ж?

Все – не только делегаты, но и «движки» – были в недоумении. Что же он, Огнев? Не то говорит за возврат, не то – против...

– А потом земличку – ну, что же, и ее можно! А потом скажут: мужик, шея у тебя зажила, а у нас сиделки соскучились по твоей шее – давай мы тебе ее малость натрем. Терли ведь сколько лет – зря ты нас стряхнул!.. – И вдруг резко, взволнованно. – Такой декреции нет! Нет такой декреции, чтобы двигатели вернуть, да еще шапку пред хозяйчиками прочь – извините, мол, оплошку такую допустили: вас, господ, в разор разорили! Такой декреции нет! Не дадим такой декреции! У нас руки есть! Мы еще не забыли, как винтовки в руки брать!..

Жарков уже не хмурится, не звонит колокольчиком. А Огнев долбит:

– Когда конь в гору воз вывез – ему нечего помогать. В гору воз тянули мы, настоящие крестьяне, у которых мозоли на руках. А вы? Вы прицепились. На возок хотите сесть... Не-е-ет, не затем кровь проливали, чтоб пустить вас к себе на шею... Мы были большевиками, – он выкинул обе руки вперед, – и будем ими.

5

На крутом яру, в зарослях кустарника, стоял Яшка Чухляв и, хмурия брови, всматривался в заросшие камышом и чаканом омуты Гусиного озера. Это даже не озеро, а один из огромных ильменей, но за тишь, за крутизну берегов, за налет сюда огромных стай диких гусей его издавна зовут Гусиным озером. В прозрачном мареве озеро дымилось цветом яблони, колыхалось и в тени лоснилось спиной откормленного вороного коня.

Раздирая кустарник, Яшка ближе спустился к берегу, присел на корточки и, приложив ладони к щекам, с крутизны долго смотрел в воду.

На дне у крутого берега торчали перепутанные мхом и травой коряги, рябыми углами глядели глиняные глыбы. Временами между корягами и глыбами скользила мелкая рыбешка, мерно двигались – с палец – щучата, а на поверхности шныряли водяные тараканы.

«Не может быть пустым озеро, – соображал он, – ежели щучата есть, – рыба должна быть».

Яшке позарез нужны были деньги: он предугадывал, что Егора Степановича (хотя он теперь будто не вмешивается в хозяйство и во всем соглашается с Яшкой) трудно будет уломать послать сватов к Стешке Огневой, и легче это удастся, если у Яшки в кармане будет сотенка-другая целкашей. Поэтому он решил так или иначе обойти лесничего Петра Кулькова, который совмещал в себе и охранника вод и торгаша лошадьми, наловить рыбы в озере и отправить в Илим-город. Об этом он перекинулся словечком со своим другом Васькой Синцом. Тот, зная, на что пойдут деньги, согласился помочь.

Вглядываясь и прислушиваясь ко всякому шороху, Яшка еще ниже склонился над водой.

Озеро, будто здоровяк развалился на солнышке, пыхтело тихо, плеском ласкалось у крутых берегов.

Яшка уже начал терять всякую надежду.

Он стал придумывать, где и каким бы путем ему достать денег. Поехать в Илим-город, поступить плотником на завод? Но, чтобы на заводе достать такие деньги, надо проработать год-два. А тут дело не ждет...

И он начал раскаиваться в том, что вернул Плакущеву отбитые им у Ахметки узелки с одежкой. Там одна шуба – и та рублей семьдесят пять стоила, да разного барахла – глядишь, сотни две бы и набрал... Оно – нехорошо, что и говорить. Да ведь в петлю не полезешь?

Вдруг он откинулся назад и вновь наклонился к воде: слева, из-под нависших косматых сучьев ольхи медленно вышел косяк лещей и плавно двинулся на середину озера. За ним другой, третий, потом в саженьях пяти от Яшки взорвалась гладь.

«Это сом, – чуть не вскрикнул он, – а сколько ее, рыбы! Еще! Еще!»

Из-под тени кустарника вышел еще косяк лещей – медленный, ленивый. Но

вдруг он ожил, засуетился, метнулся во все стороны – и гладь озера, словно от лошадиных копыт, завихрилась брызгами.

– Ага, щука, щука... карась, не дремай, – Яшка подпрыгнул и крупным шагом ударился по берегу в село.

Солнышко опускалось за гору Балбашиху. Недалеко до ночи, а Яшке надо еще достать неводок. Неводок он достанет у Степана Огнева. Известить Ваську – и это легкое дело. А вот главное – надо прочистить дно озера от колышков и коряг. Иначе невод запутается, и его похоронишь на дне озера. А прочистка озера – это уже не пустяковая штука...

– Одно из двух, – подгонял он себя: – или ныряй, или живи век с Зинкой Плакущевой...

Вскоре, перемахнув через плетень гумна, он подошел к риге. Из-за риги навстречу вышел Васька.

– Ну, дела как? – спросил он, мотнув головой в сторону Гусиного озера.

– Косяки! Ты теперь гони лодку, а братка поставь на яру за гумнами. Да кудели пусть с собой заберет, в случай чего – кудель керосином, спичку и – нам даст знать... Ну, крой, Васек!

Синий вечер окутал сарай Широкого Буерака. Яшка конопляниками направился ко двору Огнева. Неподалеку, на конце конопляника, выкапывая на вареве картофель, возилась Дуня, вдова Пчелкина, убитого Карасюком.

– Сапоги-то нашлись, Яша? – разгибаясь, спросила она.

– Не-е! Черт их знает, куда делись. Ведь на крыльцо я их положил, когда привез... и узелки Плакущева с ними лежали... Только выхожу из избы – тятя говорит: «Сапоги пропали», – в десятый раз объяснил он Дуне.

Дуня считала, что яловочные сапоги у Чухлявов, а Яшка всегда дивился, куда они могли деться. И ему было неудобно, когда о них спрашивала Дуня, и как-то не верилось в эту пропажу...

«Да что будешь делать, свои не отдашь?» – думал он, шагая ко двору Огнева.

Во двор он вошел так, как входят люди, давно живущие в этом дворе: плотно притворил калитку, приправил пальцем гвоздь, чтобы петля не болталась, и, соскоблив с босых ног ошметки глины, шагнул в избу.

В темноте на кровати разглядел голову Груши.

– Где народ? – проговорил, оглядывая углы, печь, полати.

– Ты, Яшка? – Груша поднялась. – А я прилегла: наработалась нонче до упаду. Стешку в Торонок девки утащили...

– Не ее мне, – оборвал Яшка, – дядя Степа где?

– У Чижика... Чай пьют... с этим... и этот там... Жарков.

Из избы Яшка вылетел, как сорвавшийся с привязи конь. Как? Стешка ушла в Торонок? Зная, что сегодня он едет ловить рыбу?... Может, завтра его за такие

дела Кульков обчистит, как белку, а она в Торонок! Песенки, ей, смешки, гулянки! Так-то она боится Кирьки Ждаркина?! Притвора! Ну, хорошо!.. Посмотрим...

Он намеревался было кинуться в Торонок, издали посмотреть на то, что там проделывает Стешка. А потом ворваться в хоровод и всю свою злобу игрой с какой-нибудь девкой обрушить на голову Стешки.

Он так и сделает – сейчас подхватит хотя бы ту же Зинку Плакущеву, закрутится с ней и при всех, при Стешке, начнет ее горячо целовать – пускай поглядит, пускай не брыкается. А потом бросит Стешку, уедет в Илим-город, поступит на завод и в Широкий Буерак вернется не раньше, как года через два, вернется совсем не таким босым да в самотканых штанах. Вернется не хуже Кирьки Ждаркина.

Он уже совсем добежал до Крапивного дола, как вспомнил косяки рыбы в Гусином озере и то, что его поджидает на озере Васька, – остановился.

«Да, впрочем, кому ты такая нужна?» – подумал он, шагая ко двору Чижика, и в то же время радовался, что Стешка уже не девка и так близка ему...

Но эта радость заволочлась завистью, злобой, недовольством на то, что Стешка не выдержала, ушла в Торонок.

«Не могла потерпеть...»

6

После бурных прений, злых выкриков победа на волостном съезде Советов осталась на стороне коммунистов: делегаты сел под конец съезда настолько восстали против «движков», что, когда те предложили провести в члены вика Силантия Евстигнеева, делегаты из других сел только протянули:

– А-а-а! Это тот самый?!

И подали голоса за тех, кого выставила фракция коммунистов.

И съезд закрылся аплодисментами, пением «Интернационала». Жаркова приглашали побывать в тех селах волости, где он еще не успел быть.

– Чтобы никому обиды не было.

Жарков отнекивался, обещал быть потом... Он непременно возьмет себе месячный отпуск и проведет его в Алайской волости, а сейчас он никак не может: срочные дела требуют его присутствия в губкоме... Как-нибудь потом. Пока!..

Делегаты на этом согласились и заторопились по домам.

Но, когда все делегаты съезда, кроме коммунистов, разъехались и когда Жарков выразил полную надежду на то, что вновь избранный как поведет хорошую творческую работу, и посулил как одну из необходимейших мер по оздоровлению алайской ячейки непременно прислать из Илим-города проверочную комиссию, у него неожиданно и непонятно для него самого появилась какая-то гнетущая тоска. Он посмотрел на поджидающего Огнева,

Захара Катаева, старичка-пчеловода Чижика, и ему страшно захотелось хоть час пожить так, чтобы не думать о мировых масштабах, о бандах, о всей губернии или вот даже об этом Чижике... Пожить, сбросив с себя тяготу постоянной ответственности – ответственности в каждом поступке, слове, движении... Пожить так, как живет Чижик. И тут же перед ним промелькнули изрезанные долами и оврагами ширококовские поля, Волга, «Бруски»... кургузый березняк и торопливые движения оголенных упругих стешкиных ног.

«Что же это такое? – подумал он. – Да, конечно, хорошо. Хорошо бы недельки две провести здесь. Но... надо ехать впрягаться в губернскую лямку».

– Александр Яковлевич, – пошептавшись с Захаром, обратился к нему Чижик, – чего на ночь глядя торопитесь? Пойдемте-ка к нам, чайку у меня попьете, медку откушаете, отдохнете, а поутру и в путь-дорогу... А?

Эти слова были сказаны как никогда кстати. Однако у Жаркова в кармане лежала третья телеграмма с требованием приезда его в губком. Нельзя было не подчиниться этому требованию. Но тут (как это часто с ним бывало) он обманул самого себя, уверяя в необходимости еще раз побывать в Широком Буераке, кое-что пересмотреть в своих выводах, побеседовать с ширококовцами в семейной обстановке, и согласился на предложение Чижика.

Они сидели в сенях у Чижика, пили чай, беседовали, когда вошел Яшка и, не зная, как вызвать Степана Огнева, присел на верстак под сараем. Думая о Стешке, он в то же время невольно прислушивался и кговору в сенях.

– Александр Яковлевич, – говорил Чижик, – здорового рассудку откушайте.

– Чего?

– Меду. Мед зовет здоровым рассудком, – пояснил «почему-то хмурясь, Захар.

– А что? – встрепенулся Чижик и пустился рассказ зывать, как он однажды медом вылечил какого-то помещика.

– А вот болячку у себя на носу не вылечишь? – в шутку упрекнул Огнев.

Чижик стар – в прошлом году ободрал сеткой нос, появилась ранка: примачивал ее Чижик, пластырь – лист лебеды – прикладывал, не заживает.

«Нет, видимо, износился, как ни латай – все дыры», – решил он – и залепил болячку воском.

Когда Жарков сел за стол, болячка на носу Чижика подействовала на него отталкивающе, и он с отвращением смотрел на ранку, на мед, смеялся, говорил и прятал руки под столом.

– Ты не подумай тут что, – заметя его нерешительность, заговорил Чижик, – зараза там какая... сроду у нас этого не было. Народ мы самый чистый в улице... А просто...

Тут Чижик рассказал всю историю с царапиной, рассказал все это в своеобразных красках, так что под конец его рассказа все хохотали, сгибаясь над столом.

– Да я ничего, – и Жарков потянулся к меду.

– То-то, то-то, – Чижик успокоился и снова потрогал болячку на носу.

Яшке под конец стало непомерно тягостно: он готов был сорваться с места, перебежать поле, забиться в чащу, и выть в тьму неба... Такая была' боль, злость, зависть.

«Ну, зачем ты мне все это... а-а-а?» – в десятый раз спросил он мысленно Стешку и решительным шагом пошел в сени.

– А-а-а-а, Яше, – поправляя большие очки, Жарков протянул ему руку. – Где пропадал?

– В Лондоне.

– Где?

– В Лондоне...

– Да в Никольском... Его мы Лондоном зовем! Все там было – керосин, соль, тряпки эти, самогон... Ну, назвали Лондоном, – пояснил Захар.

– А теперь все это в открытую имеется на базаре, в Алае, – добавил Чижик, не приглашая Яшку садиться. – По какой надобности ездил?

– Лошадь продавал: раны на ней пошли.

Жарков долго смеялся, когда Захар рассказал ему про то, как Чухляв перед приходом Карасюка ободрал золой лошадь. Яшка воспользовался этим моментом, вызвал Огнева во двор. Через минуту к ним вышел и Жарков.

– О чем шепчетесь?

– Рыбу вот ловить хочет. Неводок просит... Дать придется – на нашу сторону обещает перейти, – засмеялся Огнев, – вот и подкупим его...

– Рыбу? – поправляя большие очки, спросил Жарков. – Это и меня возьми!

Жарков только потом понял, что за предложение Чижика и за компанию Яшки он цеплялся исключительно потому, что ему хотелось повидаться со Стешкой. Он в этом новом чувстве сам себе еще не сознавался, но всегда при виде Стешки у него чуточку подбиралась отвислая нижняя губа, ноги молодели.

Ему было просто хорошо, когда он видел Стешку. Он говорил с ней, смеялся и украдкой смотрел в ее большие, чуть зеленоватые глаза. Он так по крайней мере думал. Но в то же время часто ловил себя и на том, что ему вовсе не хочется видеть, всегда торопливую, свою жену. Верно, он иногда, во время бесед с крестьянами, вспоминал ее меткие выражения, советы и многое, сказанное ею перед его поездкой в деревню, проверил на практике... Но все-таки чаще и совсем по-иному, чем жена, вспоминалась ему Стешка. К Стешке тянуло, со Стешкой хотелось быть, и он не раз даже в тот момент, когда делал доклад на волостном съезде Советов, вспоминал ее, и ему не раз хотелось во время доклада привести как пример здоровья, бодрости – Стешку и крикнуть: «Да вот для них, для нашего молодого поколения, и стоит работать, трудиться, перестраивать эту дикую, забитую, захолустную деревенскую жизнь!»

Может, поэтому и к Яшке тянуло.

Яшка же с некоторых пор чуждался Жаркова. А когда видел его вместе со Стешкой – веселого, смеющегося, – бычился и торопливо скрывался. Но сейчас, когда Жарков попросил взять его на рыбную ловлю, Яшка, хотя и догадался об его настоящем желании, но в то же время подумал, что иметь на опасной рыбной ловле такого человека, как Жарков, значит избежать опасности. Он повернулся к Огневу.

– Да ты скажи, – предложил Огнев.

– Да ведь я... еду... как бы сказать... в запретное место, – проговорил он, боясь отпугнуть этим Жаркова.

– А вот это и интересно, – подхватил Жарков. – Это вот и интересно...

– Ну, тогда айдайте!..

– И меня возьмите! – ввязался Огнев.

7

Из Алая последним вышел Илья Максимович...

Несмотря на то, что на съезде они потерпели поражение, у него глаза светились радостью. Он не терял надежды, а наоборот, был больше чем когда-либо убежден в том, что на следующих выборах – и вообще – победа останется за ними.

– Теперь спотыкнулись мы, – говорил он за самоваром на постоялом дворе, – на других выборах верх наш... Только у них учиться нам след и отчет в своих словах давать, а так не след, – упрекнул он Петра Кулькова за выкрик об обмолоте.

По пути он решил заглянуть к Егору Степановичу – не виделись они три дня. Хотелось поделиться с ним тем, что было на съезде, да, может, удастся и его перевернуть – из норы выгнать.

«Мужик-то ведь башковатый, а такого дела сторонится. Пойди за ним бы целый хвост!»

Он перешел Пьяный мост. Ветром растворило ворота у Николая Пырякина. Сначала Буренка, а за ней и жеребчик с приплюснутым задом вышли на улицу и направились в Крапивный дол.

– Вот огородников завел, – буркнул Плакущев и резко забарабанил рукой в окно. – Эй, хозяин! Скотина-то со двора ушла... На огороды!

– Коля! – послышалось внутри избы. – Лошадь-то ушла!

– Ну, загони, – нехотя отозвался Николай.

– Да она кусается – боюсь я...

– А ты ее хворостиной...

– Пропащее дело, – проворчал Илья Максимович и направился ко двору

Чухлява.

– Что тебе за забота о чужом скоте? – заговорил Чухляв, поднимаясь навстречу Илье Максимовичу: – Пускай – на огороды. Опосля со свету за капусту сживут.

Они долго сидели у двора в темноте; говорили о том, о сем, а когда на церквешке колокол пробил десять и широковские избышки смешались в сумраке, Илья Максимович поднялся:

– Ну, так, стало быть. Ты-то, значит, согласие свое даешь?

– Я на то согласен, – Егор Степанович прищелкнул языком, – а вот Яшку надо...

Со двора Огнева вышли двое – у них на плечах кол, а на колу что-то мохрястое волочится по земле.

– Невод, – догадался первый Егор Степанович. – Рыбу воровать.

– Ну, это дело не наше, – заявил Плакущев и, простившись, направился к своему двору.

– Знамо, дело не наше, – подтвердил Егор Степанович.

Но как только Плакущев скрылся у себя во дворе, Чухляв торопливым шажком побежал к Крапивному долу, по пути загнал жеребчика и корову Николая Пырякина в огород к Федуну, а через некоторое время его сухая рука барабанила в окно избы Петра Кулькова...

8

Под кручу яра, чавкая ногами в лужах, спустились Яшка Чухляв, Жарков и Степан Огнев. Они знали, что легче и удобнее было бы спуститься к озеру со стороны дороги, по тропочке, но там негде укрыться от зоркого глаза Кулькова, да оттуда и не заметишь тревожного сигнала Васькиного брата. Поэтому, раздирая цепкий кустарник, они осторожно спустились по яру к омуту и, поджидая прихода лодки с Васькой, напряженно всматривались в ту сторону, где Гусиное озеро маленькой речушкой соединяется с Волгой.

Временами на озере, под нависшими ольхами, всплескивали рыбки да где-то в зарослях камыша гоготали перепуганные гуси – это на миг спугивало тишь.

Лодка не появлялась. Это в конце концов начало тревожить ловцов, и Яшка, не стерпев, сплюнул в омут, завозился.

Что случилось? Васька уже давно, раньше их должен бы быть здесь. Может быть, лодку перехватил Кульков? Он мужик пронырливый, хитрый. При Жаркове он, конечно, никакого шума не поднимет, даже рассмеется, поклонится – это с ним бывает. Но после, как Жарков уедет в город, он непременно подаст в суд – и тогда целая канитель. Вот и сейчас, может быть, при входе в озеро Кульков задержал лодку, и тогда с минуту на минуту его надо ждать сюда. И Степану Огневу не пора ли припрятать неводок?

Жаркову же страшно хотелось курить. Он несколько раз порывался достать

портсигар, но всякий раз, чувствуя на своем плече цепкую лапу Яшки, опускал портсигар обратно в карман, поправлял очки и вместе со всеми смотрел в ту сторону, откуда должна была появиться лодка.

«Хорошая, крепкая семья», – подумал он про Огневых, каясь, что не сразу оценил Степана, не сошелся с ним ближе.

Из береговой тени на озере неслышно, будто она скользила по воздуху, показалась лодка и так же бесшумно пристала под кручей.

– Ну! – Яшка легонько толкнул Огнева и первый вошел в лодку.

Через несколько минут Яшка и Васька, лоснясь в темноте, стояли голые в лодке, а Огнев кошкой нащупывал на дне озера коряги.

Пройдя сажени три, он дернул кошку и тихо проговорил:

– Вот тут коряга и колышек.

– Бульк! бульк! – тихо булькнул Яшка, а за ним и Васька.

Жарков сел на корму и, не понимая, что они делают, удивленный глянул в воду. У него по телу побежали холодные мурашки. Ему показалось, что ребята слишком долго под водой, и главное – его тревожило, что то место, куда они спустились, было абсолютно спокойно. Может, в темноте не видно? Он поправил очки и склонился ниже – вода была действительно спокойна и казалась до невозможности холодной.

Он хотел уже крикнуть Огневу, что пора кончить это безобразие, как вдруг на поверхности показались сначала рогульки, потом голова, затем коряга в нескольких местах разрежала воду. Огнев подхватил ее, положил в заросли омота, а колышек в лодку, в лодку же, изгибая сильные мускулистые спины, взобрались ныряльщики.

Яшка посмотрел в сторону Широкого. Васька вздрогнул, отряхнулся:

– Эх, проклит, как лед на дне-то.

– Это от родников, – тихо ответил Яшка и, определив по тому, как дернул кошкой Огнев, что тут есть еще коряга, вновь нырнул в воду.

Жарков долго смотрел в воду, но, когда из воды появилась коряга, он невольно подхватил ее, вскинул, как Огнев, и так же бесшумно опустил в заросли чакана. И тут же увидел, как Яшка уткой кувыркнулся вниз головой и через миг появился на поверхности с колышком в руке.

– Я так и знал, два тут их, – тихо проговорил Яшка.

Очищая дно, Огнев тянул за собой лодку, вытаскивая на берег легкие коряги, а тяжелые, с кольями, тащили Яшка и Васька. Они уже перешли на другую половину озера. Со дна все чаще и чаще появлялись коряги, и Яшка с Васькой уже не вылезали из воды. Жарков тоже увлекся – и не заметил, как ему в сапоги налилась вода и брюки на коленях намокли.

Звено шестое

1

Зима приближалась утренними заморозками, перелетом гусей, завыванием ветра и ледяной кашицей в реках. Скоро свадебные дни. Широкобуераковские улицы огласятся буйными песнями, и тогда не один парень перейдет в мужики, и не одна девка забудет, как ходить на посиделки. А у Яшки в кармане так же пусто, как и было: рыбная ловля в Гусином озере окончилась полной неудачей, даже больше – когда на яру за гумнами вспыхнул предостерегающий факел Васькиного брата, они второпях растеряли по корягам половину невода, и Степан Огнев всю осень латал его и не мог залатать – неводок пришел в полную негодность.

После такой неудачи Яшка работал, как вол: жал, возил снопы, молотил и озимый клин разделал, как напоказ. Даже Егор Степанович – и тот удивился его заботливости. Но, когда Яшка пробовал заговорить с ним о том, что надо послать сватов к Стешке, Егор Степанович всегда или отделявался молчком, или неожиданно срывался с места и бежал в сарай. А несколько дней тому назад отрубил:

– Сказано – нам в дом надо под шерсть. Вон у Плакущева Ильи Максимовича – девка! Бери! А на этой голо, ровно на крапиве зимой – ни листка.

Дни бежали... Яшка в поисках денег метался из стороны в сторону. А когда выпал снег и по дорогам завизжали сани, он написал Жаркову письмо. Жарков ответил приглашением и обещанием устроить на работу. Об этом Яшка вчера вечером и сообщил Стешке.

Перебирая все это, Яшка узкой, ухабистой дорогой пересек поле. В кармане у него лежала расшитая Стешкой сумочка, а за спиной болтался туго набитый пирогами, чулками, бельем, сапогами – холщовый мешок.

У «девяти братьев» – группы дубков на отшибе – Яшка остановился, посмотрел в сторону Широкого, поправил на спине мешок и зашагал дальше.

Сегодня до ночи ему непременно надо уйти за пятнадцать верст от Широкого – в село Кормежку, чтобы переночевать там, а завтра поутру сделать переход в сорок верст и вечером быть на квартире у Жаркова.

– У него и останавливайся, – поучал Егор Степанович, – тут тебе две выгоды: перво-наперво за квартиру не платить, за еду там; второе – на шее у него будешь висеть: куда ни куда, а стряхнет.

Он Яшку не удерживал. Однако и лошади не дал.

– Мы, – говорил, – бывало, за тыщу верст на Каспий ходили, и то ничего... А это – шестьдесят верст! Да тут те, молодцу, плюнуть раз.

– Черт, – бормотал Яшка, ныряя по ухабам, – Железный...

Он шел, торопился, и, несмотря на жестокий мороз, вскоре ему стало совсем жарко. Он распахнул полушубок и прибавил шагу. Увидав спускающегося с горы на санях крестьянина, решил нагнать его и попросить подвезти. Ударился бегом. На спине заболтался мешок – сапог каблуком бил в спину. Яшка некоторое время

терпел удары, ежился, потом ему стало невыносимо больно. Он остановился и второпях перекинул мешок, перевертывая сапогами кверху, и тут же (Яшка потом и сам этому удивлялся и не раз говорил Стешке) вспомнил про яловочные сапоги Пчелкина.

2

Егор Степанович еще с вечера почувствовал тревогу. В самом деле: зачем вернулся Яшка? Паспорт, слышь, забыл. Зачем ему понадобился паспорт, коль он едет к самому знатному человеку в губернии? Нет, тут что-то другое... Паспорт понадобился, так о нем и хлопочи, а он, вишь ты, весь вечер мыкался по Широкому Буераку, кого-то разыскивал. Значит, тут не то. Яшка что-то задумал, готовит что-то и непременно хочет или крылья подрезать Егору Степановичу, или что...

– И подрежет. И не моргнет... подрежет.

Утром в предчувствии беды он вскочил с постели необычно рано, ни за что ни про что ошпарил злобой Клуню, выбежал во двор, потолкался в сарае, затем слазил в своей потайник-чуланчик и только под конец хватился:

«Лыки? Про них может доказать?»

Егор Степанович вот уже второе лето драл лыки в государственном лесу. Под вечер идет с поля, в чащу заберется, обдерет не один десяток молодых лип, в пучочки лыки свяжет и сторонкой, воровским шагом – лыки в амбар на подлавку. Вспомнив об этом, он перебежал двор, выскочил в заднюю дверцу сарая, а через несколько минут большой ключ уже скрипел в замке, и рогулька открывала секретные запоры изнутри амбара.

Войдя в амбар, Егор Степанович как будто только теперь заметил, что лык действительно много: лаптей наплетешь на все село.

«Может доказать, а за это и штраф могут... могут и посадить... нонче рады придраться... Куда бы это, а?»

Промял снег кругом амбара, думал в снег потыкать лыко. Да снегу еще не сугробами навалено, чтобы в нем можно укрыть. Да и когда? Сейчас? Народ увидит, а под вечер – поздно.

– Ах ты, елки-палки... Кто это?

Заслыша приближение шагов, он оторвался от сусека, но, увидав бороду Ильи Максимовича, успокоился, выпрыгнул из амбара, плечом притворяя дверь.

– Ты, – Егор Степанович, случайно, – глядя в сторону, заговорил Илья Максимович, – не знаешь, надолго Яков-то твой в город ушел?

Егор Степанович удивился:

– Ушел? Пришел! А что тебе?

Плакущев присел на пороге амбара.

– Что? Отцовское сердце болит. Тебе только одному: Зинушку вечор, –

Плакущев стряхнул слезу, – из петли вынул. Глупая!

– Ой, что ты?

– Прихожу со сходу, в сени сунулся – хрипит что-то. Думал – теленок запутался. Теленок у нас заболел. Спичкой чиркнул – она висит.

– Ну?! Удавилась?!

– Отходили. Как-то невдомек все с делами... А ведь вечер в совет шел, показалось – она плачет...

– Ах, ты!

– Ты, – Плакущев глянул в сторону, – уговор летний помнишь?... Поженим давай.

Помолчали... У Егора Степановича в голове, будто во тьме фонарики – мысли радостные:

«Вот случай... Пускай сам обделывает... дела... Кирьку припрет к стенке: от него Кирька... Яшке с лыками и не удастся».

– Род мне твой по нраву, – продолжал Плакущев, чертя валенком снег, – да и Яков парень крепкий.

Опять помолчали.

– Помню, – взвизгнул Егор Степанович. – Да ведь нонче как? Я бы со всей охоткой, а он свое. Нонче, сам знаешь, своей вот сиделкой – и то, не спросясь, не садись.

– Так-то так... да ведь уломать можно... раздражить парня.

– Раздражить? – засмеялся Чухляв. – Нонче их девками не раздражишь... Это нас, бывало, – девок мы не видали. А нонче они с пеленок около девок. Впрочем, с тобой я согласен – мое согласие даю.

Дорогой Егор Степанович говорил о свадьбе, намекал на Кирилла Ждаркина... говорил о том, что и сам-то он теперь совсем уверовал в то, что председатель сельского совета – голова на селе и в делах всяких может сделать многое... Шлёнка, конечно, какой председатель – горе... Кирька – вот у этого голова действительно на все село. Хорошо Илья Максимович сделал – Кирьку посадил, а Шлёнку метелкой из совета. Кирька подходящ... Вот на него непременно следует поднажать... Как об этом думает Илья Максимович?

На этом они разошлись...

Во двор Егор Степанович вошел совсем веселым. Он даже курам, которые шевырялись в неполюженном месте – около крыльца, – бросил парочку ласковых слов. Но, войдя в избу, сразу обалдел: около Клуни сидел Яшка и тряпкой стирал пыль с яловочных сапог Пчелкина.

Егор Степанович тихо скрипнул зубами.

– Что за сапоги? Без спросу всякое в дом тащишь!

– А ты и не знаешь, что за сапоги?

– И не видел.

– Ну-у? А у тебя в чулане лежали. Сами, видно, залетели? Стыда у тебя никакого нет – у вдовы сапоги слямзил!

«Ах, пес! – долбанул его про себя Егор Степанович. – Вот и огласка!.. Ах, ты, дьявол. Вырвать у него их?»

– Сейчас председатель за ними придет. Хоть обтереть, – намеренно подчеркнул Яшка.

Перед Егором Степановичем: стол в сельсовете, секретарь чертит протокол, а пришедшие мужики смеются:

– На такое кинулся: у вдовы беззащитной сапоги слямзил. Э-э-эх ты, жила!

Конечно, Егор Степанович откажется. Знать не знает, откуда сапоги – это Яшка по злобе на него. Перед судом он чист. Да ведь молву-то никаким судом не прикроешь!

– И за лыками еще придет Ждаркин... Сказывают, в совет дали знать про твои лыки.

Нет, уж это слишком. У Егора Степановича, будто во время жатвы, покатился пот градом, задрожали поджилки.

А во дворе кто-то стукнул, кто-то обтирал ноги у порога. Почему-то смолкли и Яшка и Клуня. Дверь скрипнула.

– Здорово, – проговорил Кирилл Ждаркин, – где хозяин?

Егор Степанович сорвался с лавки, кинулся к Ждаркину, за плечо, за полушубок легонько рукой тронул.

– Вот к случаю пришел ты, милый. А я думал за тобой послать.

Яшка глаза вылупил.

А Егор Степанович засуетился, табуретку взял, обтер рукавом, Ждаркину поставил.

– Садись, Кирилл Сенафонтыч. – Выпрямился и, глядя в глаза Ждаркину, выпалил: – Председатель ты, и сила в тебе большая на селе... – Чуть запнулся. – Да-а-а. Вот тебя и хотел спросить: как, беспартийному, допустим, жениться можно на дочери коммуниста? Как это нонче?

– Конечно, можно! Нонче на ком хочешь, только бы кровь не мешалась.

– Ишь ты – закон какой вышел.

– А тебя что это тревожит?

– Да ведь вот... Яшка у меня на Стешке Огневой хочет... Ну, я так думал – это супротив законов... А оно – видишь ты...

Засеменил ногами. Потацил Кирилла в переднюю избу.

3

Кирька Ждаркин – роду Уваркиных (через мать Татьяну, дородную, красивую бабу). Уваркины когда-то были прислужниками у барина Уварова. Злые языки и посеичас говорят, что муж Татьяны Ксенофонт – чахленький, плюгавенький – умер в одночасье: на охоте барин чарку вина ему поднес, он и сковырнулся, а дети у Татьяны все пошли в Уварова – низенькие, беленькие, как Чижик. Только вот Кирилл удался в дедушку Артамона. Тот и на старости лет, бывало, в злобе за грудки кого возьмет, тряхнет раз – и дух вон.

Вернувшись с фронта, Кирилл застал у себя во дворе полынь саженную, сарай дырявые, а с сараев и слуги кто-то потаскал. Потом узнал – слуги потаскал брат, Чижик; Кирилл духом не пал: рукава засучил, в ладони плюнул, в хозяйство врзался, как в тыл врагу: лопатой полынь во дворе всю перекопал, два ведра самогону достал, родню созвал и за день сарай обстроил. А то, что он с фронта явился не фертотом и в хозяйство вцепился зубами, – некоторым мужикам пришлось по нраву. Верно, кое-кто из широковцев смеялся над тем, как Кирька целое лето возился у Гнилого болота, но то, что у него в поле хлеб был первейшим на селе, заставило мужиков посерьезнее глянуть и на Кирькину затею у Гнилого болота. И, когда Илья Максимович лишь легонько намекнул о замене Шлёнки Кирькой, – широковцы стали на его сторону; даже Захар Катаев – и тот подал голос за Кирилла. И единственный человек на селе, с которым Кирилл старался не встречаться и про которого говорил всегда с усмешкой, – это был Степан Огнев.

– Уплыл... уплыл... украли у нас Кирилла, – говорил он.

– Было бы чего воровать, – усмеялся на это Кирилл и тверже становился на ноги, чувствуя, что все село за него, думая, как на следующий год у Гнилого болота на огороде посеет свеклу, мак; вырученные деньги пустит на переделку избы, а потом женится, пойдут у него дети.

«Только сначала хозяйством заведусь, а там, как на базар за горшками, – выбирай любую...»

Одно время его потянуло к Стешке Огневой. При встрече со Стешкой он терялся, в разговоре мямлил, а по вечерам молча сидел у своего двора и напряженно прислушивался к ее голосу, смеху в хороводе. Потом... потом... все дело сгубил троицын день. Молодежь, может, в этот день еще и не догадывалась, а Кирилл уже и на следующее утро видел всю перемену в Стешке. С этого дня в тоске и злобе у него оборвалась к Стешке любовь.

И, когда сегодня утром к нему пришел Яшка и попросил объехать, обломать Егора Степановича, Кирилл налился злобой.

«Из-под носа у меня выхватил ломоть да еще просит, чтобы я и прожевал ему... Иди ты к...» – хотел крикнуть, но тут вместо злобы (за это Кирька и потом частенько себя ругал) у него явились теплота, желание сделать добро, и он согласился припугнуть Егора Степановича.

Обработав Егора Степановича, они вышли на улицу.

Кирилл хлопнул ладошкой по спине Яшку:

– Ну, теперь совсем твоя Стешка. Какому тебе богу молиться, а только не видеть бы тебе ее, если бы... – и смолк, подумал: «Надо ли говорить?»

– Может, моя, а может, и не моя еще, черт его знает, как он дело повернет.

– Не повернет. Бери напором. Ты вот что, – Кирилл достал из кармана протокол, в котором были записаны и яловочные сапоги и лыжи в амбаре, и подал Яшке, – возьми его себе, так крепче будет. Да и мне поможешь вечерком аль когда. Теперь и мне надо. Дело у меня.

– Что?...

– Да ведь, – засмеялся Кирилл, – правду старики говорят: от баб человек слепнет и глохнет... Ведь и я не пустой колос. Кто это стучит? – он повернулся на стук.

Из избы в стекло барабанил Илья Максимович.

– Ну, Яша, за дружбу – дружбу... Держи лапу. Идти надо. Илья Максимович зовет...

Кирилл переступил порог избы Плакущева. На него пахнуло гарью самогона, в дыму махорки из-за стола вскочил Чижик, замахал ручонками, приветствуя брательника, а Никита Гурьянов сунулся вперед рыжей бородой, ударил кулаком по столу:

– Вот, Кирилл Сенафонтыч, ты, стало быть, молокосос... ты на это не имей обиды...

– На старших нельзя обижаться, – улыбаясь, ответил Кирилл.

– Ну, да, – Никита покачнулся, – молокосос ты, значит, а мы тебя головой, своей головой на селе поставили... А-а-а! Видал, сила какая у нас имеется... А-а-а! Сила!..

– Уймись ты, – проговорила жена Плакущева, – уймись, говорю, – и поставила на стол завитушки. – Садись, Кирилл Сенафонтыч!

– Не-е-ет! Киря! Кирька, стой!.. Сто-ой!.. Перед старшими. Ты перед нами не того... не задирай нос, мы... да мы озолотить можем... Вот! Киря! Сокол! Эх, дай, дай поцелую. – Никита опустил на лавку. – Дела-то какие... Растил, растил дочь, а теперь – другому дяде. Дочь я отдаю, товарищи вы мои дорогие, Настьку мою, – он склонил голову и всхлипнул.

– Садись, Кирюша, садись, – Илья Максимович подвинул табуретку. – Зина, дай-ка нам стакан еще да вилку. Поесть, может, Кирюшка, хочешь? А? Не хочешь? Ну, выпей с нами... Не пьешь? А ты вот по-моему... Стакан перед собой поставь да и чокайся.

– Не-е, – Никита Гурьянов поднял голову, – со мной ты выпить должен... со мной... на радостях...

подавая стакан, Зинка кумачом вспыхнула. А Кирилл задержался глазами на ее здоровом, пунцовом лице и сразу почувствовал, как в груди чаще застучало

сердце.

«Выросла как, – подумал он и еще раз глянул на нее, – вишь расправилась!»

– Кирька! Кирька!.. – Никита дернул его за руку. – Ну, господи, благослови!..

Рыжий с ржавчиной самогон в стакане, пунцовая, здоровая, с прямыми широкими бровями и упруго выпяченными грудями перед столом Зинка... Глядя на нее, Кирилл опрокинул себе в рот самогонку.

– Вот! – закричал Никита. – Вот народ молодой: как сойдутся, так и глазами в прятышки.

– Ну, что ты, что ты? – наливая себе самогонки в стакан, смутился Кирька и еще смутился, когда увидел, что сам наливает самогон, покраснел, расхохотался: – Перепутался совсем.

– Ничего... Это, браток, так и есть всегда! – одобрил Чижик.

Кирька невольно еще раз взглянул в спину удалявшейся Зинке.

Они долго пили, кричали, целовались. Зинка чаще появлялась у стола. Она надела новое платье, от этого ее движения стали более плавными, в глазах загорелся блеск. Раз, подавая отцу тарелку с завитушками, она будто нечаянно прислонилась к плечу Кирьки. Задержалась. Кирька чуточку качнулся к ней, ласковой глянул в ее серые глаза.

Илья Максимович все примечал и напоследок под тем или иным предлогом все время держал Зинку около стола.

«Это хорошо бы... это бы хорошо», – думал он.

В это время в избу вошел Егор Степанович, осторожно заглянул в переднюю комнату, где сидели гуляки, поманил Илью Максимовича.

– Дела такие, – начал он, – знаешь-ка... у меня с тех пор давнишних лычонки в амбаре... Со старого режиму... Да-а.

– Ты это к чему?

– Насчет нашего уговору, – зашептал Егор Степанович. – Бумажку архаровцы написали... на суд потянут. А это и тебя касается.

– Ты, Кирька, на девку не гляди! А вот!.. На! Держи девку, – Никита сграбастал Зинку и бросил на колени Кириллу.

– Ой! – взвизгнула Зинка.

Егор Степанович только мельком через щелку двери увидел, как Зинка забарахталась в руках у Кирилла.

– И тебя это коснется, – продолжал он, уже чувствуя нелепость своих слов, – срамом могут нажать... К Огневу доведется...

– Кирька, – орал в передней комнате Никита. – Хошь, женим? За милу душу женим. Хошь? Говори – барана режу. Илья Максимович, – он высунулся в дверь, ероша волосы, – отдай девку! А? Отдай! Кирька, – он повернулся к Кириллу, – женим тебя, шут те дери... пра, женим.

– Женись, браток! Женись! – посоветовал Чижик.

У Ильи Максимовича в голове ералаш. У Ильи Максимовича голова заработала быстрее ветряной мельницы.

– Ну, ты постой там, не балагурь! – цыкнул он на Никиту. – Они сами знают, что им надо... воля их. Ступай, ступай, – толкнул Никиту, плотно притворил дверь и заговорил, будто стоя перед омутом: – Т-а-а-ак, это твое дело, Егор Степанович, плохое. Лыки-то, мне известно, не от старого режима. Разве с тех пор уберегутся лыки? За это месяца на два запятят... А с председателем теперь ничего не поделаешь. Главное, и твой Яков знает. Что председатель? Прикроет? Ячейщики докажут – ему крышка...

– Илья Максимович, брось там! Егор Степанович, айда сюда. Свадьбу – впору... племяша женим, елки-палки! – звал Никита.

Егор Степанович позеленел, головой мотнул:

– Дело, говоришь, пропащее... А?

– Я так думаю... Тут по-другому надо... может, лучше и согласиться на требования Якова.

– Та-а-а-ак! – Егор Степанович глотнул, осознав все, что случилось, и быстро выскочил из избы.

На улице он несколько раз отплюнулся и, обозленный, засеменял к своему двору.

«Свинью... Вот это свинью... чухчу подложил! Ну... ну! Гляди теперь!» – и, влетев в избу, крикнул:

– Яшка! Что те десять раз говорить? Поди зови сватов, да и Огнева надо предупредить. Сватай!

Он тут же спохватился, но слова были уже сказаны.

4

Свадебный сезон в Широком Буераке первый открыл Васька Синец. Усадив рядом с собой сияющую Настю – дочь Никиты Гурьянова, он на тройке лошадей с бубенцами дал несколько концов по Кривой улице. Скакал он, будто прощаясь с молодостью, ровно угорелый. Пристяжка – сивенькая лошаденка – в беге болталась, крутила хвостом так, словно отгоняла наседающих на зад слепней, а когда Васька подкатил к церквешке, – тяжело дыша, опустила голову и казалась замученным мышонком. Да это ничего – зато у Насти глаза сияют, дрожат молодые рученьки.

Вслед за Васькой, на диво всем, с Зинкой Плакущевой округился Кирилл Ждаркин. В кучера к ним (небывалое дело в Широком) сел сам Илья Максимович... В ту пору широковцы и не заметили нарушения обычаев, – наоборот, все вывалили на улицу, охали, вздыхали, с завистью посматривали, как пара вороных коней, со свистом, со снежной пылью, носилась из конца в конец и

как у Ильи Максимовича разведалась седая борода.

На свадьбе у Кирилла гуляло полсела. Кирилл для гостей широко отворил ворота – иди, кто, мол, хочешь, кому не лень, кому я не враг. И шли – несли с собой самогон, мясо, подарки жениху и невесте и гуляли неделю до обалдения.

Потом свадьбам потерялся счет. Широковцы словно проголодались – гуляли из двора во двор, путались криулинские с заовраженскими, заовраженские с бурдяшинскими, бурдяшинские с Никольскими, Никольские с ширококовскими, ширококовские с алаевскими. И улицы Широкого Буерака с утра и до позднего вечера гремели песнями, драками, плачем, пылали по вечерам кострами. Под оврагом у церкви чуть не замерз Шлёнка, а Николай Пырякин чуть не вырвал бороду Чижику, у Митьки же Спирина баба связалась с молодым парнем. Боймя бил при всем честном народе Митька свою бабу. А по утрам к Шумкину роднику сбегались охрипшие, измятые бабы, второпях черпали воду, смеялись:

– Печку некому истопить...

– Сбесились, – говорил дедушка Катай. – Это непременно перед войной. Вот народят, а потом война...

– Эх, ну! Когда народят, ну, тогда пускай война! – кричал Никита Гурьянов.

5

И вот сегодня, пройдя лед у Шумкина родника, Яшка, крепко прижимая к себе Стешку, сказал:

– Завтра сватов, Стешка, жди.

Только и сказал, да еще крепко поцеловал у бань.

А сейчас уже вечер – лежит Стешка на полатах, думает о вчерашних словах Яшки, шепчет;

– Ах, Яшутка, – и дрожит у ней шепот, – какой ты, правда, чудной... а?

А мать возится у печки, о горшки ухватом стучит, ужин готовит. Вот уже стол накрыла, обратно в чулан вернулась, стучит в чулане половником о край горшка. Отец с кровати поднялся, спину расправил, в окно глянул:

– Нонче, видно, опять мороз, а у нас хворостишко к концу.

Не помолясь, сел за стол. В углу затрещал сверчок.

– Вот к счастью затрещал, – серьезно из чулана говорит мать.

– Натрещит он тебе, – отвечает Степан. – Кой год трещит, а все на серых щах сидим.

– Стешка! Иди! – зовет мать, ставя на стол блюдо со щами.

– Не хочу.

– Что ты, касатка, аль нездоровится? Иди, щи-то какие нонче хорошие!

– Надо бы лучше! – мрачно улыбаясь, произносит Огнев.

Не пошла Стешка. С полатей смотрела, как нехотя хлебал отец серые щи, слушала, как трещит в углу сверчок, как под окнами мычит Жданка-талица. Сергей, брат, по осени на корову деньги прислал. Не купил Степан коровы – купил телку. Вот скоро теленочка принесет телка, потому и Жданкой назвали.

– Мама! – позвала Стешка да так громко, что сама перепугалась. – Жданка мычит.

– Ну, и что же?... Пускай мычит.

– «Пускай мычит»... Чай, жалко, – и сама не знает почему, от обиды ли – ну разве можно в такой час сидеть и есть за столом? – или просто от ожидания, у нее навернулись слезы.

– Ты что, матушка? – Груша даже привстала и подошла к полатам.

– Так вот, – Степан положил ложку на блюдо, обтер рукой бороду и усы. – Сваты нонче к нам...

Груша вскинула глаза на Стешку, блеснули они молодостью, и снова перевела измученный взгляд на Степана.

– Кто это?

– Чухляв.

– Ой! – вскрикнула мать.

– Яков мне говорил... давеча. Да не знай как...

Мать и отец долго молча сидели перед остывшими серыми щами. Стешка тихо сползла с полатей, ушла в переднюю комнатку, уткнулась лбом в холодное стекло.

Кто-то стукнул калиткой.

– Убирай, идут! – проговорил Степан.

Стешка дрогнула. Груша засуетилась. Но не успела она и блюдо снести в чулан, как закричала, отворилась дверь и вместе с клубами морозного тумана в избу вошли сватья. Впереди всех Маркел Быков – брат Клуни, за Маркелом двоюродный брат Яшки – Петька Кудеяров, его жена Анчурка Кудеярова, потом бабы, старухи.

– Здорово живете! – чуть впригнус заговорил Маркел, сдирая с широкой бороды и усов сосульки. – Принимать будете?

– Не с плохим пришли? Если так, то здорово, Маркел Петрович! – чуть-чуть смеясь, ответил Огнев, зная, что Маркелу Быкову сватовство такое не по нутру и уж если он пришел, то пришел, видимо, по настоянию Клуни и Яшки.

– Согласны, не с плохим. Этак, что ль? – Маркел повернулся к своим. – Байте... Не с плохим, стало быть?

– Не с плохим, так проходите, – вмешалась Груша. – Будьте гостями дорогими.

Тронулись в переднюю комнату. В избе запахло овчинами, обдало принесенным с улицы морозцем. Стешка юркнула от окна за голландскую печку,

а мать внесла лампу. От лампы по стенам забегали тени, зашумели, скрываясь в трещины, тараканы.

Гости расселись. Маркел и остроносая Елена Спирина сели под матицу, и этим уже сказано было, зачем пришли.

Тогда по улицам застучали калитки, заскрипели в крестьянских избах двери, и вскоре в избу Степана натолкались сваты со стороны Стешки. Пришел брат Груши – печник, забулдыга Егор Куваев, с женой, Николай Пырякин, Катя, пришли матушка с батушкой. Стешка матушке доводится крестницей. Последним в избу вошел дедушка Катай – он крестный отец и крестницу без своего ведома запретил выдавать замуж, а когда узнал, что Стешку сватает Яшка Чухляв, он, несмотря ни на какие уговоры домашних, ушел к Огневым.

– Мы ща повоюем, – говорил он, напяливая полушубок.

Вновь расселись. Поп Харламбий сел ближе к печке, потряхнув маленькой косенкой, матушка – рядом, поджала губы сковородником.

– Та-а-а-ак, стало быть, – разгладив бороду, начал Маркел, – начинать, стало быть? Как начинать-то? Дело такое – не частое. Ну, так, стало быть, у вас товар... у нас...

– Это старо... отошло, – вмешался Николай Пырякин.

– А-а-а, – Маркел встрепенулся. – Ну, стало быть, по декреции начнем... И это можем... Не знай, какая девчонка? Ну-ка, толкните ее легонько.

– А жениха? Жениха давайте! – вмешалась Катя и покраснела от непривычного дела.

– Жених нам доверие дал.

– Дайте уполномоченного.

– Та-а-ак. Мы и есть уполномоченные. – Маркел Быков погладил бородку. – Кладку-то с вас, что ль, брать?

– Ой! – вскричала матушка. – Чай, с вас... заведено.

– Старинку-то надо забывать, – протянул Маркел, все так же улыбаясь. – Это в старинку велось – с жениха брать, а теперь надо какой-то переворот сделать.

Сваты засмеялись. Переворот и тут хочет Маркел Быков-устраивать... Ну, башка!..

– Как же, – продолжал Маркел, – чай, она за человека идет.

– Ну, Степан, – матушка толкнула Огнева. – Чего же ты?

– Валяйте. Я вот... Да ведь у нас главный-то дедушка Вавил, вот он пускай, – Степан положил обе ладони на плечи Катаю.

– Ну, ладно, – вступил Катай. – Давайте счета.

– Счеты-то не знай что скажут, – запротестовал Маркел. – Ты вот что: допрежь от невесты приданое какое?

Дедушка Катай некоторое время думал, потом посмотрел на Грушу, Степана.

Груша встрепенулась, заговорила:

- Все ее будет!
- Не-ет, – загалдели сваты, – товар налицо.
- Это там мало ли что будет...
- А может, и не будет...
- Просите, просите, сватья!
- Ладно, – пошептавшись с Грушей, прервал галдеж Катай. – Зеркало.
- Принимай, – Маркел загнул на руке палец и стал серьезен, даже суров, словно продавал на базаре свою лошадь.
- Платьев пять, – продолжал Катай.
- Принимай, – и Маркел загнул другой палец.
- Ну, стол, шестерку стульев, одеялку сатинетову, постилку, наволочков две.
- Прибор серебряный, часы золотые, – вставил печник Куваев, и все расхохотались.
- Хорошо, – согласился Катай, – принимай, только с вас тыщу целковых.
- Чтоб перина пуховая! Чтоб... – и голос Куваева утонул в общем хохоте.
- А ты не каламбурь, – вступилась матушка. – Маркел! Дело-то такое, а они все смешки...
- Э-э-э-э-э, матушка, – тем же шутливым тоном ответил Маркел. – До нас, чай, у них дело сделано, нам смеяться осталось.
- Ну, а с вас-то? – начал Катай, когда смех замолк. – Занавески, – и щелкнул на счетах.
- Да зачем вам занавески? Экую привычку взяли, – загнул Маркел.
- А вам стулья зачем?!
- Эх, меня чтой-то пот пробил. – Маркел стянул с себя шубу. – Действуйте, сватья, с нас ведь начинают... Хоть бы одну серебряную ложку с невесты.
- Есть одна кособокая, – смеясь, ответила Груша.
- Тулуп невесте, – сказала матушка.
- Принимай? – Маркел обвел своих глазами.
- По времени, – согласился Петька Кудеяров, раздувая ноздри. – Когда, значит, овчины найдутся. Воля такая Егора Степаныча.
- Пятьдесят целковых, – дедушка Катай щелкал на счетах, – гамаша с калошами, одежонку, вина ведро, самогону... – он посмотрел на Огнева, – четыре ведра.
- Эка выпалил! Это ты, пожалуй, счета-то назад отдай. – Маркел покрутил головой и горестно вздохнул, как будто все это требовали из его кармана. – Они, счета-то, не знай что скажут.

– Ну, а вы-то, вы-то? – Егор Куваев уперся руками в стол и налился упрямством. – Ваше слово?

Пошептались, переглянулись.

Маркел о чем-то переговорил со своими, поднялся:

– Ну, теперь слушайте мою тихтовку: тулуп принимай, по времени, стало быть, двадцать пять целковых принимай, ботинки с калошами принимай, занавески и все такое там принимай... за вином в Никольское надо ехать – далеко и дорого, а самогону сами наварите.

– Да где ему самому наварить – Степану?... Ему, чай, нельзя...

Заговорили все разом. Заговорили так, как будто спугнул кто-то кур в ночное время с нашеста. А в этом кудахтанье голос Маркела:

– Вы вот что... я ответ держу: чай, товарищ-то Ленин... Степан Харитонович, слушай-ка, а то забился... – чай, товарищ Ленин не велел обдирать, по-божески советовал. А ты, Степан Харитонович, подсчитай – на полторацента целковых тянешь... Мы на сотню соглашаемся... Торговались долго, упорно, до поту. Потом Маркел поднялся, направился к двери. За ним поднялись и другие.

– У-йдут! – прошептала Стешка.

...За окном у двора сватья держали совет, в общем гвалте впригнув гудел Маркел Быков. А в избе около матушки сгрудились сватья от невесты.

– Не уступать, – трещала матушка, – не уступать. Они вон сколько ржи-то в нынешнем году намолотили – шестьсот пудов. Ты чего, Степан, молчишь?

– Да что? Чудно чего-то... у нас она одна, у Егора Степановича сын один, а мы торгуемся, сколько из одного нашего кармана в другой наш же переложить. Сто ли, двести ли – все ведь у них, у двоих, будет.

– Ну, это ты зря, – осуждающе произнесла матушка. – Зрятину городишь.

– Ну, зря, так валяйте, я на все согласен.

– Тятя, – зашептала Стешка. – Тятенька, хороший-то какой!

– Во-от где носила, – Груша вдруг сморщилась и показала ниже грудной клетки, – вымучила, а теперь...

– Ну, мила моя, – Катай развел руками, – до седых волос около себя держать не будешь... На то и родим, чтобы выдавать да женить...

Долго сговаривались, смолкали, садились, потом вновь поднимались, толпились около матушки, слушая ее советы.

Дверь взвизгнула – снова вошли сватья и расселись по старым местам.

– Ну! Проветрило? – засмеялся Николай Пырякин.

– Проветрило, – ответил сумрачно Маркел. – Малость проветрило, одумались. Многовато мы тут нахлопали вам... Все принимаю, сказанное с нашей стороны, а тулуп долой... Ни к чему тулуп.

– Ну, это вы, – Катай взъерепенился, – впопятку. Так это и мы сначала? Сто

целковых.

Тени забегали по бревенчатым стенам, под потолком забился гам, в гаме потонул голос Маркела:

– В какую семью-то идет! Ведь в семью-то... Это ей клад.

– Седьмая вода на киселе она у вас будет. Седьмая!

– А теплые-то сапоги невесте? – кричал кто-то.

– Ну уж сапоги не дадим, сами сваляете!

– Чай, не в башмаках она к вам пойдет?

– Довезем! Не замерзнет!

– Сколько вам кустарю-то?

– Сказано – четыре ведра!

– Нет. Это вы к ногтю!.. Свой самогон да к вам пить?

– Борьба с самогоном объявлена, – гудел, уже совсем гнусавя, Маркел. – Милиция нагрянет!

– Из меду сделайте, из меду... за медовку ничего!

– Это и вы сделаете!

– А мы вон, – Анчурка Кудеярова поднялась во весь свой могучий рост, – в голодные годы поженились, квасу достали, перцем его, горчит, и ладно. И свадьба встала – три пуда.

– Это в голо-одный!

– Пропили три пуда, – продолжала раскрасневшаяся Анчурка, – а тут двести пудов.

– Сто-о-оп! Стоп! Не галдите, – Маркел взмахнул руками. – Вы сватами не хотите быть – по всему видно... Вы – затруднение большое. Как вам сказать – пятьдесят целковых мы принимаем, тулуп по времени, когда, стало быть, овчины сыщутся и все такое прочее, а самогонку прочь, вино прочь. На этом соглашайтесь... Самогонки боимся – в тюрьму через нее. А вино дорого.

– Что же, – злобно перебил Егор Куваев, – с горячей водой свадьбу?

– С горячей проведем.

– Обожгетесь! – гаркнул Куваев и весь позеленел.

– Куваеву выпить... Выпить-то уж больно ухач...

Этим срезал кто-то Егора Куваева. Он оцетинился.

Разве он когда на чужие денежки пьет? Всегда на свои – так кто же может кинуть ему такой упрек? И вообще – чего заупрямились?... Аль зазнаваться да кичиться пришли? Все за невесту вино ставят. Не треснет Егор Степанович, если и разорится рублей на двадцать.

Это хотел Куваев с языка бросить, но его оборвали, загалдели.

– Я вам пять пудов хлеба даю, – вдруг вступился Степан, – сварите. Петр, себе варить будешь и мне сварить... Вот и дело с концом.

– Вот как! – встрепнулся весь красный от злости Петька Кудеяров, и, сморщенный до этого, он как будто весь распух. – Вот как! Не наварить ли тебе щей и всего прочего? На чужих руках хочешь свадьбу справить... Не-е-е, теперь не те времена!

Все разом смолкли, посмотрели на Петьку, а Степан в свою очередь налился злобой.

– Ка-а-а-ак на чужих руках? – ошетинился он и шагнул. – Ты что же думаешь – и женихов больше на селе нет?... Ты думаешь... думаешь, – у Степана затряслись в злобе губы. – Ты думаешь, ты думаешь... – и вдруг выпрямился, губа перестала дрожать, подбородок округлился. – Двести рублей! Двести рублей. Женихи найдутся.

– Оскорблять нельзя! Нельзя оскорблять, – согласился Катай. – Девку даем – сок с молоком. Поискать такой в округе.

А сватья уже кутались в тулупы, пялили шапки на головы, бабы собирали с лавок шали, накидывали их на плечи и, обозленные, двигались к выходу.

В это время дверь скрипнула – и в клубах морозного тумана, с шапкой набекрень, в избу вошел Яшка. Сватья застыли на месте. Яшка посмотрел на них, на Степана, на Грушу.

– Что, еще не сторговались?!

Все' медленно, один за другим, уселись на свои места.

– Стешка где?

– Здесь, – Груша показала за печку.

– В чем дело? Тянете который час?

– В самогоне, Яша, в самогоне, – гнусил Маркел.

– Самогон непременно нужен.

– Знамо, без самогону дело не сварить, – согласился Маркел.

– А милиция? – спросил Петька Кудеяров.

– Что милиция?... Ишь, перепугались не ко времяю...

– Угостим?

– А то не знаете?

– Ну, так тогда по рукам, – и Маркел хлопнул в ладоши.

С места поднялась попадья. Она знает, что у Яшки мать староверка: хотя Яшка и крещен и мать у него крещеная, а попа в дом не принимают. Может, в этом виноват больше Егор Степанович – он попов дерунами зовет, – а только не порядок это...

– Вот что, сватья! Она мне, Стешенька, поручила... батюшку в дом... без этого

не пойдет...

– Кто о чем, – пробормотал Катай. – Ну, это дело духовное, – как-то между прочим протянул он, копаясь на столе в газетах. – Степан Харитонович, давно газетки выписываешь?

– Давно, – сдерживая смех, ответил Степан.

– Духовное? Не-е-ет!.. Без этого нет моего благословения... не пойдет она...

– Зря ты, матушка, – бросил кто-то из угла.

– Не пойдет без этого? – бледнея, спросил Яшка.

– А он мать свою обижать не будет, – сказал Петька Кудеяров и отвернулся от попадьи так, будто вопрос был уже решен.

Яшка вывел на середину избы смущенную, заплаканную Стешку.

– Слыхала слова матушки?...

Наступило напряженное молчание. Маркел перебирал пальцами бороду, угрюмо смотрел в ноги попадье. Степан отвернулся.

Яшка ниже склонил голову, левой рукой обнял вздрагивающие плечи Стешки, спросил:

– Не пойдешь?

– Пойду, – тихо ответила Стешка и еще тише добавила: – Дрожу вся.

Яшка, сияющий, глянул на матушку. Матушка в обиде дернула за рукав батюшку, батюшка отмахнулся, разлил в улыбке толстые губы:

– Новые времена теперь... не тревожь...

– Верно, батюшка, – подхватил Николай Пырякин, – по-своему ведут жисть.

Сватья засмеялись, заговорили.

Кто-то потребовал свечей к иконам. Маркел полез в карман – он староста церковный, – достал огарышек, подал.

– Ээ-э-э-х, таскал, таскал, – упрекнула Анчурка, – а теперь богу – на!

– Бог не побрезгует...

Огарышек тускло затеплился перед ободранной иконой.

Кто-то предложил сходить за Егором Степановичем, Клуней, за остальной родней. Пора уж и им идти. Давеча Егор Степанович малость где-то замешкался. Николай Пырякин и Егор Куваев тащили столы, скамейки от соседей, заставляли переднюю и заднюю комнаты, в чулане бабы стучали горшками. В печи вспыхнул хворост, – надо готовить варево для запоя.

И пир начался.

Егор Степанович сидел рядом с молодыми и Клуней. Пьяные бабы устроили стговор, лезли к нему, пели песни и требовали с него на мед. Егор Степанович или не слышал, или отделялся шуточками и только под конец, когда все вместе

распили восемь ведер самогона (не разбирая – чей), Егор Степанович полез поцеловаться к Огневу.

– Эх, ты, соколик ты наш, – кричал он, – да я, бывало, на лету птиц ловил!..

– Как это ты на лету-то? – спрашивали со всех сторон. – Расскажи...

– Я, бывало... парень-то какой был... во-он бабу спроси, спроси бабу... Она вам порасскажет... Да и Яшка у меня... Да и то, по правде тебе сказать, Степан Харитонович, не видать бы твоей Стешке моего Яшку, если бы, – он поднял загнутый палец кверху, – дельце бы одно... Да... Из дерьма ведь мы ее вытаскиваем в люди – Стешку-то...

Спохватился – лишнее сказал. Огнев, хотя и был пьян, но последние слова Чухлява его больно резанули.

– Да, это так: в дерьме мы живем, – согласился он. Чухляв вновь встрепенулся:

– Вот, вот! Благодарить за то нас должны! Яшка! Яшка! Слышал, что отец говорит?!

Яшка насупился. Около него выли, скулили, пели песни, плакали, топали ногами.

– Да только ведь мы чужих-то сапог не прячем, – склонившись к Чухляву, тихо добавил Огнев и громко рассмеялся.

Сказано было тихо, но Егор Степанович все понял: он острым плечом толкнул Клуню, вылез из-за стола и направился к выходу. Все, кто видел Егора Степановича, думали: на-двор потянуло свата.

6

– Степан, а Степан, – тревожно будила Груша Огнева, – встань, встань-ка... на часок!

У Степана от самогона разрывалась на части голова, а когда он открыл глаза, Груша шепотом передала, что у Чухлява в доме ералаш. Егор Степанович, будь он не тем помянут, после того как ушел с запоя, заперся и никого не пускает в избу. Он решительно заявил, что родниться с Огневым вовсе не намерен; если кто хочет родниться с Огневым – пусть идет, а Егор Степанович и один обойдется. Слава богу, говорит, ему по-миру ходить не доведется, а за хлеб всяк с него согласится порты и рубаху постирать.

– Вот как! – Степан вскочил на ноги. – Так-то он!

Стешка в это время спала за печкой. Проснувшись, она сразу вспомнила вчерашнее сватовство и с нетерпением ждала, когда заскрипит дверь и свахи снова заполнят избу. До нее донесся плеск воды из чулана, говор.

– Сраму-то сколько, – говорила мать.

– Не в сраме дело, – бурчал отец. – Ну, что мы над молодыми мудрим?

«Узнали, – подумала Стешка, – про все узнали».

Она быстро накинула на себя платье и вышла из-за печки. В сенях послышались тяжелые шаги, в избу ввалился Яшка.

– Здравствуйте, – хмуро сказал он.

Стешка тонкими пальцами вцепилась в косяк двери, побледнела.

– Что-о-о? – тихо вырвалось у нее.

– Что, Яша? – спросил Огнев.

Яшка опустился на лавку, медленно обвел всех глазами, чуточку задержался на Стешке, потом поднял руку, и ладонь сжалась в крепкий, увесистый кулак.

– Не хочет, Железный черт, свадьбу.

– Ой! – Меж бровей у Стешки чиркнула складка, и пальцы еще крепче вцепились в косяк двери, глаза налились слезами.

В печной трубе визжал ветер. В тишине слышно было, как тяжело дышала Стешка. Сверчок затрещал в темном углу.

– Плесни-ка его кипятком, – посоветовал Огнев Груше и повернулся к Яшке. – Что, Яшка? Ждать этого надо было... Ты сам-то теперь ка-ак? Назад?

– Да-а, дядя Степа, с ней, со Стешкой, я сроду не расстанусь... не расстанусь. Она... Да она не невеста уже мне. Жена! Жена давно, – он долбанул себя в грудь. – Это вы понимаете?

Мать выронила из рук глиняное блюдо, черепки зазвенели по полу. Она и раньше замечала: у Стешки по ночам говор нехороший. Девка, а о младенцах бормочет. К чему девке о младенцах? Так вот что тут... Не-ет, на Стешку она не в обиде... Сама помнит, как в девках любила Степана. Разве на что посмотришь?... Но она выдержала... и после венца сватья не подавали ее отцу и матери стакана с выбитым дном. Не-ет! На грушиной свадьбе свахи развесили на дугах белье в красных пятнах.

– Ну, ты что залилась? – прервал поток грушиных воспоминаний Степан. – Подсядь-ка поближе, Яша.

Яшка подвинулся ближе к Степану.

– Что же, давно бы надо было об этом сказать, – продолжал Степан. – Экая беда – не хочет свадьбу. Плюнь! Руки у вас молодые, сила есть и возможность полная есть на ногах крепко стоять. – Чуть помолчал. – Мне вот дедушка Харитон, когда я еще мальчонком был, всегда сказывал: «Степашка, вырастешь – главное дело, на карачках не ползай. Упал где, на ноги ментом вскакивай, а на карачках не ползи. Люди, как гуси, заклюют, коль на карачках».

Яшка поднял голову, посмотрел на Степана, на Грушу, на Стешку. У Стешки дрожали губы, раздувались ноздри, а чуть зеленоватые глаза расширились не то в страхе, не то в радости.

– Вон у тебя руки-то какие, – Степан подбросил Яшкины руки, – оглобли, а не руки... Да с такими руками без плуга землю расцарапаешь... А ты нос повесил... Эх, мне бы годков двадцать назад! Я бы показал.

Смех вырвался у Яшки. В самом деле, разве земля вверх тормашками перевернулась или между ними и Стешкой пропасть пролегла? Вот она, Стешка – красивая, близкая, родная; руку протяни – и живи до гробовой доски! Не-е-ет! Никто в сорочке не родится... Кирька Ждаркин вон с фронта явился в чем мать родила, а сейчас гляди – обстроился.

Яшка вновь рассмеялся. Рассмеялась и Груша. Она тянулась матерински приласкать Яшку – сейчас-то он дороже всего. Засмеялась и Стешка. Загудел бодрый голос Степана:

– Чудаки вы, молодые наши... Законов не знаете... Чай, не при Иване Грозном живете, а при советской власти... Айда в совет! Ждаркина позовем, окрутим – крепче всех, если у вас уже крепко. А этот, твой-то скрипун, гнать будет – суд на него позовем. Айда! Ну, поворачивайся!

Он накинул на плечи драный полушубок. У Яшки схлынула тоска, и все то, что предложил ему Степан, показалось простым, обыкновенным, нужным. Надел на голову шапку и молча руками показал Стешке: одевайся-де, пойдём.

– Да ты, – вырвалось у Груши, – надо, чай, надо... – родная...

– Ну, что? – засмеялся Степан. – Благословить, что ль, хочешь? Валяй!

Две молодые головы – одна с вьющимися, густыми волосами, другая – кургузая, угольчатая, с чубом – опустились перед Грушей.

...В эту ночь молодые согнали Огнева с кровати. Ложась спать, Груша кутала их тулупом, и теплая слеза упала на щеку Стешки. Стешка схватила руку матери, крепко прижалась к ней, а позже Степан услышал ее шепот:

– Он – тятя – у меня хороший... Он нас не прогонит... Работать с ним будем, не оставит нас... А твоих боюсь я... Его боюсь... Егора Степановича. На запое на меня так глядел – дом будто бы я у него подожгла.

Тогда ближе подвинулся Степан к Груше и корявой рукой погладил ее лоб.

7

Наутро молва побежала по селу – злая, с насмешкой. Сначала она выкатилась из избы Анчурки Кудеяровой, потом поскакала из улицы в улицу – извилистыми тропочками, переулками, сугробами, перед домом Егора Степановича остановилась:

– Твой-то Яшка к Огневу ушел! Утром в совет, а ночью – спать! Ну, сродил сынка! Вот свадьба. Что у людей, что у собак: сгрудились на углу – и пошло.

Егор Степанович при народе только скрипел зубами, Маркелу Быкову посоветовал, чтобы тот сам за своей снохой Улькой поглядывал, а когда народ схлынул, Егор Степанович сел в передний угол – под образами – и долго ломал голову.

Да, на него свалились сразу два удара. Яшка ушел – оторвался родной ломоть, оторвался без спроса! Да как! Хоть бы, сукин сын, вид подал, что отец ему не все

равно, что булыжник на Балбашихе!.. Другой удар сильнее (такой раз в жизни бывает) Егор Степанович получил от Плакущева Ильи Максимовича... Вот тоже удружил! Егор Степанович на краю пропасти держался, а Илья Максимович по дружбе коленочкой подтолкнул... Ну, да пусть не радуется! Егора Степановича нелегко спихнуть – колени обшибешь за милую душу. Пусть не радуется... А вот если уж Егор Степанович захочет толкнуть – так уж тогда костей не соберешь и себя забудешь как звать!..

Но как? Как сделать так, чтобы родной ломоть в своих руках оказался, чтобы «Бруски» не убежали, чтоб у Плакущева Ильи остаток бороды ветром по миру разнесло... Сила у Плакущева теперь на селе большая: зятек – голова на селе, у зятя все в послушании, а Егор Степанович – один, волк серый да обиженный, с зубами поломанными...

Так он проскрипел несколько недель – весь рождественский пост. На висках у него появились завитушки седин, а лоб еще больше покрылся морщинами.

Но сегодня ему стало совсем невтерпеж.

– В вик пошел хахаль-то наш, – буркнул он за обедом Клуни и тут же разозлился и на то, что заговорил с Клуней, и на то, что Клуня недоуменно посмотрела на него. Но, уж начав говорить, продолжал в злой хрипоте: – Огнев Степка подбил!.. Что глаза-то выпялила? Подбил – грамотку, слышь, достань, полдома у отца отхряпни!.. Получишь у меня!.. Получишь!.. Задрал нос! Ну, и ступай! А я вот возьму да и подожгу все!.. Вот те и вик-сик! Что он мне? Он наживал – сик твой?

– Уймись ты, старик, – голос у Клуни дрогнул, – все они молодые-то такие... Придет... Чай, своя кровь, родная...

Но и дрожь в голосе и тон, да и вообще, что бы когда ни говорила Клуня, – все это раздражало Егора Степановича.

– Не знай – своя, не знай – чужая!

У Клуни расширились зрачки, правая рука поднялась. Егор Степанович еще сильнее долбанул:

– И скорее со стороны – выродыш.

– Что ты, старик? – Клуня закрестила его. – Что ты? Опомнись.

– Не крести.

– У края могилы слова такие! Этого еще не слыхала. От своего сына отказ...

– Не крести, говорю... без тебя крещен. Сынка вон крести... В артель, слышь, пошел. Они сами-то за лето последние мохры спустили, вся срамота наружи... Наш хахаль к ним. Ну, дай ему свое добро, дай! А он его по ветру пустит. Ты жила, трудилась, копила, вон и сейчас болячки на титьках... А ему дай добро. Ну, дай, он те на старости-то лет пустит с сумой.

Но уж у Клуни прорвалось. Столько лет молчала, не перечила. Ложился иногда к ней под бок Егор Степанович, мял, спрашивал того, чего надобно ему было, после отворачивался, храпел боровом или уходил и сидел всю ночь под

окном в задней избе – богатство свое стерег... и десятки лет – всю жизнь молчала Клуня.

– Заел ты, заел... всех заел! – неожиданно вырвалось у нее.

Егор Степанович вылупил глаза так, как будто вдруг заговорил тот чурбашок под сараем, на котором Чухляв всегда в тяжелые часы посиживал.

– Вот о-но как! Уходи! – взвизгнул он. – Ступай! И ты ступай! Все ступайте! И тебя я замучил. Всех замучил! Чего сидишь? Беги за сынком... Беги... а я...

Клуня открыла рот, хотела кинуть что-то злое, годами накопленное, а Егор Степанович вскочил на ноги, и худые жилистые руки потянулись к лампе.

– Все сожгу, все назло подпалю! Перепугалась, старая?! Где лампа? Все подпалю...

Но, сказав вместо спичек «лампа», он как-то разом свернулся и, выбежав из избы в сарай, сел на чурбак.

Тоска, одиночество загнанного волка надели на Егора Степановича. Казалось, и черепичная крыша под сугробами снега, и дубовые стойки сарая, и бледное небо – все давило, сжимало, все ополчилось против него...

Может, и прав Яшка? Может, уж старость Егора Степановича одолела? Кряхтеть, значит, ему осталось... Да нет: не хочет Егор Степанович кряхтеть и веревку с петлей на шею не намерен через переклад перекинуть... не намерен он этого делать. А что-то надо делать! Не ходить же сутулому, угрюмому, будто вшами заеденному, из угла в угол, не скрипеть же в молчаливой злобе на врага своего!..

Долго сидел в сарае, отыскивал зацепку. Временами его от дум отрывал протяжный плач Клуни, но это в его голове проходило почти так же бесследно, как облако по ясному небу. Думал о своем... И только совсем под вечер, когда за плетнем у самого сарая послышались шаги, Егор Степанович привскочил, глянул из окошечка конюшни в переулочек – переулочком шел охранник вод и лесничий Петр Кульков.

«Вот человек, – обрадовался Чухляв, – плут хотя, а у них бывает зачастую».

Потрусил через двор. За калиткой столкнулся с Кульковым.

– Зайди-ка, зайди, Петр Кузьмич, дело до тебя есть. Кульков чуть заупрямился. А Чухляв за рукав поволок его в избу.

– Что уж ты нонче и знаться с нами не хочешь? – и, войдя в избу, заторопился: – Клуня, поставь-ка самоварчик... разогрей нас, стариков... – Ключ из вязанки достал, сунул Клуне: – Самовар возьмешь, запри, смотри, чулан!

Удивилась Клуня и тому, что ключ доверил Чухляв, и тому, что заставил ставить самовар. В чулан пошла, с верхней полки самовар достала, в трубу самоварную глянула – там пауки себе жилье завели. Тряхнула самовар – из трубы посыпались пауки, побежали в разные стороны. Клуня босой ногой подавила пауков, в самовар воды налила.

Шумит самовар, радуется. На столе дело разделяет, из двух дырочек пар фырчит так, что потолок капельками покрылся. Это не понравилось Чухляву – дырочки у самовара прикрыл, самовар будто обиделся, запищал.

– Ты слышь-ка, Петр Кузьмич, – начал Чухляв, – ты у них там бываешь, у этих, у властителей... Растолкуй-ка мне, бают, закон такой выпустили: живи, кто как хошь, чужого не трогай и против воров – всеми мерами. Нашему трудовому крестьянству вольгота, и учись у нас – как и что. Ты как в этом деле, Петр Кузьмич?

Блюдечко с чайком оторвал Кульков от губ. Через блюдечко остренькими глазами на Чухлява чиркнул, промычал:

– Тронулись будто... А куда? Об этом трудно...

Чует Чухляв – знает Кульков, куда тронулись, а молчит, потому – мужик он плут первосортный. Коршуном около него Егор Степанович закружился. Родных Петра вспомнил, расхвалил, чистокровным рысаком отца обозвал, о братьях говорил – вот первые работники на селе! Потом подступил – лучше-де Кулькова и людей в селе не сыскать. Да что там в селе, в округе такой умной головы не встретишь. Тогда и Петр к уху Чухлява склонился, шепнул:

– Тронулись... Больно тронулись... Вид такой – буржуи все себе заберут... у власти они останутся – эти советчики, а в самом деле буржуи всем вертеть будут.

У Чухлява в башке – золотые столбушки: три тысячи, спрятанные в надежном месте. Об этом не сказал, а чтобы скрыть, засмеялся:

– Во-о-о-на-а-а! А я думал, ты совсем в их веру переправился. А ты вон что!

– Нет. – Еще ниже нагнулся Кульков, руки растопырил и растопырками – перед глазами Чухлява. – Нет! Я линии такой держусь: всяк человек должен свою точку искать. Нашел, крепко и держись на той точке. Какая бы власть ни была, рыжа, зелена ли – свою точку береги... При всякой власти, – он оттолкнулся от Чухлява, – при всякой власти жить можно: всякая власть – власть.

Руками взмахнул от радости Чухляв.

– Справедливо это ты, справедливо.

– Да, – Кульков икнул, – своей только точки держись. Ямки обходи, овраги и крутись. Умней крутись, – и он закрутил пальцем над столом.

Пили чай. Нагибали самовар: кипяток к концу подходил. Чухляв подолом рубахи с лица пот стер, и опять:

– А как, Петр Кузьмич, нонче насчет разделу – в порядке это?

– Да-а как тебе? Говорят, в порядке, – у Кулькова вновь забегали глаза. – Впрочем, как знать? Нонче какой порядок?

– Выгнать, на прямую тебе говорю, из дому можно?

– Ты что, делиться, что ль, задумал?

– Выгнать! А ты – делиться.

– Ты, – зашептал Кульков, – точку свою не забывай. Законы что – их и так и эдак повернуть можно, на то и законы. Только умеючи вертеть надо. А не сумел – другую дверь в избе проделают. Понял? Ты не гони его! Не гони! Пускай придет. А ты его исподволь: не тем, так другим ковырай... Капля, – вскрикнул Петр, – и та камень точит... А ты, чай! да эх! Знаю я тебя! – Он оттолкнул от себя Чухлява и раскатисто засмеялся. – Он в суд подаст. А ты в суде свое: «Я-де его не гоню, молодой он, от молодости это у него. Вот и хочет от молодости хозяйство нарушить». «Рано, значит, – скажет ему суд, – рано тебя, Яков, до хозяйства допускать». Понял?

– Так, так, – Чухляв мотнул головой.

– Точку свою не забывай.

После ухода Кулькова Егор Степанович долго ходил из угла в угол, ждал Яшку. И на другой день ждал:

«Яшка придет! Чай, хоть вид подаст, «прощенья, мол, прошу». Прощу его, а там видать будет».

Но Яшка не шел.

И на третий день не выдержал Чухляв – Клуне буркнул:

– Ступай, позови. Чай, не зверь я. Пускай идут.

К вечеру Клуня привела молодых.

Чухляв в это время сидел в переднем углу, читал псалтырь, тянул гнусаво:

– Аллилуя, аллилуя, аллилуя...

Яшка сказал матери:

– Ты, мама, приberi постель. Одеялку новую достань. Да занавески привесь. Мы тут будем спать, а вам и на полатях ладно.

Затрясся Чухляв, хотел гаркнуть: «Что-де, пришел? Аль ты хозяин, аль я хозяин?» Но тут слова Кулькова вспомнил, сдержался, прохрипел:

– Спи на кровати... Только вот четвертую ложку я забыл купить... Четвертой ложки нет.

– А мы со Стешкой из одной поедим, из одной-то нам еще вкуснее. Так, что ль, Стешка? – и со всего разбега Яшка чмокнул Стешку прямо в губы да еще ладошкой по спине похлопал. – Вот как, тятя, гляди, заживем.

Чухляв сжался, ноги крючком загнулись под лавкой, голова задергалась, над псалтырем нагнулся и гнусаво запел псалом Давида:

– Всяа-акая тварь хвалит господа-а-а...

Клуня тихонько тронула Стешку за платье. Отвела в чулан и в чулане, смеясь и плача, осматривала ее, гладила волосы, щеки, спину, и слезы из Клуниных глаз часто закапали на Стешкины руки.

– Я тебя, Стешенька, любить буду... любить буду, – шептала она, прижимая к себе Стешку.

Звено седьмое

1

Весна на дворе – сизая, туманная.

Давеча Егор Куваев мимо прошел, проговорил:

– Весна! Легко дышится, Егор Степанович!

Легко! Дураку и палец покажется железкой. Ну, что в самом деле в весне? Серо кругом. Всюду пахота идет, – вишь, разбросались мужики по полям, ровно зайцы. А он – «легко дышится!» Запрягись-ка в соху – вот легко дышится! А еще печник. Помог бы вот лучше разобраться, где и что, а он – «легко дышится, Егор Степанович...» Вон на «Брусках» тоже, видно, легко дышится! На днях пахать собрались, так на пахоту на себе лошадей волокли. Смех! Разве на полыни лошадь работать будет? А во время пахоты Панов Давыдка с Николаем Пырякиным подрался... Двух лошадок в плужок впрягли – бороздой Давыдка ходил, серенького жеребчика похлестывал, а своего меринка жалел. Да и кому своей лошади не жалко? Кому хочешь доведись, а все свою-то лошадь жалко... Ну, и Николаю своего жеребчика жалко... Как так? По какому праву Давыдка хлещет жеребчика? Конечно, Степан мирил Давыдку и Николая, да они уж козны врозь. Давыдка, слышь, собирается бежать из артели. А всего только позавчера серенький жеребчик Николая Пырякина в погреб влетел. Вытащили жеребчика из погреба на еду собакам. Вот это ловко! Чижей тебе, Коля, по зиме ловить да ноги в потолок задирать, а ты в крестьянство сунулся... Или топил бы да топил печи в московских домах.

Да и то опять: Степан вчера Николая Пырякина в город усрал – учиться. Смешно! Николай учиться поехал. Паренек, что ль, беспшанный! Глядеть будет в книгу, а видеть фигу. Пускай учится. Пускай хоть и сам Степан туда едет. Не в этом загвоздка, – а вот Плакущев Илья Максимович, с тех пор как Егор Степанович был у него в избе, не глядит... На «Бруски»-то вместе глаза пялят, а как в улице встретятся, друг друга не замечают, в разные стороны смотрят – враги! Тут бояться надо. Плакущев Илья, слышать, намеревается свою партию сколотить да «Бруски» – под себя. Да и еще поговаривают: Степан Огнев старается Кривую улицу на две половинки разбить, одну – Плакущеву Илье, другую – себе. Кто куда хочет – иди. Только, слышь, ежели по дороге Огнева пойдешь – белый хлеб тебе; по дороге Плакущева – на траве да на сухарях век сидеть... А Егора, дескать, Степановича посередке оставить – болтайся, как большой наперсток на мизинце. Ну, нет, Егор Степанович наперстком болтаться не желает! После беседы с Кульковым и Егор Степанович решил переворот в голове сделать. Довольно на пороге сидеть да тараканам счет вести. Пора выглянуть да всех на путь-дорогу наставить: на сход стал являться к завалинкам, тихонько, будто про себя, да сторонкой речи повел:

– Я ведь ничего супротив артельщиков не имею... Отдайте им хоть вот и улицу – пускай пашут. Только ведь землю они заняли рядом с селом: тут и огороды и все было для нас. Пускай вон на Зольники идут. Далекое? Ну, что ж далеко? Пускай там пример покажут. А так я ничего... Я мир хочу на селе!

И с весны к Егору Степановичу стали приставать: Петька Кудеяров пристал, Шлёнка, Маркел Быков – этот хоть и жметя от Егора Степановича, как теленок от холодного ветра, а не отбегает прочь. Чижик! Этот на Кирилла Ждаркина в обиде – Кирька на свадьбе Чижику при всех бросил: «Зачем, когда я на военной службе был, следи у меня с сарая потаскал?...» Кульков пристал... Вообще, сбилась горсточка, и теперь Егор Степанович не один в поле воин... И вдруг он ужаснулся: неужель в самом деле артель затевать, не одному, а скопом буерак перепрыгивать?

От этого у Егора Степановича в голове все перемешалось: привык в одиночку, а теперь возись со Шлёнкой, с Петькой Кудеяровым и со всяким прочим – уговаривай...

Егор Степанович прошел по своему огороду на Коровьем острове, оглядел молодой тыквенник и, перелезая через плетешок огорода Плакущева, пристыл на месте: из-под кручи, с ведрами на коромысле, вышел Огнев Степан и начал плескать воду на молодую капусту.

– Весь горб протрешь, – зло смеясь, произнес Егор Степанович и тут же подумал: «Дурак Степка, со мной бы сплелся, Давыдку по шапке, Николку по шапке... Поговорить разве?» Крикнул:

– Здорово, сваток! Аль не сваток ты мне?

– Здорово! – ответил Огнев.

– Постой-ка, сваток, зачем гнев на меня имеешь? В дружбе давай. Дело одно ведем – мирское... И родня притом, совместно давай мир ковырять...

«Чудак, – улыбаясь, подумал Степан, глядя, как у Чухлява трясутся руки и бегают в разные стороны глаза. – Прямо таки жулик!» И проговорил:

– Эх, эс-ер ты, эс-ер! Мутишь в поганом ведре, а нюхать не знай кому!

– Зря ты есером, – Егор Степанович сморщился: – Не есер я. Плюю на есера! Я за советскую власть умереть готов и вообще, – запнулся, а в голове свое понеслось: «Собака на свист и то бежит, а у Степана в брюхе ошурки, да и налог на него накатили... Поманить надо». – Ближе подошел, затараторил: – Без работы я не могу. Не могу без работы. Ты возьми, к примеру, у тебя в чем недостача... налог там аль что... по родне и ты придешь... подмогу...

– Плут! – сказал Огнев и засмеялся.

За полу пиджака уцепился Егор Степанович:

– Ты постой-ка! Зря ты, голова садова!

Степан остановился, посмотрел в лицо Чухлява. Оно сморщенное, жалкое, как у пьянчужки. От этого у Степана поднялась злоба, хотелось наотмашь ударить кулаком по лицу Чухлява так, чтобы разлепешить враз.

– Не трожь фалды, – и зашагал под кручу, бросая через плечо: – Разговор у нас с тобой короток: жалею – когда можно было, не прикончил такого пса!

«С этой стороны не подойти, – подумал Егор Степанович и оглянулся

кругом. – Хорошо еще, никого поблизости нет – не видали».

А когда сутулая спина Огнева скрылась за зеленым кустарником, прошептал:

– Посмотрим, кто еще кого прикончит!.. Поглядим...

Сизый весенний ветер дунул по кустарнику, приласкался к серым, дырявым плетням огородов и закрутил пыльцой на лбине утеса Стеньки Разина.

2

Егор Степанович перешел улицу и, переступая порог калитки, закричал:

– Стешка, а Стешка! Что, постоянный двор это тебе? Не знаешь, куда ведро вешать? Да не туды, не туды! Вон гвоздь-то, на него и вешай...

– Зуда! – огрызнулась Стешка. – День и ночь зудит, как комар.

– Поворчи вот у меня. Я те поворчу!

Стешка повесила ведро на гвоздь и заторопилась к маленькой Аннушке. Аннушке пошел уже второй месяц, и об ее родах молва на селе распустилась павлиньим хвостом.

Как же – со дня свадьбы и шести месяцев не вышло, а Стешка уже родила!

Да пускай что хотят, то и говорят! У Аннушки большие зеленоватые глаза, как у матери, и крутой подбородок, как у отца. Стешка целыми вечерами просиживала над Аннушкой, распевая тихие песенки, и ждала приезда Яшки. Недавно он уехал на Каспий, там работал, слал Стешке письма, и в последнем сообщил, что скоро будет дома. Вот это радость! Люди и не знают, чему радуется Стешка. Давеча поутру у Шумкина родника бабы окружили. Что уж больно свежа, будто яблоко, Стешка? Вон Зинка Плакущева или Настька Гурьянова, или кого ни возьми – вскоре после венца иссохли, а эта расцвела.

– Не знаю, – смеясь, ответила она.

Кошачьим шагом Стешка подошла к зыбке: осторожно приподнимая, приложила пухлым ртом Аннушку к набухшей молоком груди. И тут же вновь вспомнила Яшку, его сильные руки и твердый шаг. Вспомнила и то, что порассказала ей мать несколько дней тому назад про отца – Степана. Степан по ночам мечется в постели, кричит, что умрет, а не покорится Егору Степановичу. Лучше головой в петлю. А вчера Стешка, заслыша про то, что у Николая Пырякина жеребчик упал в погреб, пошла к своим. Отец сидел, в задней комнате под окном – высох, будто срезанная ветка ивняка: бородой словно еще больше оброс, и глаза ввалились. Увидев Стешку он улыбнулся, хотел что-то смешное да ласковое оказать, а вышло грустное. Рукой отмахнулся, повернулся к окну, а когда Груша вышла во двор, заговорил:

– Тяжело мне, Стешенька... Эх, народ-то темный, зверь народ! На днях вот какой-то олух в парнике у нас все стекла поколотил. Хорошо, морозу не было в эту ночь, а то вся рассада пропала бы. А поколотил неспроста, подговорил кто-нибудь. Ты хочешь сделать так, чтоб все за тобой пошли да от тараканов

избавились, а они на тебя же...

Помолчал.

– Вот Яков бы твой ко мне впрягся, мы бы свернули все село. А с этими трудно... У Николая жеребчик подох, а Давыд все дуется чего-то. Как бы не отлетел в сторону! – Еще ниже согнулся. – Ты знаешь, Стешенька, что корова-то у нас твоя. Вот хочу я одну вещь купить, ты мне корову разреши продать. Матери скажи, что Яков тебе велел продать корову, а приедет, дескать, другую купит... а?

Конечно, Стешка согласилась продать корову. Об этом она и письмо брату Сергею в Москву написала и приписку сделала, что отец по ночам мечется и жить ему больших трудов стоит... Не пособит ли Сергей советом аль чем... да и не приедет ли хоть на недельку в Широкое...

...В комнату вошла Клуня и, нагнувшись над Аннушкой, тихо проговорила:

– Спит голубушка?

– Спит, – тихо ответила Стешка и положила Аннушку в зыбку.

– А ты укутай, укутай, – посоветовала Клуня.

– Тепло, матушка...

3

В сумерке вечера, крадучись, во двор к Егору Степановичу собрались гуляки.

Егор Степанович, семеня ногами, вынес в угол за конюшню стол, поставил пять четвертей самогона, капусту, помидоры, затем еще раз обежал кругом стола, прислушался.

– Угощайтесь, – сказал тихо.

Гуляки мялись. Чижик первым приложился к самогонке. Охватив кружку маленькими ладошками, как крысиными лапками, он приподнял ее и пискнул:

– За умственную голову Егора Степановича и вообще за всю компанию.

– Тише ты, – зашипел Егор Степанович. – Уши кругом.

Чижика поддержали Петр Кульков, Петька Кудеяров, Шлёнка. Только Маркел Быков сидел молча. У него под завитушками бороды крепко сжались губы, а сердитые глаза уставились в угол конюшни. Чудилось Маркелу – не в ту ногу он пошел. Да и Егор Степанович ведь какой? Репей, привязался... Отказать ему – не мое, мол, это дело, Егор Степанович, – обидишь: родня. Не отказать – самому все это поперек горла становится. Ну, зачем Маркелу «Бруски» там какие-то? Огнев забрал – ну, и пускай забрал. Маркел – староста церковный и еще пчелок думает завести, с пчелками да около свечного ящика думает век свой дожить, а тут артель какую-то затеяли... канитель какую-то развели! Да с кем? Кого набрал только? Шлёнку – этому пожрать бы. Петьку Кудеярова. Разве сапожник – человек? Плакущев, видно, его от себя отпихнул, он теперь к Егору Степановичу. И Чижик тоже – на дню у него семь пятков... Компания! Встать вот – вон она калитка-то – в калитку да и домой: «Прощайте, мол, мне не по пути». Ан нет, ноги не

двигаются, язык не ворочается, а злоба внутри кипит... Но уж пить Маркел не будет. На это его не собьешь. Пускай что хотят, то и делают.

– Не пью. Сроду этого зелья в рот не брал.

Егор Степанович исподлобья глянул на Маркела, сердито мигнул: «Пей-де, и я вот, дескать, не пью, а где надо – так там уж непременно надо».

Мотал головой Маркел, как его ни уговаривали.

– Ну, раз не пьет, зачем же силой? Пейте сами, товарищи, – и тут же легонько засмеялся Егор Степанович, дивясь, что друзей своих назвал товарищами. «Еще коммунистами как бы не пришлось звать! Ну, что будет, то и будет», – и опрокинул самогонку себе в рот.

Пили. Угощались. С шепота перешли на говор. А когда дурман совсем прошиб, поднялся Егор Степанович, сказал:

– Я что?! Мне бы власть, я бы наделал делов... А то власть, диктатура, рабочему – власть, а крестьянину – шиш. Оно, знамо, кто у власти, тот себе... Мы бы у власти, я бы, к примеру, я бы тоже себе.

– Верно, Егор Степанович, верно! – подхватил Петька Кудеяров. – Вот, например, нам бы власть, сапожникам. Что бы мы разделали. Мы бы себя, сапожников, озолотили: сапожки сделать – давай тыщу целковых, не то – ходи босой.

– Сто-оп, я председатель, – одернул его Кульков. – Сто-оп! Слово тебе, Петька, не давал. Стоп – говорю. Егор Степанович продолжит!

– И то еще, – продолжал Егор Степанович, – я ведь какой. Я где скажу, там и уродится. Только в одном месте землю мне. А то сорок сороков напороли – и прыгай по загончикам... Не-е, ты власть, так на отруб нас пусти...

– Верно, – перехватил, приподнимаясь, Кульков, – можно только так – через отруб к этому... к коммунизмию!..

– Там к чему – к этому, али вон к тому, – Егор Степанович завилал рукой, – там умирать будем, а вот теперь...

– В кулаки полез! В кулаки! – Петька Кудеяров вскочил и, засучив рукав, согнул руку и заскрипел зубами.

– Лодырей! Лодырей у нас много развелось! – орал Петр Кульков. – Куда ни поглядишь – лодыри и воры. Кругом воры.

Петька Кудеяров опять заскрипел зубами, засучил второй рукав и двинулся на Кулькова.

– Я не про тебя, – торопко отмахнулся Кульков, – а вообще!

– Отчего – лодыри? Отчего?! – настойчиво требовал Петька Кудеяров.

– Петя! Петя! – крикнул Чижик. – Чижемо тебе? Живетса чижемо? Дом, корова, лошадь, двадцать пеньков пчел... Помогу, Петя!

Подняли ералаш. Чижик обнял Петьку Кудеярова, кричал: «Дом, лошадь,

корова, пчелы!» Кульков кричал про лодырей, Егор Степанович силился унять крикунов – кричал громче всех. Шлётка переводил посоловелые глаза с капусты на самогонку, с самогонки на капусту и пятерней таскал в рот помятые помидоры.

– Пейте, – наконец сказал он, наливая всем по кружке самогона. – Орете зря.

– Верно, пить надо, – подхватил Егор Степанович. Выпили, и это прервало галдеж.

Егор Степанович воспользовался передышкой.

– Огнева вот надо с «Брусков» сжить, о чем и уговор у нас был... Его сжить – он на глотку псом сел. Свою артель на «Брусках» закрепить. Сказать – в душе-то мы все коммунисты... только вот Огнев нам мешал... С такими словами в губернию, а то и в центр полыхнуть.

– Верно, – согласился Чижик. – Эх, Егор Степанович, тебе бы только цик-цик быть.

– Жулики, – Петька Кудеяров взмахнул кулаком, – жулики, – но, услышав, что компания избирает его уполномоченным по делам артели, остановился.

– Вот он и подходящ, – одобрил Чижик. – Обрядится в мохры свои – «пролетарь, мол, я», – и катись в губернию... И на Кирьку надо... Какие такие я у него слезы с сарае стащил? Какие? Скажите на милость!

Петька Кудеяров мутными глазами обвел всех, самогонку из кружки в себя отправил, поймал пальцем в блюде помидор, пожевал, рыгнул и дал согласие:

– Мне все едино: председателем, уполномоченным, кем ли. Мы в солдатчине не то видели... Мы в солдатчине, когда при Николае еще...

Перебили Петьку. Выпив, всегда он о солдатчине начинал, а кому охота слушать, когда у каждого есть чем похвалиться. Каждому охота высказаться.

Маркел Быков осторожно поднялся из-за стола, отпихнул вцепившегося Чижика и вышел на улицу.

А когда совсем стемнело, Панов Давыдка, идя с огорода, слышал гам со двора Чухлява – поставил пустые ведра в сенях своей избы и задами пробрался к сараю Егора Степановича. Осторожно отковырял глину, вынул камень и сквозь проделанное отверстие посмотрел на гуляк. Узнав, в чем дело, поднялся на ноги, прошептал:

– Мы вот вас всех уполномоченными выберем, а тебе, столько в лысину гвоздей наколотим – век дергать будешь...

4

В эту ночь были собаки. С одного конца на другой перекачивался визгливый, хриповатый, басистый собачий вой. У мужиков примета: собаки воют – быть беде: воры, волки ли на селе – гости незваные. Потому выползли сонные широковцы из хибар, с фонарями осматривали запоры в конюшнях, выпускали из клетей овец – так овцу вору не украсть, волку не зарезать: овца шумом даст знать

хозяину о беде.

Собачий вой поднял на ноги и Илью Максимовича. Плакущев обошел двор, потрепал гнедого жеребчика за гриву, выпустил из клетки овец, чуточку постоял посередине двора, прислушался к вою и вновь улегся в сених рядом со своей бабой. Не спалось... Прошло вот уже семь или восемь месяцев, а Илья Максимович никак не может привыкнуть к тому, что около него нет Зинки, что Зинка живет не у него, а у Кирилла Ждаркина. Конечно, он совсем не в обиде на то, что Кирилл забрал к себе Зинку. Кирилл будет цепким мужиком, и род с него пойдет цепкий. Да вот – хочется иногда Илье Максимовичу ласково, как жеребенка, потрепать Зинку за ухо. А где ее возьмешь?

«Чудно как-то мир сотворен, – думал он, глядя в окно на далекую звезду, – растишь, растишь, а выросла – на ноги встала – и к чужому в избу...»

– Лизавета, – окликнул он жену, – Лизавета!

Елизавета спала крепко, отдувалась, возилась.

Были собаки. По задам в темноте, с подтянутыми животами, рыскали, ляская зубами, голодные волки. Впереди всех ковылял старый, седой, треногий волк. Его знали в Широком по ряду проделок: два года тому назад он попал в капкан Никиты Гурьянова, отгрыз себе ногу и скрылся в лесах, а в прошлом году перерезал овец у Маркела Быкова. И теперь, ковыляя, старый волк обнюхивал плетня, вертел короткой шеей, тихо взвизгивал. Дойдя до сарая Егора Степановича, он приостановился – пахнуло овечьим духом. Кинулся к плетню. В плетне маленькая дырка, а за дыркой в клетке овцы. Обнюхав дырку, треногий чуточку попятился назад, потом осторожно на животе подполз, просунув в отверстие голову – овцы в клетке шарахнулись, а у треногого с длинного языка потекла слюна, из пасти вырвалось радостное рычание.

...Наутро бабы, выгоняя коров в стадо, увидели за двором следы побоища. Сообщили Егору Степановичу. Чухляв схватил картуз с каркасом, сунул его на голову, глянул на восемнадцать зарезанных овец – и из глотки у него вырвалось, как у волка:

– Уррр!

Глубже напялил на голову картуз и конопляником зашагал в поле.

Шел рубежом – глухим и травным.

Вот уже осталось позади поле. Внизу – за зеленым полем – по долам и оврагам разбросались хибарки Широкого Буерака. Из труб хибарок валит утренний дым – топят бабы печи и, видимо, судачат про беду Егора Степановича. Конечно!, судачат. Да еще насмежаются!.. Свернул с дороги, пошел напрямик, куда ноги вынесут. Молодой дубняк цеплялся за самотканые штаны, морковного цвета рубашку, тянул назад, хлестал по лицу ветками. Отдирая от себя ветки, Егор Степанович двигался вперед.

Солнце уже слизывало росу. По долам и оврагам закудрявились прозрачные туманы, потянулись ввысь. А за Балбашихой цепными псами грызли тучи и большими сизыми клубками накатывались на утреннюю синеву. Ветер сильнее

затрепал кудрявый орешник.

Егор Степанович не слышал грызни туч. Он выбрался из дола и, путаясь ногами в прошлогодней полыни, в мышинном горошке, пересек поле, под названием Винная поляна: эта земля когда-то была пропита стариками. Тут остановился: наперерез ему расхлестнулся глубокий, с крутыми берегами Сосновый овраг.

В стороне за оврагом – над дубовой рощей, в утренней синеве две галки и большая ворона с криком гонялись за ястребом. Ястреб, не обращая внимания на крикунов, делая круги, поднимался все выше и выше и через некоторое время почти совсем скрылся в глубине весеннего неба. Затем камнем метнулся вниз.

Егор Степанович невольно вспомнил слова Сутягина: «Жизнь прошла, как вон ястреб на колу повернулся». Он посмотрел в овраг и подумал:

«И-и-их, бултыхнуться вот вниз башкой!»

И сразу попятился, ошетинился, будто перепуганный кот: внизу, под кустом барашковой рябины, на дне оврага спал треногий волк. Он мерно отдувался. Налитый овечьей кровью живот торчал барабаном. У Егора Степановича вздыбились на голове остатки волос.

«Прикокнуть насмерть хромого, – решил он и тихо, не сводя глаз с треногого, пополз на животе к дубу. – Там спущусь в овраг, там по оврагу – и к нему... Обожрался, спит крепко, сонного-то шутя связать... Не разбудить бы только, только бы добраться...»

Полз тихо, медленно. Даже ворона, сидя на камне у оврага, и та не шелохнулась.

Вот и дуб – зелеными лапами, словно огромными пальцами, растопырился во все стороны...

«Схвачу, – думает Егор Степанович, – треногого, в село приволоку, мужиков от грабителя избавлю. Глядишь – мужики за избавление по ягненку дадут... Ягнята за лето в овец вырастут. А там и опять свои овцы...»

И не заметил Егор Степанович, как пропала тень и орешник по склону дола зашумел как-то по-особому – тихо, но внятно.

И вдруг... треск...

Сунулся Егор Степанович лицом в жесткую глину – крякнул. Картуз отлетел в сторону, а каркас-пружина, шипя, упал около камня.

5

День был праздничный, да еще дождик перед этим хороший прошел – земля молодухой глянула, леса, поля зазеленели, зазеленел подорожник в улице. По лужам ко двору Егора Степановича сбежались широковцы. Кто породнее – в избу набился. Как же, случай такой редкий, почти небывалый в Широком: от картуза, так сказать, от своего, от каркаса этого самого, человек пострадал.

В избе, в углу на кровати, лежал Егор Степанович. На голове остатки волос совсем поседели, козлиная борода вылиняла, а по лицу – ползала злоба. Иногда он открывал глаза, обводил присутствующих пустым взглядом и шипел:

– Квасу!

У его ног – Клуня. Напротив Клуни – Плакущев Илья, пришел проведать: такая беда с каждым может случиться. Он распустил бороду, смотрит на Егора Степановича так, будто никогда не видел его. Рядом с Плакущевым Маркел Быков, Петька Кудеяров и дедушка Катай.

– А я только что вчера поругался с ним – лыки он не то присвоить, не то что хотел... мои лыки... я надрал, а он ввязался. Вот грех-то! – сокрушался дед Катай.

– Ну, об этом не время, дедушка... Не теперь об этом. Выдьте вы, выдьте! Чего сгрудились? Дышать в избе нельзя!

Мужики и бабы от окрика Плакущева еще упорнее усталились на Егора Степановича и шеи вытянули, будто гуси через плетень.

– А вот не поспей мы к нему – как бы ему... А зарыли в землю – вишь, отошел, – начинал в десятый раз Петька Кудеяров рассказ о том, как они подобрали у Соснового оврага Чухлява, сбитого молнией.

Шлёнка, кряхтя и расталкивая народ, пробрался в избу, смял в руках картуз, посмотрел на Егора Степановича.

– Как это его? Вот живешь, живешь...

– Тыщу раз уже сказывали, – оборвал его Плакущев и повернулся к толпе. – Выдьте! Во-от – говори, не говори!

Шлёнка присел на корточки у порога и через несколько секунд задымил махрой, но тут же быстро подмял сигарку под голую пятку. Егор Степанович зашевелился, приподнялся: с плеч у него сползло одеяло, показались сухие кости на груди, а по обе стороны горла две большие впадины.

– Огнева, – прохрипел он, – проститься...

Клуня засуетилась, заохала.

– Я сбегаяю, я! – вызвалась Улька, молодайка-сноха Маркела Быкова.

Толпа раздвинулась, выпустила Ульку. Приподняв юбку, шлепая ногами по влажной земле, Улька бросилась вдоль улицы ко двору Огнева.

– Куда, Улька? – кричали ей.

– За дядей Степой... Огневим. Прощаться зовет.

– Видно, умирать собрался, – заговорили широколицы и еще теснее окружили дом Егора Степановича, полезли в окна, двери.

В избе посерело.

– Аль конец? – спросил, нагибаясь к Плакущеву, Маркел.

– Ему больше знать. Жалко мужика-то. Все ведь через канитель эту. Не унимался... Такой был. Да отлетите вы, – Плакущев забарабанил пятерней в

стекло, – отлетите!

Лица в окнах замерли. Илья Максимович развел руками.

– Хоть кипятком отгоняй.

– Как это его? – вновь спросил кто-то из толпы.

– Тыщу уж раз сказывали.

– Дядя Степа! – сообщила Улька, протискиваясь вперед.

При появлении Огнева Плакущев и Маркел поднялись, поздоровались за руку, табуретку ближе к Чухляву подвинули, сами отошли в сторону, а Катай шепнул:

– Не бранись, Степан, не бранись с ним, при смертном часе он.

– Здорово, сваха, – Степан поклонился Клуне.

Егор Степанович сначала открыл левый глаз, чуточку посмотрел на Огнева – узнал. Глаз загорелся злобой, засверлил. Потом открылся второй. Долго смотрел Чухляв на Огнева, затем приподнялся, прохрипел:

– Рад... подыхаю, а?

Разом пот прошиб Огнева.

– Ты, Егор Степанович, – заговорил он немного спустя, – прощаться звал... Для меня все равно... Ты звал. Ты хотел.

Чухляв вновь опустился на кровать, немного полежал, потом, приподнимая сухую грудь, глубоко вздохнул:

– Эх, Степа! Земля-то там какая... на «Брусках»... Давно с отцом еще у Сутягина-барина сымали. Хлеб был!.. Вот оно что.

По сморщенному лицу побежали слезы, рука дрогнула и повисла с кровати плетью. У Степана в горле собралось что-то горькое, давящее: хотелось не то пожалеть как-то Чухлява, не то – выскочить из избы и убежать.

Егор Степанович долго лежал молча, закрыв глаза. Молчали и все. Как-то уравнилось дыхание. В тишине дыхание толпы раздувалось мерно, будто кузнечные мехи ленивого кузнеца. Клуня еще ниже спустила черный с белым горошком платок на глаза. Катай водил посошком по грязной трещине пола. Стешка – и та прислушалась, поднялась с табуретки и в тревоге глянула в заднюю избу.

– Дайте дорогу! Пропустите, – раздался в сенях голос. – Что тут стряслось?

Толпа расступилась, а Стешка кинулась и со всего разбегу повисла на короткой, сильной шее Яшки.

– Желанный ты мой, – только и сказала.

Ночью, когда утомонились широковцы, Яшка и Стешка, положив между собой Аннушку, тихо шептались за занавеской. Яшка привез с собой сто целковых и бумазейки Стешке на платье да синего сатина Аннушке.

Стешка гладила рукой яшкину грудь. Крепко целовала, тихо смеялась.

– Усы у тебя, борода растет. Ишь – колючка, – и горячей щекой прижималась к небритой бороде.

Яшка чуть приподнялся, большими ладонями обхватил Стешкину голову – волосы густой куделью рассыпались по розовой наволочке, тихо проговорил:

– Ты... Стешка?

– Что?

– Молодые-то бабы нонче...

– Яшка! Один ты... родной, – Стешка рванулась и губами закрыла рот Яшке.

Задыхаясь от Стешкиной – ласки, он засмеялся:

– Возьми Аннушку в зыбку...

Стешка поднялась, осторожно положила Аннушку в зыбку. Сорочка сползла и обнажила спину.

Потом еще шептались:

– Лошадь теперь купим... В артель подадимся. Подождем вот, что с ним будет... Может, и умрет... Тогда уходить из дома не надо... А без своего дома... трудов стоит жить...

6

По селу уже ходила молва, что Егор Степанович висит на волоске, скоро и его отправят на покой. Об этом особенно гремела Анчурка Кудеярова. Она на дню по нескольку раз забегала к Чухлявам, становилась перед Егором Степановичем, покачивая головой, тянула:

– А-а-а-а, умрет... Пра, умрет!

– Все умрем, – отвечали ей.

– Знамо, все умрем, – соглашалась она.

Несколько раз приходил и дедушка Катай. Егор Степанович давно еще полтину у него зажилил, вот и ходил дедушка, думал: может-де, перед смертью Егор Степанович и вернет полтину.

Егор же Степанович скрипел, кряхтел – не сдавался. Он заставил Клуню ввернуть в потолок кольцо, привязать к кольцу полотенце. И цеплялся тощими руками за полотенце, потягиваясь, хрипел:

– А я не подохну. Назло вам не подохну! Смерти моей ждете? И ты, старая, ждешь? Умру – не прощу... На том свете встретимся – скажу всем: она, мол, меня – жена законная – силой в гроб...

Клуня припадала к его ногам, выла, просила прощенья. Крепко прощенье держал Егор Степанович у себя за зубами – издевался.

А в утро воскресенья, когда надтреснутый колокол на церквешке задребезжал к обеду, Егор Степанович, выпив кружку квасу, начал «обирать себя»: дергал

рукава, штаны, обводил кругом руками, будто сбрасывая с себя мелкие соломинки.

– Ну, матушка, собрался. Пра, собрался. Глядеть уж нечего, – решила Анчурка.

Клуня взвыла, запричитала, а Анчурка вылетела на улицу, кинулась за попом Харлампием. Услыхав о предсмертном часе, к Егору Степановичу первым пришел проститься Катай. Он сел в изголовье, посмотрел в восковое, с впалыми глазами, лицо, легонько затормошил:

– Егор Степанович! Эй! Глянь-ка! Ты как... насчет похорон как? Где облюбовал... с отцом, что ль, со Степаном рядом, аль где? Где облюбовал? Волю твою как исполнить?

– Не-ет уж, клика-а-а-ай, а-а не-е-е-е до-о-о-а-кли-и-и-ка-а-а-а-шься со-о-о-о-ли-и-и-ка-а мо-о-во-о-о, – заголосила Клуня.

Это обозлило Катая. Ну, чего старуха суется, коль человек еще не простился с Егором Степановичем?

– Егор Степанович, миляга! Ну, чай, последнее слово-то скажи... Нельзя без последнего слова... Волю свою скажи...

Егор Степанович открыл глаза.

– Квасу!

– А?

– Квасу!

Жадно, без передышки, выпил целую плошку квасу. Отставя в сторону плошку, долго смотрел в угол избы, потом тяжело вздохнул, посмотрел на болтающееся полотенце и выразил свое желание, чтоб его похоронили рядом с барином Сутягиным – с ним, слышь, полжизни у Егора Степановича. прошло, и вообще – друзья. Вот и вся воля Егора. Степановича. Имущество свое? Нонче он не во власти своего имущества. Все перекувырнулось вверх тормашками! Кому ни откажи свое добро, а возьмет тот, кому ячейщики велят... А не отдал, не отдал бы Егор Степанович по воле ячейщиков! Сжечь – и то легче!

«Да, забалтываться стал», – подумал Катай.

– Что, Егор Степанович? – еще с порога заговорил ободряющим тоном Плакущев. – А ты не поддавайся! Гони ее от себя прочь, лихоманку!

– Гони! Да ведь вот... жилы порвались.

– Порвались? А ты их свяжи... Веревка оборвется – не бросаешь ведь ее? Надвязываешь?

– Оно так, – улыбнулся и Егор Степанович, но тут же у него по лицу пробежала синяя тень: через порог переступил поп Харлампий.

– Ну, что, Егор Степанович, – заговорил Харлампий, – отправляться задумал? Собороваться? Дело, сын мой.

– Все отправимся, – болезненно улыбнулся Чухляв и долго смотрел

Харлампию в овальную грудь. – Что другое, а это ведь успеется?

– Чего? – переспросил Харламий и тут же, догадавшись, продолжал, как бы боясь чем-нибудь обидеть Чухлява: – Конечно, дело такое... Ну-да, ну-да.

Егор Степанович вздохнул и заявил, что он собороваться решил маленько обождать. А ежели что, то непременно пошлет за попом.

...Так он проскрипел недели три. А сегодня, когда все домашние ушли на полив в огород, он на четвереньках выбрался на крыльцо, посмотрел на солнышко:

«Светит-то как... Вот кто вечно светит и не тускнеет, а мы тускнеем...»

Немного полежал на припеке, потом с трудом поднялся и медленно задвигался по двору.

В плетне торчала метелка. Три недели тому назад Егор Степанович сам воткнул ее. Метелка показалась тяжелой: дрогнули ноги.

Мел двор и в навозной куче нашел ржавый царский пятак, с орлом. Подойдя к крыльцу, начал тереть пятаком о доску. Тер и думал:

«Пятак ведь... А купить на него – ничего не купишь, и бросить жалко: пятак».

И тут же на миг – на один только миг – ему показалось, что он такой же вот старый пятак...

Стукнула калитка, Егор Степанович обернулся.

В калитку не вошел, а боком втиснулся, будто прибитый кутенок, Шлётка.

– Поднялся? – еще издали заговорил он.

– А ты думал – я подохну? Не подохну. Ни гром, ни молния нас не возьмут.

– Да-а, нет. Что ты! Рад я – встал ты.

– Знаем радость вашу, – не бросая тереть пятак, оборвал его Егор Степанович. – Зачем говорю, пришел?

– Огнев пропал, – заговорил Шлётка, глядя через плетень во двор к Николаю Пырякину. – Как тогда с тобой простился – в тот же день и пропал. Куда делся, неизвестно. Кто говорит, в Москву укатил, а кто – удавился, слышишь, где ни на есть в лесу... от горя. Жисть, слышь, не мила.

– Ну, что же? Пропал? Ну, и пропал. Ну и ну.

– Может, артель без него того... развалится аль что... Как мы все тогда говорили... гарнизоваться надо аль что.

– Ну, и развалится... Ты думаешь, я вот так против родни и попру? Ну, пропал. А ты что? Опять за мукой? Нету больше, – Чухляв развел руками. – Нету! Не припасено для тебя. Ну? Что стоишь? Ступай, говорю. В бедняцкий комитет ступай.

– Не дают в комитете. «Ты, слышь, супротив начинаний: за Егора Степановича держисься».

– А-а-а, – Егор Степанович скособочился, – а у меня-то что? Баржа, что ль, для тебя? А? Мне-то кто дал? Вы все там – пролетарь фыр-фыр, наша власть. Власть-то ваша, а кусок чужой... Хахали! На, вот, – протянул старый пятак, – царский еще.

– На кой мне его...

– А-а-а, богатый! Бреговаешь пятаком... Ну, у меня останется!

Егор Степанович опустил пятак в карман и встрепенулся. Сначала он подумал, что колокольня свалилась. Затем, когда улицей побежали мужики, бабы, ребята и девки, через плетень крикнул:

– Что такое гремит? Мужики! Чего гремит такое?

– Да бес их знает... Артельщики что-то приволокли. Бежит, а позади плуги, на плугах доски, а на досках Степка Огнев. Пушка – не пушка...

– Да ж трахтур, балбесы! – объяснил Петька Кудеяров и, размахивая истертым, замазанным сапожным фартуком, понесся ко двору Степана Огнева.

– А-а-а-а, трахтур, – протянул Егор Степанович и тихо отошел в сторону.

Рядом стоял Шлётка. У Чухлява вновь затрепетало все внутри.

– Ну, видал?

– Видал.

– А понимаешь? Нет, ничего не понимаешь.

– Понимаю, – Шлётка почесал в голове.

– Ну, ступай! Вечерком зайди, мешок принеси с собой.

– У двора Огнева, ровно на ярмарке около хорошего рысака, кишмя кишел народ. Чижик, хлопая ладонью по стальным бокам машины, несколько раз обежал трактор, смахнул с носа пот пальцем, решительно заявил:

– Не-е-ет, не пойдет... По нашим полям лошадям – бяда, а этому где? У него вон колесищи – махина: всю землю придавит.

– Вот он вас трахнет, – тихо заскрипел Егор Степанович и сам удивился своему скрипучему голосу: откуда такой взялся? Прокашлялся и добавил: – Одну петлю надели – мало. В другую полезли... Да на наших полях лошадьми – и то выпрягай, а они трахтур. Он же всю землю прокоптит: хлеб керосином будет пахнуть.

Панов Давыдка подскочил вплотную к Чухляву, расставил дугой ноги:

– Сопля ты овечья! Понимал бы чего в этом деле.

Мужики заржали. Чухляв втянул голову в плечи, и рядом с Чижиком он – Егор Степанович – стоял такой же маленький Чижик.

Огнев и Панов Давыд. Степан сидел в стороне и, обняв руками острые колени, глухо говорил:

– У меня вроде в кишках нарываает: а вдруг в самом деле не пойдет – просмеют нас тогда... от одного Чухлява с села сбежишь... Вот сурок... живуч, как кошка.

– Пойдет. Непременно пойдет, – уверял Панов, скрывая от Степана страх. Он этот страх таил так же, как когда-то таил от жены, когда она разрешалась первенышем – теперь рослой и шустрой Феней. – Такая лошадка да не пойдет. Ты то подумай – ежели бы он никчемный был, разве бы нам наша власть присоветовала?... А вот когда платить-то за него? Через два года, говоришь? – переводил он разговор на другое.

Так сидели они до зари, вперемежку уверяли друг друга в том, что трактор пойдет, потянет, и под самую зарю не выдержали – склонились у колоды и заснули без сновидений...

...Вверх по оврагу от Волги тихо ползет на животе Шлёнка, из двух темных ямок блестят большие белые глаза. Подполз, сорвал рогожу и часто затыкал долотом в разные места трактора. Потом кинулся прочь. Глиняные камешки выскочили из-под ног, забулькали о дно оврага.

– Чтоб вам, – буркнул Шлёнка и побежал на берег Волги.

Огнев встрепенулся:

– Давыд, спишь?

– А? – Панов потянулся.

– Спишь, говорю, караульщик! Будто кто у нас был?

– Кому тут быть? Брось ты...

– Кому? Найдется, кому быть.

Огнев зашагал в сторону. Сойдя под горку, он увидел на траве след – не разберешь. Посмотрел под овраг, глянул на утреннюю серую Волгу, вернулся назад, пробормотал:

– Кто-то был.

– Кому-у-у?

– След есть, вот-те «кому».

Панов жался от утреннего морозца.

– Николай! – звал он, теребя полог. – Вставай, сокол! Давай до народа пробуй, а то привалят скоро.

Николай Пырякин быстро плеснул холодной водой на лицо, обтерся пологом.

– Жесткое полотенце, – засмеялся он, отбрасывая от себя полог. Затем подошел к трактору, повернул ручку – трактор дрогнул и загудел.

– Ты, Николай, в оба гляди. Нонче показ. Кто мы есть – голяки, – проговорил Огнев.

Панов Давыд затоптался около.

– Физиономию свою должны показать, что у нас есть: харя, аль что. Эх, Коля!

– Понимаю! Ты думаешь, я-то не понимаю?

– Вот-вот, – обрадовался Панов, – это самое.

Трактор дал перебой, стрельнул и замер.

– Вот-те раз! Что такое? Засорилось, должно быть? Огнев задрожал.

– Смотри, как бы у самого не засорилось, – и, повернув голову к Широкому, плюнул: – Тьфу... несутся!

Рев трактора поднял на ноги широковцев. По извилистым тропочкам, через долы и овраги, поднимая пыль и звонко перекликаясь, они бежали на «Бруски».

Впереди всех: Петька Кудеяров, Чижик, Плакущев, Яшка Чухляв.

– Э-э-э-э, ломатели, головы садовы! А ну-те-ка, покажите, покажите своего коня, что он есть супротив наших. А? – кричал еще издали Петька Кудеяров.

– Показать? Изрою все начисто, – уверенно произнес Николай Пырякин.

– Ты допрежь изрой, – скособочась, заявил Петька. – А то – «изрою»...

Плакущев из-под густых бровей смотрел на трактор, а руки затискал под мышки. Только борода была у него в движении: ветер трепал ее, пушистую, чуть с проседью, заносил, густую, за широкие плечи. Рядом стоял Никита Гурьянов и сопел так, как будто его только что разбудили и он спросонья еще ничего не понимает, – тер глаза и пялился на трактор. Около же грудились плотной стеной мужики. А из Широкого опешили те, кто проспал.

Толпа росла как из-под земли: через несколько минут люди – в рваных пиджачишках, в полинялых косынках – заполнили «Бруски». Степан видел, как они все, вытягивая шеи, – ребятишки и бабы, перемежаясь с мужиками, – сбивались ближе к трактору, слышал, как они перешептывались, будто перед покойником. Этот шепот полз, как шорох бора в раннее безветренное утро – этот шепот еще больше тревожил Степана, и Степан, стараясь не замечать ни его, ни толпы, опустил на колени и, тоже для отвода глаз, что-то стал ковырять в колесе трактора.

– Не... Не пойдет, – утвердительно заявил Шлёнка, нарушая тишину. – Рази меня бог, не пойдет...

– А ты знаешь? – спросил его Петька Кудеяров. – Знаток ты?

– Знаю... секи мою башку.

– Ты вон штаны-то подбери... штаны сползли, а он о тракторе... – произнес Степан и, наклонясь над Николаем, тихо спросил: – Ну, что, Коля? Эх, хоть сквозь землю провались!

– А я-то что?... Видишь, все меры принимаю.

– Чего медлишь, Колек? – послышался голос Чижика.

И толпа прорвалась:

- Узду, что ль, не накинешь?
- Давай поможем.
- Аль ты сам, Степан, впрягись и пошел.
- По холодку-то пошел да пошел.
- Ого-го. Гляди, граждане, на представление.
- Вот это спектакля!

От мужицкого хохота Степан, как-то весь оседая, опустился рядом с Николаем бормоча:

– Эх, Коля, Коля!..

– Поломка, должно быть... а где, не пойму, – желая успокоить Степана, проговорил Николай и посмотрел в радиатор.

– Хе-хе, поломка, слышь. Видали, граждане? – Чижик повернулся к толпе так, как будто она ждала его слова. – Ломатели, пенек им в нос.

Николай зло окинул мужиков взглядом и полез под трактор. А из толпы снова полетело:

- Брюхо у него, должно быть, не в порядке.
- У кого?
- У трактора.
- За фельдшером послать... аль за повитухой?
- Порошков ему дай, Степан. Порошков.
- Две тысячи вбухали, а-а?!

Разжались тонкие губы у Плакущева Ильи:

– Две тыщи? Они трешника не заплатят.

– Разве вон с Давыдкиной лысой башки клок волос, – подхватил Чижик и, довольный своей остротой, громко засмеялся. – С лысой башки клок волос. Вот это да!

– Граждане, – начал, волнуясь, Яшка Чухляв, – зачем ржете-то?... Может, и правда, какая беда?

– Знамо, беда: купили пахалку, а она – махалка... Ну, поглядели, мужики, что есть коммуна. Айдайте теперь по домам. Своих хреновских коней запрежем да на пашню. А эта коммуна еще долго тут будет – наглядимся, – процедил Плакущев и первым тронулся с «Брусков». За ним, галдя и тесно сбиваясь на узкой колеистой дороге, двинулись и широковцы, как цыплята за клушкой.

– Вот я и говорил, – обрадованно прокричал Шлётка, выбегая наперед, семена перед Плакущевым, давая этим знать о своих утренних делах. – Вот я и говорил... не пойдет... порази меня гром, не пойдет, – и казалось, у Шлётки не хватает только хвоста, а то он совсем бы походил в своем рвении на услужливую дворняжку, прыгающую перед хозяином.

Плакущев окинул его смеющимися глазами.

– Да ты уж, что и говорить... отгадчик.

Толпа уходила, унося с собой смех, гоготание, перешептывание. На месте остались только Яшка Чухляв да Никита Гурьянов. Никита как будто только теперь разглядел, что перед ним действительно трактор: обошел его несколько раз, потрогал колеса и тихо проговорил, ни к кому не обращаясь:

– Железные? Эх, вот дьяволы... а землю примять он не может? И хлеб не прокоптит керосином?

– Прокоптит! Уйди, – Николай толкнул его ногой и выскочил из-под трактора. – Кто-то тыкал тут... вы... караульщики! – Затем быстро повернул ручку трактора и, мельком глянув вслед уходящей толпе, быстро вскочил на сиденье.

Трактор взвыл, заревел – завозился так, словно собирался со всего разбега перепрыгнуть через рытвину, но, взнузданный седоком, горячась, весь задрожал, затем отхаркнулся клубом дыма, чуточку подпрыгнул и всей своей тяжестью двинулся вперед, врезываясь двумя стальными лемехами в землю.

Рев трактора снова рванул широковцев. Они кинулись назад, и разом из сотни грудей вырвались одобрительные возгласы.

И все смешалось...

Люди взметнули сухую землю, бились друг о друга, люди стремились протискаться поближе, – уставя глаза только в одну точку – на стальной лемех, на свежую борозду, сливая свои голоса в один гам. Степан Огнев бежал за трактором; взмахивал руками, как мельница крыльями, мелькая на утреннем солнце синей, пришле-панной к спине заплаткой, и что есть силы кричал:

– А ну-ка, милай, докажи! Докажи, милай! Крой, Коля, крой! Ну-ка рвани!

И казалось – шел не трактор. Казалось, Николай Пырякин сворачивает гору в каменных глыбах. А шел всего только трактор. Он – огромный сизый жук, – ревя, уже обегал заросшую пыреем канаву. Впереди него, пересекая путь, тянулись две колеи старой дороги. Они вились из-под Волги и напоминали удавов, лежащих на припеке утреннего солнца.

И широковцы пристыли на месте.

Чижик же задвигал на голове картузом:

– Ну, это ему не взять... Не взять дорог.

Не успел Чижик закончить своей мысли, как свистнули лемеха, и трактор заревел, зарычал, попер дальше в гору, ломая целину.

В реве трактора гудели мужики, щупали, измеряя борозду:

– Эх, пять вершков!

– Шесть!

– Вот это дерет!

– До новей достал!

Но Чижик и тут не унимался:

– Пашет-то он гоже, слова нет. Да уж больно тихо идет. Это на лошадах спорнее.

– Гуляй-ка за мной, – предложил Николай.

Чижик оторвался от толпы, пошел за трактором. Николай улыбнулся, глянул через плечо и пустил трактор на вторую скорость. Чижик сначала вразвалку зашагал рядом, потом поддал шагу, выскочил на целину, семена рядом с трактором.

– Мне это что... я, и не поемши, обгоню.

– А ну... а ну, – Николай вывел трактор на равнину. Чижик вприпрыжку кинулся за машиной, путаясь ногами в пахоте.

– Не отставай!

– Гляди, убежит!

– Да кого выбрали... Пускай вон парень какой бежит! – понеслось из толпы.

Чижик, слыша советы, выкрики, понимая, что борется с трактором не в одиночку, что за его спиной стоит все Широкое, что провал – удар по всем, кинулся, стараясь заскочить вперед, но, добежав до поворота, задышал, как лошадь под тяжестью в гору. И, смахивая пригоршней пот с лица, еще веря в себя, в свои силы, не сдавал, хорохорился, что-то бормотал.

– Подогнать, что ли?! – крикнул через плечо Николай и быстрее пустил трактор.

– Нет. Устанет. Гожа, – ответил неожиданно для всех Чижик и со всего размаху бросился в мягкую пахоту.

Толпа покрыла хохотом бой Чижика с трактором, а трактор вновь заревел, зарычал, поднялся на возвышенность и убежал на другой конец «Брусков».

Тихо, ровно змейка, вполз в толпу Егор Степанович Чухляв. Огнев заметил его и тронулся к нему. Мужики расступились и замкнули их обоих в круг, напряженно следя за каждым их движением, как следят люди за борцами, когда те сходятся.

– Ну... Кто кого? – и Огнев мотнул головой на трактор.

Чухляв долго молчал, щуря кошачьи глаза под белобрысыми бровями. Затем весь встрепенулся, точно его кто кольнул, и, сунув глубже картуз на голову, прохрипел:

– Посмотрим-ща. Не хвали кашу, коли просо не посеяно, – и, заложив руки за поясицу, двинулся из толпы. – Пустите-ка... Столпились.

Мужики молча расступились и долго смотрели, как шагает он напрямик через «Бруски» в Широкий Буерак.

И всем показалось – руки на поясице у Чухлява крепко перевязаны.

Звено восьмое

1

Катят годы в гору иль под гору – не разберешь, куда они катят. Стареют в порядках избы, к земле никнут, а углы гнилушками – майскими червячками – светятся в вечер.

Потеха ребятам: бегают они по задним порядкам, пугают девок гнилушками. Визжат девки. Визжат, будто с перепугу, да в визге-то у всех, – испуг желанный. А старики свое ворчат:

– Гниет все... труха.

Гнилые избы растаскиваются, на их месте вырастают новые, сосновые, смолою пахнущие. Кто новую избы в порядке построил, а кто и в старой век свой доживает, – под окном сидит, на мир, как кот, смотрит. Это бы ничего! Жили – и деды, и прадеды в гнилых избах жили, белого хлеба не видели, отдыха не знали. Это бы ничего. Лишь бы года не перепутались, лишь бы они в разные стороны не побежали. А в Широком – года будто перепутались. Не разберешь – где что. То все текло, как река у Шумкина родника, как Волга – в зиму ледяной корой заковывается, в лето – брагой бурлит у крутых берегов. До этого все шло в одну сторону – и думы и помыслы: с обычаем прадедов считались, чтили прадедов заветы и, умирая, молодым наказывали:

– Через какой порог отец твой шагал – и ты шагай. А тут все перепуталось.

Куда метнуться? Знать бы. Ведать бы.

А широковцы одно знают: за околицей, на «Брусках», где раньше в зарослях полыни валялся красный камень, где барин Сутягин жил, – на «Брусках» второе лето поет трактор свои моторные песни. Там не шлепает бороздой мужицкий лапоть, не омывается земля потом и в гуле не слышно песни жаворонка.

Большой ли дорогой, рубежом ли, через буераки идут широковцы – на чудо-машину глаза пялят, корявыми руками пахоту щупают:

– Где лошадям пахоты такой добиться? Где?

– Вот бузует!

– Покряхтывает только¹.

И у кого-то застряла в голове моторная песнь, у кого-то думы иные родились. С этими думами носятся, у завалинок шепчутся, – так, вскользь будто, будто между прочим, а слух ползет из двора во двор – тревожит. А вечерами на утесе Стеньки Разина под тальянку девки и ребята горланят о сером жуке – тракторе. Девки и парни поют о тракторе, – и тот, кто, бывало, отворив окно, слушал песни о порке широковских стариков, – теперь слушает иную песнь, дивится:

– Откуда?

– Кто научил?

– Чему не учишь – тому учатся.

Да откуда?

Эта мысль жжет и Кирилла Ждаркина – не дает покоя. Третий год председательствует он. Третий год почет, уважение. Третий год дрожит над гнилой тыквешкой, ест ржанину, по примеру Плакущева, пшеничку бережет в амбаре, носит штаны посконные. Иссох – большая голова болтается на сухожильной шее, точно рукомойник на скрученном мочале. Зато – рядом с избой Маркела Быкова красуется шатровый домик Кирилла Ждаркина, а во дворе: коровка племенная, овцы, свинья и в конюшне Серко быстроногий – рысак в славе по округу.

Да вот и у Кирилла ералаш.

– Свою бы земличку иметь, – советует, сидя на камне у подвала, Илья Максимович. – На своей земле что хошь и как хошь, а тут покряхтишь.

Кирилл выкинул из подвала для просушки шестнадцатый мешок картошки, у двора насыпал огромную кучу. Намерен завтра отправить в город: в это время в городе продать выгодно. Хотел спуститься за семнадцатым мешком, да слова Ильи Максимовича остановили. Он искоса посмотрел на Плакущева:

– Со своей-то земличкой как бы опять на зады не отправиться?!

– Ну, чай, ты теперь в силе. Отправятся, у кого зацепиться не за что... А ты – ты в гору бегом пошел.

– Захар Катаев вон группой на Винную поляну хочет да – трактор. Это ловчее, пожалуй, будет...

У Плакущева под лохматыми бровями глаза сузились:

«Молод еще, – думает, – а сорвется – не удержать. В эти годы срыв – беда», – и он встал, похлопал Кирилла ласково по плечу, будто бабу любимую.

– Дружок ты мой, ну, что те мирно-то не живется? Народ к тебе в полном уважении, а ты – вон чего, шумишь. Мирно живи, с осторожной. Да и то заруби – под лежащий-то камень вода не течет, – но тут же спохватился: велит мохом обрасти. – Не то хотел. Хочу сказать, вот метлу переломи... А-а? Не переломишь? Развяжи ее – шутя.

– Старинка!

И тут же припомнил Кирилл: несколько дней тому назад снова поймал его Степан Огнев. «Строю, – сказал, – то, за что кровь проливали. А ты?» А Кирилл что? Что ответить? Действительно – бабу он себе нажил, Зинку. Раздобрела баба: зад, что седло хорошее. Ну, еще? Еще – коня нажил. Еще – дом шатровый. Еще – огород. «Эх, за это воевали?... В болото носом сунулся, товарищ Ждаркин, в болото».

– Старинка, – еще раз кинул он Илье Максимовичу, – в затылок глядеть. Привыкли вы зубами землю царапать... зубы повыкрошили, а все за это.

– Ты, – даже чуточку подпрыгнул от неожиданности Илья Максимович, – про народ-то не говори! Не говори про народ-то. Знаешь, его от себя упустишь – тогда трещать нам с тобой... Не трожь, а послушай.

– Кирилл Сенафонтыч, – заговорила, подойдя ко двору, вдова Дуня

Пчелкина, – войди в мою сиротскую долю. Ребятишкам жрать нечего... Картошки дай. Своя уродится – отдам.

У Кирилла злоба:

«Что лезут все? Я ж ни к кому не лезу... А эти лезут... Лодыри... Леня посеять да приберечь».

Чтобы отвязаться от Пчелкиной, выбрав с десятков полугнилых картофелин – подал.

– Эх! На-ка, обожрись! – И картошка с треском разлетелась под ногами у Кирилла. – А еще бают – коммунист! Ты-ы на кого копишь? Ни детей, ни чертей, а копишь... В могилку заберешь?... Копи, копи, а я победнее к кому пойду... Кулачок новоявленный...

– Ты... Ты этого не можешь... не смеешь, – крикнул было он, но в эту секунду у него внутри все оборвалось. Он миг стоял, будто оглушенный, затем пинком ноги открыл калитку и крикнул Зинке:

– Лошадь запряги, картошки наложи – и Пчелкиной...

– Батюшки! Что ты это... аль...

– Отвези, говорю!

– Чай, как не отвезла! Я-то лето спинугнула, гнула...

– А говорю – отвези... Ну!

Из конюшни Серка быстрого вывел – взмахивает на дыбы Серко, играет. Одернул его Кирилл, в телегу впряг, а Зинка в телегу руками вцепилась, взвыла:

– Не дам! Не дам, и не дам, и не дам!

И в Кирилле поднялась такая злоба – на себя, на телегу, на лошадь, на Зинку, что он, даже не давая себе отчета, наотмашь и со всей силой впервые ударил Зинку.

– Кирюш! – вскрикнул Илья Максимович и зашатался.

2

Потом Кирилл долго успокаивал Зинку, просил прощения, Зинка плакала, захлебываясь в слезах, а когда ушел Илья Максимович, утянула Кирилла в сенник...

Из сенника он вышел измятый. Долго стоял перед кучей картофеля. Затем отряхнулся, сплюнул, сказал:

– Позови кого... Ну, Митьку, что ль, Спирина. Пускай картошку в воз насыпет.

– А ты?

– В совет мне...

От своего двора Илья Максимович видел, как он спустился под гору и

огородами пошел в край села. Илья Максимович склонил голову:

«...Что? Бился... За «Бруски» бился! Огнев «Бруски» крепко в руки забрал... Теперь с ним биться – все равно что в небо орать... Толку от этого?»

И этого мало – заовраженские взбудоражились, а за ними конец Кривой улицы потянулся. А Илья Максимович на своем крепко удержаться хочет, в свой порог крепко ногами уперся. Свой порог – община. В общине Илья Максимович, как щука в реке. А тут толкают... трещит все... И делать что-то надо – надо что-то?

Поднял голову и долго смотрел в сторону «Брусков».

А к вечеру и в Кривой улице поднялся переполох – собирались мужики у дворов кучечками. Накаливалась Кривая улица. Старики тыкали бородами в землю, рассыпались в говоре молодые – особо те, кто только в прошлую осень женами обзавелся.

– Молокососы вы... Молокососы, – кидали им.

– А у вас дерьма в голове больше всякого.

Никите Гурьянову Илья Максимович мысль подал:

– В зародыше Кирькину канитель похоронить.

Никита, будто кабан, ощетинился, без шапки носился от завалинки к завалинке и топтал начатое:

– С четырехполкой земли меньше! – уверял он.

Ему доказывали, чертя палками на земле: больше.

– Коров пасти негде будет! Бабе за подол не привяжете?

– А полынью коров накормишь? Они у нас, кроме полыни, пыль еще глотают.

– Четыре пруда рыть в полях доведется. Где прогон на водопой?

– Пророем.

Не брало. Тогда Никита на другое перемахнул:

– Это Кирькина затея. А Кирька рехнулся. Не видите? В дедушку Артамона он. Тот вот – припомните-ка – тоже начал с водопровода: воду в улицу из Шумкина родника провести хотел. Дива-а!.. И этот. Ну-ка, чего задумал? Допрежь в Гнилом болоте возился, а теперь всех Поделить. Башкой тронулся.

Да, широковцы припомнили, Артамон действительно помешался на водопроводе. Еще Артамон предлагал Шихан-гору прорыть.

– Там есть счастье народное, – говорил он, – там оно закопано. Пророете – реки медовые потекут, берега у рек кисельные, и вообще.

Это подействовало. Это подхватили бабы и понесли по порядкам. Эта молва до Зинки докатилась. Зинка метнулась по улице – у Степана Огнева в избе за столом нашла Кирилла и со всего разбега на шее повисла:

– Милай! Брось, милай! Степан Харитоныч... Батюшка... Не втягивайте вы его.

– Да что ты? Горит, что ли, кто? Зинка! – Кирилл схватил ее за плечи.

– Люди, люди говорят... люди-и-и...

У Кирилла вспыхнула тревога, как на фронте в момент наступления.

«Ну, начинается, – подумал он, и тут же схлынула тревога: – Этого надо было ждать, раз в бой идешь. Примем бой».

– Да что говорят-то? – вмешалась Груша.

– Про дедушку Артамона... И с Кирькой, слышь, это.

– Эх! – и Кирилл неожиданно расхохотался. – Это дела твоего тяти: он подмутил кого-никого... Ты вот садись. Плюнь на все.

Ласково (ни разу еще так ласково не обнимал он Зинку при народе) обнял, посадил рядом с собою. за стол.

На столе самовар пыхтел. За столом, рядом с Яшкой, Стешка, около Стешки – мать, а Степан с Кирилла глаз не сводит.

– Зинаида Ильинична, выпейте-ка стаканчик чайку, – потчевала ее Груша и ближе подвинула стакан крепкого чая.

– Вы настоящий пьете? – спросила Зинка. – А мы малинки вон засушили.

«Понесла, – в злобе мелькнуло у Кирьки, – как заговорит, так хоть от людей беги». Он сердито и пристально посмотрел на Зинку, потом невольно один миг глянул на Стешку. У Стешки от еле уловимой улыбки кривились сочные губы. Кирилл дрогнул. Еще раз глянул – вот она, через стол, а не достанешь... Поздно достать.

– Так и начнем, – продолжал Степан: – Ты тот конец – Курмыш с Бурдяшкой – себе в группу забирай, а этот я возьму в переплет. Да легонько. Мужик не любит нашу прыть. Исподволь его бери. В артель бы тебе пойти. Да и то – погодить лучше. Там будь, в общине. Ты с Захаром с одного конца, а мы с другого. Вот мину и подложим.

Поздно вечером, пожав крепко руку Степану, Кирилл с Зинкой шли домой.

– Киря, – прервала его думы Зинка: – Ты нонче ложись в избе. Холодно на сеновале-то...

– Ладно... Лягу...

– Куда ты?

– Ты ступай домой, а я вот схожу к Захару Катаеву. Крупным шагом он пересек улицу и в темноте спустился в Крапивный дол.

3

Дрогнули утренние зори и, отряхивая помятые за ночь свои разноцветные юбки, побежали в разные стороны, прячась в холодной росе широколиственного дуба и густого маличника.

Из-за Шихан-горы выкатилось солнышко, улыбнулось полям, лесам, длинными лучистыми пальцами заерошило соломенные крыши и неслышно застучало в синие стекла изб. Со дна Крапивного дола, из-под кургузого лопуха и крапивы лениво поднялись туманы и нехотя поползли в гору, путаясь кудерьками в верхушках ивняка и дикой яблони.

Широкое проснулось.

У Маркела Быкова отворилась калитка, и одна за другой девять свиней, болтая длинными грязными ушами, похрюкивая, кинулись на зады.

– Пашка! – прогнусил Маркел, выбегая на крыльцо. – Гляди, пес, свиньи! Ушли свиньи!

Павел, сын его, елозил по двору и щепкой окапывал нарисованный на земле след огромного лошадиного копыта. На крик Маркела он поднялся, засмеялся, ткнул рукой:

– Во лошадь... таку лошадь! Впрягу в телегу – с улицу... снопы – раз... и дома...

– У-у-у – дурак! Что буркалы-то вылупил? Гляди, вон свиньи ушли. Беги!

Павел показал отцу большой красный язык.

– Ах ты, образина. Я вот тебе! – Маркел чуточку подался вперед.

Павел двинулся за свиньями, а Маркел медленно, будто пробуя ступеньки, сошел с крыльца и, глядя через плетень на то, как шагает Павел, ворчал:

– И за какие грехи господь бог послал тебя, урода? У людей – дети, а этот – образина, пра, образина... Вот опять стал. Пашка! Я вот выду, я вот выду! – крикнул он, грозя кулаком.

Он еще некоторое время смотрел на улицу, затем ушел под сарай, сел на верстак. Склонил голову. Волосы, подстриженные в кружало, свисли в одну сторону. Казалось, ржаной сноп комлем вниз на голове у Маркела.

Припекало утреннее солнце. Гудело в людском говоре, в мычании коров, в крике телят Широкое. Откуда-то издали мягко стелился зов колокола.

«Должно быть, в Никольском, – подумал Маркел, – девять верст, а слышать... нам бы такой... а то дребезжит у нас».

Долго слушал звон.

Несколько раз из избы то за хвостом, то за водой выбегала Улька, жена Павла. Маркел думал:

«Баба-то ведь какая... молодайка... с такой бабой до удушья бы работал... в радости да со сноровкой... А он нет – вон копыто какое начертил... Эх!»

Там, где теперь Заовражное, когда-то шумел непроходимый сосновый бор. Даже в безветрие далеко неслись его глухие раскаты, а в бурю бор рычал – с раздирающим криком ломались слабые сосны, падали на спины других. А в низинах, в яминах под навесистыми липами – мокли топи, лоснились омуты.

Сюда-то вот, в этот непроходимый сосновый бор, с верховья Волги бежали староверы Быковы. У Белого озера, в горе, меж толстых стволов сосен, понарыли землянок, понаделали келеек и промышляли молитвой... и разбоями.

Долго таким делом промышляли. Расплодились; парни себе из далеких краев жен понакрали, девки женихов понавезли, и в сосновом бору появились иные звенья. Тесна оказалась ямина у Белого озера – молодые за реку Алай переселились. Жили... Молодые обрастали бородами, старики горбились, в глушь бора забивались – предавались богу, оставляя молодым завет:

«Волю не теряйте... по писанию живите... и себя не забывайте... а в старости... отомлитесь...»

Маркел Быков от церкви православие перенял, от предков – сноровку, глаз: молодой когда был – легким делом занимался. Соберет, бывало, артель из мордвы, татарья, оглобли у саней обожжет, ударится в края хлебные – на погорельцев собирать. Глядишь – через месяц-другой в Широкое с деньгами заявится. Об этом будто забыли широковцы. А может, и не забыли, часа только ждут, камень за пазухой держат: «Кусочник, мол, ты – и больше никто».

А о том, что Маркел еще знался с татаринцом Исайкой-конокрадом, вовсе не знают широковцы. Да и сам Маркел старается забыть. «Был грех, да и нет его, да и в памяти его не след держать... не то люди прознают – на старости лет башку свернут».

За такой грех Маркел уйму свечей перед иконой Георгия Победоносца поставил. И считал – богом грех давно прощен, чист Маркел перед богом. Пускай только люди не знают, не ведают, а с богом Маркел сторговался... Больше: в услужение к богу пошел – старостой церковным заделался. Даже тварь божью оберегал: спасал ласточек от ребятишек...

– Ласточка – это небесная птичка: она хвалу вышнему несет...

И немало рвал Маркел уши ребятишкам за разорение ласточкиных гнезд, гнуса при этом:

– Ломайте вон чирикины, – воробья чирикой звал, – они, чирики, гвозди таскали на распятие Христа... А ласточка – небесная птичка.

И шло дело у Маркела. На селе уважают его. За что уважают – знает Маркел: за крепкое хозяйство, за полные хлебом сусеки в амбаре, за ктиторскую службу да еще, пожалуй, за осанку и за то, что он на свою копейку ограду у церкви возвел, зеленой краской покрасил. Доволен и Маркел... Да одна беда колодой висит на шее: дети не в него пошли. Старший, Михаил, уже совсем давно в Красную Армию ушел. Теперь красном. В Москве живет. Гордится им про себя Маркел, да и то: «Для хозяйства теперь Минька, что шовях коровий». Второй же сын, Павел, ростом – богатырь, в Маркела, а головой в дурака. Года два назад женил его Маркел – хорошую девку на селе взял, Ульку. Она хоть и вдовья дочь, да работающая, певунья, и как баба – калач. Думал: «С бабой поспит – образумится парень». Ан без толку. Павел, как и до женитьбы, орет песни, за собаками гоняется, на колокольню лазит звонить, – вот страсть, – да еще отцу грозит:

– Удушю тебя, кобель!

«Что с ним делать, с уродом? Возьмет и задушит», – думал Маркел.

На улице, в переулке, завизжала собака.

– Ах, ты, – Маркел поднялся и через плетень крикнул: – Пашка! Опять с собаками?! Я те что сказал? Свиной загони! Вот я выду... вот я выду! – и двинулся к калитке.

4

Кирилл Ждаркин только что проснулся. Разбудили его стук Зинки в чулане, блеяние ягнят и визг уродца-поросенка под кроватью. Кирилл нехотя поднялся, надел красноармейские брюки, белую рубаху, сапоги, взял под мышку потертый брезентовый портфель, сказал:

– В совет я пошел!

– А ты поел бы, – проговорила из кухни Зинка.

Кирилл, не отзываясь, вышел на крыльцо. И тут же по лицу расплзлась улыбка. Чуть стянув на лоб картуз, он подошел к плетню, крикнул:

– Здорово, Маркел Петрович! Эй, не слышишь? Здорово, говорю!

– А-а? – Маркел повернулся от калитки. – Здорово, сосед. С утром добрым.

– Чего воюешь в рань такую?

– Привычка, Кирилл Сенафонтыч, покричать по хозяйству. Корова вон утром встает – мычит, а мы – кричим.

– По-коровьи, выходит?

– Все от них недалеко убежали. А ты что нонче в наряде, а?

– Я?

– Да, – Маркел оглядел его через плетень. – Чай, не я.

– Праздник нонче у нас.

– Хы! Какой это?

Кирилл подумал, потом наугад сказал:

– День конституции. Не знаешь? Это ежели бы царский день...

– Ну, не знаю! – Маркел усмехнулся. – Знаю! Ежели бы по конституции все шло – гожа бы жилось... Ленин с головой мужик был – преподнес ее. Да у нас без головы... – и запнулся.

– Ишь ты, – Кирилл окинул его взглядом с ног до головы. – Ишь ты. Ну, а что москвич пишет? Говорят, он там в каменном доме живет, на автомобиле катается?

Маркел подошел ближе.

– Да что, не в свой хомут полез, сказываю... Жил бы с отцом – легонько да средненько, как мы вот, к примеру, живем... А он в каменный забрался.

– В каменном-то хорошо: не сгоришь.

Маркел глаза уставил в угол плетня, руки растопырил – вилками от сохи.

– Он каменный... да не его. Свой наживи. Плохонький, да свой. Ты, вон, к примеру, одни лапти имел, а трудился – дом нажил. А он что? Голый.

– Да ведь и служить надо.

– Служить! Чай, послужил, да и будет. Другие послужат, да и домой, а иные совсем не служат. Вот татары, они глаз себе проковыряют – хоть кривой век, а не на службе. А то ногу, а то мошну... и не берут.

– По конституции? – вставил Кирилл и громко захохотал. – Такая она у тебя – конституция?

Маркел оборвал. Оборвал хохот и Кирилл. С минуту они стояли молча, смотрели друг на друга.

«Опять смех, – говорили глаза Маркела. – Ах ты, шибздик!»

«Чучело», – говорили глаза Кирилла.

В избе заскрипела дверь, отворилась. В синеньком платье, с ведром в руке, с крыльца сбежала Улька. Блеснув голым плечом на солнце, она со всего размаху выплеснула грязную воду у плетня, а глаза вскинула на Кирилла.

Кол плетня задрожал в руке у Кирилла.

«Что это такое?» – подумал Кирилл и, переводя глаза на дымовую трубу, пробормотал:

– Да? По конституции, стало быть? А?

– Где плещешь? – заворчал Маркел на Ульку. – Аль места не нашла?!

– Сроду здесь. Ты что сорвался?

– Сроду, да не сроду... На язык-то больно востра стала.

– Сроду такой была. Ты что-о-о?

– Опять сроду?

– Сроду и есть... Во-от, погляди-ка на него, – Улька, понимая, на что разозлился Маркел, залилась звонким смехом.

Ее смех неожиданно подхватил Кирилл. Тогда Маркел, поддернув штаны, хотел было сказать что-то грубое, но повел головой вправо и остановил ухо на гаме. С речки ветром принесло – кричали люди, визжали свиньи.

– Что такое? Опять, никак, свиньи? – сказал он и побледнел так, что даже нос у него заострился. В следующую секунду он кинулся в калитку. Поднимая пыль старыми подшитыми валенками, он побежал к баням, а там на зады, к обрыву.

А Улька ловко вскочила на прислоненную к плетню старую колоду и вытянула белую шею.

5

Под обрывом у бань – топи.

Растет на топях кургузый ветельник, камыш махалками шепчет в вечер. В половодье ветельник и камыш илом заносит, а в лето на лбинках ил трескается, вонь идет из топей, и туча комара да мошкары там вьется. Зато свиньям блаженство в топях – едят они коренья, траву колючую, а в жару принимают свои свиные ванны: вразвалку в грязи валяются, блаженно хрюкают.

Года два тому назад Митька Спириин и задумал у себя за сараем, в топях, огород устроить. Лето целое ветельник глушил, второе лето глушил, навоз возил, землю, а в нынешнюю весну лунок наделал, огурцы посадил. Огурцы взошли. Тонкие плети пустили, зацвели желтенькими цветочками. А свиньи Маркела Быкова продырявили плетень со стороны бань, на огород забрались, все лунки изрыли, плети пооборвали.

– Ба-а-а! – заорал Митька и кинулся с колом на огород.

Видели Улька и Кирилл – мечется он по огороду, лупит свиней, орет Павлу:

– Поддай, Паня! Поддай, милка! Проучим давай. Ишь, домовой, развел чухчей, а смотреть некому. Поддай! Не пускай в дыру-то, не пускай!

Оскаля большие белые зубы, за плетнем, около дыры, Павел колом бил свиней. Только сунется свинья в дыру – Павел со всего размаху огреет ее, свинья – назад, пробкой. И, не находя выхода из западни, мечутся по огороду свиньи, визжат под ударами Митьки.

А над обрывом Маркел – руки в небо вскинул, орет:

– Пашка! Дурак! Пашка!

И перепуталось все на перекрестке у реки Алая – ругались бабы на бахчах за рекой, визжали свиньи, орали Митька, Павел и Маркел на обрыве.

– Вот чертушка-то, вот чертушка, – тихо засмеялась Улька. – Своих свиней бьет. Ну, не глупой ли, а? – она повернулась к Кириллу. – Ты подумай?!

Вот-вот брызнут слезы из Улькиных глаз. Затем она, одернув платье, прыгнула с колоды, подошла вплотную к плетню, тихо, точно жалуясь самому близкому человеку, проговорила:

– И за что только такую маяту несую, а? – и, спохватившись, отряхнулась, будто курица от золы, пошла к крыльцу бормоча: – Чего болтаю? Сама не знаю, чего болтаю.

– Улька, – неожиданно вырвалось у Кирилла. Улька остановилась, зло скривила нижнюю губу:

– Ну, что? Ну! Все вы одинаковы. – И медленно, переступив через бревно, – блеснули желтоватые от загара икры, – вошла на крыльцо.

– Не-ет, Улька! Постой-ка!

Она повернула голову. В глазах загорелись костры смеха. А у Кирилла выступили мелкие капельки на лбу. Он смахнул их рукавом, пробормотал:

– Жара нонче какая.

– Больно жарко, Кирилл Сенафонтыч, прямо беда, – и Улька боком приблизилась к плетню. – Ну, что?

– Ты... – заговорил он, протягивая к ней руку.

Улька качнулась, побледнела и шепотом, ровно боясь разбудить кого, проговорила:

– Ты, Кирилл Сенафонтыч, не трожь, не шути, не озоруй...

– Я... спросить хотел... Как сама-то живешь в замужестве?

– Аль тебе интерес? – Из-под загара на ее лице выступил румянец. – Хорошо! Гляди, все у нас есть: и коровы, и лошади, и хлеб. А у матери жила – на сухарях. Только душа болит. Знаешь, что... – и не договорила.

– А-а-а!.. Любезничаєте! В совет пошел, работать не хочет. В совет пошел! – На крыльце стояла Зинка и пронзительно кричала: – А-а-а! Любезничаєте! В совет пошел! Работать не хотел. А-а-а!

– Больно он мне нужен, твой Кирька! – Улька повернулась, лошла в избу, забыв у плетня ведро.

6

Увидав на обрыве Маркела, Митька юркнул в густую заросль ветельника, припрятал там кол и через минуту выскочил:

– Паша! Что ты делаешь? Убьешь свиней. Разве скотина виновата? Маркел Петрович, гляди, что сын-то делает. Убьешь! Паша! Уйди, уйди от дыры-то!

Быстро перескочил через плетень, выхватил кол из рук Павла. Павел остановился, заржал, затем рванул кол из рук Митьки, взмахнул им над собой.

– Что ты, что ты, Паша? – Митька запрыгал в топи по кочкам.

Свиньи с огорода повыскакивали в дыру плетня, взвизгивая, одна за другой, тропочкой, будто поезд – впереди паровоз, лопухий хряк, за ним вагончики, – кинулись на огороды к Крапивному долу.

На огородах возились бабы, старики-караульщики. Завидя свиней, они – с мотыгами, лопатами кинулись им навстречу. Свиньи с визгом наступали, путаясь в бабьих юбках, прорывая фронт, рвали плети тыков, сбивали с ног ребятишек, стариков. Чижик выскочил из шалаша, кинулся наперерез хряку и со всего размаха ударил его колом в переносицу. Боров сунулся в хилые зеленя, хрюкнул, потом задрогал ногами, выбивая из земли горошки молодого картофеля. А свиньи, обалдев от криков, ударов, потеряв своего жоака, кинулись обратно в Широкое. В эту минуту из-за речки и появился Маркел Быков.

– Маркел Петрович, – пожаловался Чижик, – кто-то, демон, хряка уколошил! Во-от – гляди... Ах, и поднялась же рука на скотину! – и попятился в шалаш.

Бабы, ребятишки, старики окружили дрыгающего ногами хряка. Над ним,

бледный, втягивая в себя воздух, нагнул Маркел и глухо прогнусил:

– Нету ли ножа?

– Может, еще отойдет, – проговорил, выглядывая из шалаша, Чижик.

Кто-то еще тише добавил из толпы:

– Они живучи – свиньи...

– Нет уж... нож бы... – сдерживая слезы, попросил Маркел.

К толпе подошел Чухляв, глянув на хряка, сказал:

– Канительщики! Укокошили чужого борова. Свой бы, – и, согнувшись, пошел от конопляника.

7

Поделили чухлявскую избу. Тонкую перегородку поставили, а не прошибешь. За перегородкой Яшка со Стешкой. И в голове у Егора Степановича перегородки, запруды:

«Сын родной... отец родной... в одном доме, а в разных углах. Как жить? Рядом жить с родной кровью своей, а ей-то и слова не скажи».

Одернул рубашку Егор Степанович, в окно глянул, сокрушенно подумал:

«Что порядки какие? Сроду отец за детей своих в огонь, аль куда, и нет того, чтобы дети за отца».

И видит Егор Степанович – у двора куры возятся. Чужие куры, Николая Пырякина, смешались с курами Чухлява... зернышки собирают, чепуху разную – и ничего. А ведь чужие. Не из одного гнезда.

– Эх, – крякнул он и ушел в заднюю избу. Через окно видит – и все-то на ум лезет, – у плетня стоит рыдван недоделанный. Думал Егор Степанович третью лошадку купить, рыдван по этому случаю заказал, мордвина пригласил на уборку в лето. Пришлось мордвина прогнать. Не ко двору пришелся? Нет, чего там. Какой там мордвин, коль в доме перегородку устроили.

– Мужик, завтракать, – позвала Клуня. – Нонче лепешки, любишь ты их.

– Где Яшка?

– У сватов, видно. Утрось еще ушли... Ну, что, не отошел хряк-то у Маркела?

– Вот зачастили, ненароком, видно...

– Он, хряк-то большой был, пудов на двенадцать поди, – старается отвести разговор Клуня и ставит перед Чухлявом лепешки.

– Эх, старуха, – видя ее хитрость, говорит Чухляв и жметесь, думает: «Вот мерзну. Чуть холод – мерзну. Чего ждал, того нет, а это вот прикатило. И отчего все так... коверкается, ломается?»

Ладить хотел все Егор Степанович, ладить так, чтобы и скрипу не было. А оно – везде прорывы: латай, не латай – все одно.

Откуда-то из седой дали выплыло: молодой, удалой парень Егорка Чухляв, буйный, ералашный, цепкий.

«Ну, и Яшка, – думает Чухляв, – моей закваски. Гляди, вдвоем-то бы чего. наделали. Сила у него есть, сноровка есть, язык не зря повешен: гляди как на днях Плакущева обрезал, тот ажио завертелся, как собачонка от удара... Эх, перевернуть бы все задом наперед – назад бы года сбросить, жить с переду начать, зная, где овраги, где буераки, а где и бегом можно. Только бы жить начать обратно. Не начнешь. Года – это тебе не шашки на счетах. Шашки – взял прибавил, взял убавил. А вот года – сил уж тут никаких нет». – Егор Степанович глубоко вздохнул и проговорил:

– На Афон-гору уйти? Бают, Афон-гору срыли...

И тут же рассмеялся зло, вспомнив, как вчера, поздно ночью, за перегородкой скрипнула дверь и кто-то вошел на Яшкину половину.

– Тише, Аннушку разбудишь. Эй, ты-ы! – слышался голос Стешки.

– Вишь... разбудишь... Мы, бывало, под колоколами спали – и то ничего. А это – не пикни... Благородие ваше.

8

Это не белый меловой с изрезанными обрывами берег. Это солнце. Его много, – оно льется сверху потоками, избыточно звенит, заглушая всплески воды, дуновение игривого ветра. А в солнце, ближе к Волге, расстегнув ворот рубашки, на руках с Аннушкой стоит Яшка и смеется. Аннушка лепечет, тербит его за ухо, а он отбивается, отклоняя голову:

– Не дури, деваха, не дури... Ты вот гляди, мать-то!

Будто белуга, барахтается Стешка в Волге. Она вытягивается, бьет ногами-плавниками, и там, где она бьет, взлетают столбы брызг, клубится пена и, точно молодой ледок, несется вниз, тает. На воде белым пятном зыбится спина Стешки, а по спине вверх, по хребту во всю длину вьется сизая бороздка... и когда Стешка, по-мужичьи взмахивая руками, кидается вплавь от берега – бороздка на спине изгибается и, кажется, ползет к надплечью. Яшка смотрит на Стешку, на ее сизую бороздку, на извилины тела – и смеется.

– Ух, Яшка! – кричит Стешка. – Яша! Вода-то какая... У-ух! Ты посади Аннушку, а сам плыви... И скорей.

– Катай! Катай! – отвечает Яшка и, усадив Аннушку на берегу, подбрасывает ей камешки – синие, красные, пестрые, скользкие, оглаженные водою, омытые. – Играй, деваха... играй, – говорит он и хочет стянуть с себя рубаху.

Аннушка руками загребла камешки, в рот сунула.

– Э-э, деваха... Это не едят... это тебе не пряники... Подавиться можешь, – и опять смеется, уже раскатисто: – Что? В рот не лезут?... Рот, значит, мал! Ничего, подрастет.

А с Волги громко, звучно, призывно:

– Я-ша-а-а!

– Сейчас! – Яшка смахнул с себя рубашку, шаровары и со всего разбега, подпрыгнув, ядром метнулся в Волгу. Столб брызг вырвался из воды, мелькнул на солнце. Яшка вынырнул и, разрезая гладь реки, быстро нагнал Стешку.

– За мной, Стешка! За мной!

Две белуги вытянулись наперерез Волге. Они уходили все дальше и дальше, оставляя после себя кудрявый след пены. Через несколько минут скрылись из виду белые спины, и только две головы, будто баканы вдали, колыхались на просторах реки. Они покачивались в водяной колыбели, уносясь все дальше, вниз по течению, к песчаной рябоватой косе.

– Не отставай! – гулко, отчетливо, низко над водой пронесся призыв Яшки.

Еще дальше. Уже не баканами, а двумя точками двигались две головы. Но вот они замедлили движение, одна из них – передняя – высунулась из воды, следом за ней выделились плечи, потом поясница – и вот уже все сбитое, упругое тело Яшки заблестело на берегу косы. За ним вышла Стешка... и двое – молодые, сильные – побежали вверх по песчаной отмели, остановились на конце ее, и тогда опять приглушенно, призывно понеслось к меловому берегу:

– Аннушка-а-а!

Затем двое – нагие люди – в обнимку скрылись за песчаными дюнами.

Обратно они плыли медленней, тише, не желая расставаться с песчаной отмелью, с горячими от солнца дюнами, с безлюдьем. Яшка лег на спину, а Стешка резала воду боком – и они оба, голова в голову, двигались одинокие на солнечной постели – туда, где на меловом берегу развалилась маленькая Аннушка.

– Стешка... а ежели его назвать Солнышком? Ты понимаешь, нонче я больно солнышко почувал. Вот оно какое... сказать не знаю как.

Стешка хохотнула, зарылась лицом в воду, но оно все же горело материнским стыдом...

– Что?... Думаешь, над таким смеяться будут?... – Яшка подплыл ближе к Стешке и, несмотря на то, что на Волге никого не было, зашептал еще тише: – Ты только сынка теперь давай... дочка у нас есть...

– Закажу, – шуткой ответила Стешка. – Чудачок... Ты все равно что к сапожнику пришел... мне, слышь, ботинки надо, сапоги у меня есть.

– А ты не шути... ты постарайся... Приметы ведь какие-то есть.

– У-ух, Яшенька, – вскрикнула Стешка и метнулась от него, забила ногами, забурлила, подпрыгивая в воде, – сильная, бесстрашная мать.

И совсем недалеко от берега, там, где течение бурлит круговоротом, Яшка вымахнул, показалась его дубовая грудь, и – вскрикнув «о-оп!» – ушел под воду. На том месте, где скрылся Яшка, лопались пузыри да лениво таяла кудрявая пена.

Стешка рассмеялась, оглянулась.

«Где появится? Вон там? Нет, вот здесь. За вихор-то его сцапать. А может быть, вот здесь, подо мной? – она извивалась, ожидая под собой Яшку, и быстрее поплыла к берегу... И уже совсем вблизи у берега у нее тревожно сжалось сердце. – Долго как... Чего это он дурит? – Она остановилась, плавно поводя руками, еще раз посмотрела на то место, где нырнул Яшка: там было спокойно, даже кружевная пена и та растаяла. У Стешки вдруг заколотилось сердце, и она рванулась к берегу...

– Ох, батюшки... Яша-а, – и еще пронзительней: – Яша-а!

Руки онемели, их будто кто крепко держит под водой, не пускает... А берег недалеко – вон, всего несколько саженей, на берегу Аннушка... Она развалилась... греет бочок. Аннушка! Яшка!.. Нет, надо напрячь все силы... Все силы... Вот так, взмахнуть руками, кинуться к берегу. Ну, вот ведь, рядом. Рядом.

Стешка опустила ноги, дно прощупала, а вода по губы, плещет вода в открытый с перепугу рот. Стешка запрокинула голову, а течение несет, не удержаться на ногах.

– А-ах! – вскрикнула она, оттолкнулась, поплыла... а время будто целый год, целая вечность. – Яша-а-а-а! – и протяжно: – Батюшки-и! Лю-юд-и-и-и!.. – И Стешку охватило отчаяние: работая руками невпопад, точно они у нее были спутанные, точно она впервые попала в воду, она ныряла к берегу и все кричала – пронзительно, надрывно: – Батюшки-и! Люди-и-и! Яша-а-а!

– Чит-о? – Яшка вынырнул у самых ее ног и, смахивая ладонью с лица воду, засмеялся. – Что ты?! А-а?

– Перепугалась... думала... долго ты...

– Родишь сынка?.., сказывай... а то!.. – наступал он.

– Уйди ты, – она оттолкнулась. – Яшенька!

Течением поднесло вплотную к ней Яшкино тело. Оно в воде прохладное, шелковистое, приятно-скользкое... от такого прикосновения у Стешки появилось новое, неиспытанное ощущение, и губы у нее тихо зашевелились, а глаза опьянели от новой радости... У Яшки на руках мускулы – канаты... Стешка на руках у Яшки – в водяной колыбели. Губы у Стешки раскрылись – жадные к радости, – в шепоте. Молча задавил Яшка своими губами Стешкин шепот, вскинул Стешку... На солнце блеснуло ее сизое от загара тело...

На берегу проснулась Аннушка.

9

По крутому, меловому, звонкому от солнца берегу они поднялись на «Бруски» и с возвышенности, таясь друг от друга, еще раз глянули на песчаную косу. Там еле заметно виднелись следы босых ног.

– Мы его про себя так будем называть: солнышко, – проговорил Яшка. –

Хорошо?

Стешка ничего не ответила, но по глазам Яшка определил – она согласна, и крепко обнял ее.

– А-а, вот и пара, гусь да гагара, – встретил их у костра Давыдка Панов. – Ну, скорее, а то уха к концу подходит.

– Не пара, а тройка, – поправил Давыдку Степан, – про гусенка-то ты и забыл. – Он потянул к себе Аннушку. – Вишь, гусенок какой, – и легонько похлопал Аннушку по животу, засмеялся, обращаясь к Николаю Пырякину: – Николай, полыхай на Буренке за трактором.

– Нет уж, отполыхались.

– Ты что нонче какой?

– О тебе речь была, – не отвечая Степану, обратился Николай к Яшке.

Аннушка схватила большую ложку.

– Ишь ты какая, – Степан надул губы. – Ты, слышь-ка, Анка, не работаешь, а большую ложку тебе подавай. Да, ребята, зовите остальных.

– Ваня! Эй-й! Айда! Уха готова! – позвал Николай, снимая с костра ведро.

Прямо через поле попер трактор, круто завернул и стал у костра.

– Ну, отдыхай, – кинул трактору Иван Штыркин и, присаживаясь к вареву, добавил: – Ну, и я малость наловчился. А благодать какая пахать на нем.

Люди у костра хлебали уху. Говорили про работу. Скоро к трактору нужно будет пристегнуть молотилку и пройтись по широковским гумнам. Говорили еще про своих баб. Такой разговор вызвала своим видом Стешка: она ела, наклонясь, поглядывая на Яшку, молча разговаривала с ним – и этот говор подметили артельщики и говорили про своих баб. Бабы поправились – не пилят теперь, не ругаются, а Катя, жена Николая Пырякина, помолодела – плечи у нее уже не торчат чекушками, и на лице улыбка.

– Смотри, Николай, как бы Катерина молодца себе не подцепила: ты против нее прямо-таки старик, – сказал Степан.

И еще намекали Николаю, как бы Катя в самом деле не родила.

– За тобой, Яков, – прерывая всех, проговорил Давыдка, кладя ложку на стол, – за тобой свадьба: ишь девку взял первосортную на селе, а втихомолку.

– Вот уберемся, – буркнул Степан.

– Сыграем свадьбу, дядь Давыд, – согласился Яшка. – Да и вообще... к вам мы нонча со Стешкой решили переправиться. Примете?

– Это надо подумать. Порассуждать, – и Давыдка отвернулся, скрывая улыбку. – Я о свадьбе, а он – в артель.

– Да-а... надо подумать об этом, – поддержал Давыдку Степан, намеренно насупившись.

– Ну, их, – встрепенулся Николай. – Сейчас только говорили: Якова бы в

артель заманить.

– Ну, вот, весь секрет сразу и выдал. Эх, Коля, Коля! Свадьба-то свадьбой. Да, вон, палит как, – добавил Степан. – У нас хлеб еще, пожалуй, выдержит, новь подняли. А у мужиков – горит все.

По полям разбросались широковцы, ковыряют землю плужками и сохами. Пена падает с лошадей хлопьями, а на стеках пыль ложится бороздками. Ходят за лошадьми широковцы, бороды воткнув в знойное, синее небо:

– Дождя надо.

– Без дождя вон как оно сохнет, – бормочет Чижик, шлепая по борозде лаптями.

У опушки на Сивке Плакущева пашет Митька Спириин. Свистит кнутом, на Чижику посматривает: курить охота, а табаку нет.

– Дядь Савёл, нет ли махры? – кричит он.

– Чего? Махры? – Чижик остановился, пощупал кисет с табаком в кармане. – Нету. Вся, пес ее возьми-то, – и тише добавил: – На вас не напасешься: давай только. Хахали!

Звено девятое

1

Никита Гурьянов несколько раз обошел поля и с каждым разом все больше горбился, сох. Вот и сегодня – еле ноги дотащил, у своего двора остановился, мутными глазами на поля глянул. По полям, будто в прятки играют, бегают, крутятся в скачке пыльные столбы.

– Беготня какая-то, – Никита зашевелил губами, похожими на ломти сухой тыквы, – и чего только бегают? Э-э-эх, – тяжело, с хрустом в груди вздохнул он. – Опять, видно, на лебеду доведется?!

– На лебеду бы ничего, – подымаясь с реки и опуская у ног лыки, забормотал Митька Спириин. – А вот как на мякину, тогда непременно умирать, – и рассмеялся звонко, по-птичьи. – А Огнев баил, в газетине пишут, к покрову аль ближе дождь хлынет.

– К покрову – сгорим.

– А может, и перепадет?

– Нет уж, раз оно с весны зажелезняло, хорошего тут не жди... Во-он, гляди, палит как.

Две бороды, – одна жиденская, сивенькая – Митьки Спирина, другая рыжая, лопаткой, с проседью – Никиты Гурьянова, – уставились в знойное небо.

– А я то думаю, Никита Семеныч, – нарушил знойную тишину Митька, – ямина наша заколдована есть. Гляди, как тучка появится, будто кто отметет ее на обе стороны: расколется и ну в разные края полыхать... Колдовство тут какое-то.

– Может, и это... А я то – горы вон виной всему. Гляди, три дня назад у

Никольских проливной был, а у нас сухмень... А всего-то ведь десять верст... Отчего? Горы виной... Примечай, как тучка до нас дойдет, ударится о Балбашиху аль о Шихан-гору – и марш в разные стороны... Срыть бы их, – добавил Никита чуть спустя. – Выйти всем селом и срыть... Аль прогалы устроить – дорогу... И тут Никита вспомнил, что все это когда-то говорил Артамон – дедушка Кирилла Ждаркина.

На горы смотрит Митька. Они лесистые, копытом окружили широковские поля, и кажется Митьке – появились прогалы на горах, по прогалам тучки понесли, будто из банной трубы смоляной дым. Ворвались тучки, дождь хлестнул ведром. Зазеленели поля, земля вкусно зачавкала, мужики повеселели.

– Да-а, – промычал он. – Только председателю нашему не до того: с бабой у него возня. Слышал – намеднись хлобыстнул, бают, ее наотмашь, а сам к Ульке, Пашкиной бабе, полез... Вот к чему у него...

Где-то на конце улицы монотонно плакал ребенок, орали ребята под горой на пруду, звонко стучал молотком о наковальню кузнец.

– Бают, и у Никольских сухмень, – Митька почесал руку. – А вот в Ермоловке пролил...

– Срыть бы их, – тихо проговорил Никита и повел ухом на крик из улицы.

В улице, рядом с колодцем, старенькая, как и сам дедушка Пахом, изба Пахома Пчелкина. Около избы мужики, а посередь них Пахом топчется, охает:

– Семьдесят третий тут живу, а теперь бросай, в чужую страну кати, а? Накось вот, бросай и кати!

Глазами обвел мужиков, остановился на Маркеле Быкове. Руку вскинул для торгашеского хлопка:

– Ну! Бери, Маркел Петрович! Не жалея, клади больше: добро тебе перейдет. Сколько же, а? Маркел Петрович?

Маркел убрал руки на поясицу, глянул вдоль порядка, на свой шатровый дом, потом на Пахомову избенку, прищурился:

– На кой мне ее? Я так думаю – пихнуть ее, и гнилушек не сберешь.

– Ты выручай из беды старика, выручай, – затараторил Митька.

– Подыхать мне, чую, – Пахом ударил себя в грудь сухим кулаком. – Неохота подыхать... А сам знаешь, не такие в черный год подошли, ежели к хлебу не ушли... Вот что... А то рази бы продал!..

– А ты проживешь, – добавил Митька, подойдя вплотную к Маркелу. – Вот и выручай... Место – Павлу аль Михаиле – вернется... Вот и выручай. Есть у тебя.

– Эка, ты, какой маленький! – Маркел даже оттолкнул его от себя. – «Есть, слышь, у тебя!» Ты вон продай вторую-то телицу. Зачем она тебе?... И купи! А-а?

– Да мне... – замялся Митька. – Да мы... Я ведь так, К слову. Так только... Знамо дело, где у нас?

– То-то и оно. А совет даешь – купи... Купи ты. Ну, – Маркел повернулся к

Пахому. – Тебя только выручать, три пуда.

– Три пуда? За избу?

– А то за что же? За бороду, что ль, твою?

Мужики уставились глазами в землю. За избу три удар. А Пахом встрепенулся, носком валенка в угол избы ткнул. Сверху посыпались гнилушки, в завалинке запищали мыши.

– Ты гляди!.. Гляди, углы какие. Сосна какая... Такой сосны теперь на краю Расеи не сыскать.

– Три пуда, – отрезал Маркел, – и то...

– За три? За три пуда не отдам... Сожгу, а не отдам! Своими вот руками сожгу, – Пахом затрясся, – а не отдам.

Со двора выбежала Улька. Приложив козырьком руку ко лбу и держа другой концы косынки на груди, она крикнула:

– Ей! Иди обедать!

– Жги! – прогнусил Маркел. – Жги, – и пошел на зов Ульки.

– Куда ехать-то хочешь? – опускаясь на корточки у завалинки, спросил Митька.

– В Кизляр. Племяш из Ермоловки в Кизляр зовет. Там, байт, все тебе – и виноград, и вино, а картошка – ее не сеют, сама родится.

Мужики задымили махоркой, держа сигарки в пригоршнях: сухмень – пожар может ментом. Слушали рассказы дедушки Пахома про Кизляр.

– В Китае вот еще, бают, жарену саранчу едят. Гожа, бают. Но до Китаю далеко.

Из-за угла вышел Степан Огнев. Воткнув лопатку в сухую землю, он некоторое время слушал рассказы Пахома, потом заговорил:

– На чужие могилки умирать собираетесь? На своих-то хуже?

– А что делать?... Делать-то что, Степашка? – Пахом стал на колени. – Ну, присоветуй, как от голода не подохнуть? Думаешь, сладкий мед – катить не знай куда? Э-э-э-э, – смахнул слезу. – Жалею вот – раньше смерть не пришла!

– Дела найдутся... Руки у нас есть, а дела найдутся... Давайте только сообща обмозгуем.

– Вы всегда чего-то болтаете, – мусоля окурок сигарки, Митька повернулся на корточках. – А толку от вас все равно вот что, – бросил окурок и грязной пяткой растер его в пыли.

– Зря ты, зря, – Пахом замахал на него руками. – У Степашки голова есть... есть голова...

Чем дальше, тем короче ночи, жарче палит солнце, давит небо пеклом исполосованную трещинами землю.

Чумеет в пекле земля.

Чумеют и бабы от надвигающегося голода, а мужики ходят злые по улицам, сидят у дворов, опустив длинные, жилистые руки. Иные лезут на крыши сараев, смотрят в небо – нет ли тучки?

Не шли тучки.

Где-то бегали, где-то, слышь, дождь проливной, а в Широком – сухмень.

И наступили тоскливые, мятущиеся дни и ночи. У каждого беда в жмых сжимала сердце, только текло не масло, текла густая мужицкая горечь и злоба.

Потом слух:

«В стороне – полтораста верст от Широкого Буерака, в Камышловке – у вдовы одной икона обновилась».

Сначала никто не поверил. Но когда обновление пошло полосой, когдановились иконы в Зюзине, Ермоловке, Болотцах, Илим-городе, когда слух об обновлении заползал совсем под ногами – в Никольском, – поднялись широковские бабы. Вечером, кутаясь в шали, тайком, будто на свидание к любовнику, бежали они – избранницы тетки Груни, жены Никиты Гурьянова, – за околицу на реку Алай. И там, где Бурдяшка уткнулась концом в Гнилое болото, собирались и, отмахиваясь от назойливого комара, молились на воду – просили у владычицы знамения.

А дни бежали жестокие, колючие, как ежи... Горели в полях хлеба, пересыхали речушки, худела скотина, и роями вились мошки.

Обозлились мужики – в глазах блеснул огонек волчий, в походке появилось что-то тихое, вкрадчивое, воровское. А у баб на лбах пошли шишки, на теле раны от укусов комара: седьмую ночь они молились на воду у Гнилого болота. Иные растерялись – поотстали, ровно измученные коровы от стада, иные на молении молча стояли – слезы лили старательно, крепко сжав губы, донимали владычицу. У Зинки веки опустились – хоть руками поднимай. У Зинки в спине боль, ломота, голова чугуном налилась, а Зинка все гнулась, про себя твердила:

– Перестрадаю уж... владычица пошлет... пошлет владычица, образумит Кирьку... – и крепко стучала лбом о берег Гнилого болота.

А тут другой слух:

– В Зубовке – тридцать верст от Широкого – одна святая дева семь ден мертвецким сном спала, на восьмой ангелы господни ее в церковь принесли... Народ, кто у обедни был, глядел на деву. У девы в одной руке кусочек мяса, в другой – трава зеленая. Мясо исцеляет от всякой болезни: хромой – пойдешь, слепой ежели – узришь. А траву возьмешь, в село принесешь – дождь польет.

В ночь у Гнилого болота Маркел Быков, возвестив о деве бабам, добавил:

– Идите, бабыньки, тридцать верстов по татарской дороге, не сворачивая, там

и найдете святую деву. Траву у нее возьмете да в село к нам – на поля наши... Да торопитесь, бабыньки, потому – травы той с неба отпущена малая толика, разберут.

И рано утром – еще пастух не успел проиграть в рожок и на зов рожка еще не откликнулся протяжным воем кудлатый пес Цапай – тетка Груня Гурьянова и Зинка задами, лесными тропочками направились в Зубовку за святой травой.

А к вечеру в Широкое зубовские да камышловские бабы пришли, перед црквишкской на колени пали, на коленях к паперти поползли, пели хвалу господу.

Сбежались удивленные широковцы.

– Чудо у вас, – выкрикивали бабы, – в церкви под самым крестом ангел вьется, а на паперти икона обновилась.

«Оно хорошо бы молящихся к церкви приковать... Да как бы нас Огнев с милицией не накрыл?» – подумал Маркел Быков и загнул на баб:

– Не кощунствуйте. Своих дур много.

3

Во время обеда, когда солнце, словно напоказ, палило землю и лошади, лениво отмахиваясь от мошкеры, забивались в тень, – с Шихан-горы спустились и через топи, тропочками подошли к Гнилому болоту тетка Груня и Зинка. Шли они медленно, повеся головы.

У Гнилого болота их встретили с расспросами бабы.

– Умерла дева, – неожиданно выпалила тетка Груня. – На осьмой денек умерла.

Бабы завыли, а ходоки ниже склонились, вместе с бабами тронулись в улицу. В улице перепутался плач с пением молитвы – оторвали широковцев от послеобеденного тяжелого сна.

Кирилл вышел на бабий вой, посмотрел, сплюнул, длинным железным засовом запер ворота и калитку, пробормотал:

– Попой вот там...

Ушел в сенник, лег на помятую шелковистую солому.

Пахло ржаниной, перепрелым навозом. За плетнем на огороде жужжал шмель, чирикали воробьи, а вверху, под крышей, лениво кружились мухи.

Со двора Маркела Быкова послышался грубый, монотонный голос Павла:

– Не ентай, вон ентай. Не ентай, вон ентай.

Кирилл поднялся, посмотрел в щетку плетня. Во дворе Быкова буланая кобыла в упряжке переступила через вожжу. Павел согнулся, кричит:

– Не ентай, вон ентай! Не ентай, вон ентай!

Буланка бьет копытом в барабанную сухую землю, уши приложила – не

понимает Павла, злится. А Павел свое орет, тыча Буланке кнутовищем в ноги:

– Не ентай, вон ентай... Ну-у-у!

Из-под сарая вышла Улька.

– Эх, головушка! Вожжи не можешь выпростать. – Положила руку на ногу Буланки, ласково проговорила: – Ножку, Буланка!

Буланка подняла ногу, Улька вожжу высвободила. Павел заржал, ткнул пальцем Ульке в высокую грудь.

– Отстань, сопля! – Улька наотмашь ударила Павла по лицу мокрой тряпкой, вбежала на крыльцо, передразнила: – Не ентай, вон ентай... Э-э, лягушка!

Ушла в избу. Павел долго возился около лошади; перекладывал вожжи, закручивал их на руке, садился в рыдван, вылезал, потом присел на корточки и кнутовищем начал чертить на земле огромное лошадиное копыто.

– Ох, – вздохнул Кирилл и вновь прилег на ржаную солому. – Вот отчего так? Отчего путы такие на человека? Права наш человек имеет путы рвать, а не рвет...

Панька дурак, Улька тут же... В могилку с путами на шее...

Мысли перепрыгнули на Зинку.

То, что Зинка сбежала в Зубовку, да еще украдкой, Кирилла обозлило. Сначала он думал – как только она заявится, сейчас же он предложит ей подыскать себе другого – с ним путь свой продолжать. Он твердо решил так сделать... Сначала хотел Зинке отдать корову, себе взять рысака. Корова племенная, корову сам Кирилл растил, чуть не на руках носил ее, когда она была еще теленком. Теперь в стаде его корова первая... Жаль было расстаться с коровой. Корову решил оставить себе... Зинке? Ну, Зинке овец... Да ведь овцы все Кириллом подобраны. За овцами он не раз ездил в совхоз за пятьдесят верст, а какой-то чужой дядя будет ими распорядиться... и непременно перережет всех племенных овец... Это уж обязательно. Нет, и овец он не отдаст... Он лучше сделает так: себе заберет (конечно, с Серком он до гробовой доски не расстанется) всю скотину, хлеб, а Зинке – дом... Пускай в доме живет... И тут же опять: сколько сил он положил на то, чтобы дом построить... Что, разве для кого другого он ночи не спал, горб гнул у Гнилого болота за десятерых? Иногда... да, иногда, может, нечестно поступал... А теперь кто-то должен в его доме жить, а он опять горб гни, ночи не спи – стройся... Нет, и дом Кирилл не отдаст... Что же Зинке?... Разводил руками. Зинка оставалась одна... Тогда и Кирилл почувствовал на себе лошадиные путы – только в кольцах ее лошадиные ноги, а так – в одном кольце Кирькина шея, а в другом – Зинкина. Кирилл тянет в одну сторону, Зинка – в другую... Вернее, Зинка не тянет – она стоит на одном месте и ждет, когда Кирилл перестанет метаться и они вновь вместе, радостные, как из-под венца, зашагают своей дорожкой.

Поравнявшись с домом Кирилла Ждаркина, бабы оборвали пение, зашептались и, словно мокрицы, поползли в разные стороны. Зинка торкнулась в калитку, сердце сжалось больно, рука дрогнула.

– Что это? Никак заперто? – и позвала: – Кирюша!

– Кто это там?

– Я... Чай, я!..

– А-а-а. Ну, помолись, может, господь отопрет, а я тебе не отпиральщик.

Зинка легонько заколотила кулаком в калитку. Ноги подгибались, от далекого пути зудела спина. Хотелось вот тут же у ворот упасть и крепко уснуть... Сначала она завывала тихо, потом громче, потом начала захлебываться.

– Не скули! Слезы твои меня не трогают. Злят только.

Плач оборвался. За калиткой – тихий говор. Кто-то перелез через забор, поворчал, открыл калитку...

Дверь сенника отворилась – вошел Степан Огнев, уселся в ногах у Кирилла.

– Ты чего лежишь третий день? Бабы на селе взбудоражились – молян хотят, и вообще народ не в себе, а ты на сололке валяешься? – и зло добавил: – Пороть тебя некому. Ну, чего молчишь?

– Пороть? Пороть найдутся, а вот рану кому полечить?

– Армия! – крикнул Огнев. – В армии давно бы тебя вылечили. На фронте не такие болячки были, а как комиссар вызовет – рукой снимет... Болячки у него... Да ты подумай, где болячка сильнее!.. Народ от жары гибнет, у народа все разрывается. А он про свою какую-то болячку – пупырок какой-то у него вскочил... Надо инициативу проявить, сгрудить всех, взнудать да совместно от голода рваться... а он под телегу полез. Болячка у него – с бабой поругался, теперь на сололке лежит... Эх, забыл, к чему Ленин призывал...

Сначала у Кирилла – злоба. Но потом, когда Огаев упомянул про Ленина, Кирилл болезненно улыбнулся.

– Ну, дядя Степан, чего ж я-то могу поделаться? Пологом солнышко прикрыть аль бумажку ему послать – не смей, мол, палить так, а?

– Эх, ты, дылдушка, – засмеялся и Огнев. – Привык уже к бумажкам... Вот что, – начал он серьезно, – под новыми огородами у нас земли около трехсот десятин... Надо плотину на Алае устроить – огороды полить. Вот, если хлеб в поле погорит, картошка, тыква на огородах будет – этим прожить можно. Понял?

– Я об этом думал, да вот как народ на то пойдет?

– Эх, чучело ты гороховое. А говорят – председатель у нас на весь округ в славе... Чай, народ надо организовать, сколотить, уговорить... показать ему – вот тут тебе могилка, а вот тут твоя жизнь, жизнь твоих детей... давайте жить. Что уж ты-то думаешь – темь-темью народ?... Пойдем...

И, поднявшись, вышел из сенника.

– Кирилл Сенафонтыч, а я к тебе, – загнул Маркел Быков, вразвалку подходя и облакачиваясь на плетень.

– Что?

– Да, – Маркел почесал поясницу и, увидев Огнева, чуточку смутился: – какой

ведь народ-то... обезумел – с иконами, слышь, ходить надо... дождя просить.

– Молян?

– Ды-ы да-а.

– Пора б кончить, Маркел Петрович: топтаньем делу не поможешь.

– Ды-ы... я, может, больше твою не признаю... верующие... они тянут.

– Ну, что ж! – Кирилл глянул на Огнева, улыбнулся. – Мы препятствий не имеем. Хошь – молись, хошь – не молись... Когда думаете?

– Да нонче – в вечерню... а завтра с утречка иконки подымать.

– Подымайте... Подымайте с богом...

– Ну, вот и гожа, вот и гожа, – забормотал Маркел и заторопился под сарай, где его ожидали Никита Гурьянов, Чижик, Шлёнка.

– Видал? – засмеялся Кирилл.

– Да-а. Так ты вот что... – Огнев нагнулся к уху Кирилла и минуты две-три шептал ему, водил руками по воздуху.

– Сделаю! – сказал Кирилл. – Это нам недолго.

Степан неуклюже перешагнул порог калитки, тронулся к своему двору, а Кирилл вошел в избу.

4

Сторож звонил к вечерне.

Гул надтреснутого колокола толчками прыгал в спертom воздухе, через подслеповатые окна и скрипучие двери пробивался в крестьянские избы – звал на великое моление.

Крестились бабы, мужики мазали головы коровьим маслом, молодежь надевала праздничные наряды. И вскоре длинной вереницей потянулись широковцы на конец села в маленькую церквешку. Впереди всех, вразвалку, в узконосых сапогах – Маркел Быков, за ним Митька Спирин, за Митькой – Петька Кудеяров, Никита Гурьянов, потом бабы в серых косынках, девки принаряженные, парни, и позади всех, будто старый козел, ковылял, задыхаясь в пыли, дедушка Пахом.

И вскоре православные заполнили церквешку.

Налево стояли бабы; они губы копытцем сложили, и вид – упование на тебя только одного всевышнего, а в мыслях – коров подоили ли дома, пироги поставили? Направо мужики – по углам смотрят, спать охота страх как. А позади всех, у свечного ящика, приглаживая бороду, стоял Маркел Быков. Он продавал свечи, звеня медяками, и думал о своей скорой кончине, о том, что дети не в него пошли, и о том, что Кирилл-плут всегда смеется над ним... А когда мимо, вслед за попом, прошмыгнула Улька, Маркел думал: «Гожа молодайка Улька... Вон вишь – мужики, и те на нее глаза... Гожа!..»

Но тут всех удивило одно – отец Харлампий, покачиваясь, взошел, на амвон. Волосенки у него растрепались, руки повисли плетьюми, а губы выпятились, будто сплюнуть он хочет.

– Вишь, батюшка в горе каком, – зашептали бабы. А мужики ниже головы склонили, друг друга в бока легонько толкают.

Отец Харлампий в алтарь вошел, там немного повозился. Дьячок приготовился на клиросе его возглас пеньем подхватить. Харлампий вышел из алтаря, перед царскими воротами постоял малость, обратно в алтарь ушел.

«Что такое с ним есть?» – подумал Маркел.

Он запер ящички, ключи в карман сунул и, расталкивая верующих, узенькой дорожкой кинулся к алтарю.

Но не успел Маркел и до первой приступки добежать, как из алтаря снова вышел отец Харлампий, глаза посоловелые на народ уставил, потом медленно поднял руку и быстро, как будто кого ударил, махнул ею:

– Вы, бабы, вот что... немытыми у меня в церковь... не ходить!.. Нельзя грязным и все там такое в церковь. А мне мыться надо аль нет?

Митька Спириин рванулся первым:

– Эй, ты чего понес? Чего, говорю, понес? Чего не полагается!.. Опять за баню? Баню ему!

Елена Митьку за рукав дернула;

– Митя, молчи.

– Да что он! Его... что ль, церковь-то? Не его, наша!

– Ну, ваша, – по-детски засмеялся Харлампий и, как мешок, свалился в дверях.

Среди верующих кто-то тихо зашептал, потом забубнили мужики; их густой говор подхватили бабы, засмеялись девки, ребята, – и звуки шагов зацокали под куполом, верующие вывалились из церквешки на улицу и порядками в торопливом говоре покатали по домам. Навстречу бежал сторож сельсовета, извещая:

– На собрание, граждане! Вопрос о налоге и о прочем.

5

Когда православные высыпали на улицу, Маркелу показалось, что в церквешке как-то сразу потускнело: Георгий Победоносец с иконы глянул гневно, у «Казанской божьей матери» глаза вылупились двумя луковицами. Таких глаз Маркел никогда не видел, и, идя к амвону, он несколько раз поворачивался, смотря на глаза «Казанской».

Харлампий свалился у «царских врат», его стошнило на серенький узенький коврик. Блевотину лизала, отряхиваясь, отфыркиваясь, словно от горячего молока, кошка. Маркел отбросил кошку ногой и, подхватив Харлампия под

мышки, поволок на квартиру.

– Принимай, матушка, – сказал, втаскивая его в избу. – Намолился... слава те, господи, Кирька накачал его. Ждаркин.

Матушка ахнула. А Маркел, вытирая пот на лице, вышел из избы и в густом сумраке вечера направился к Дуне Пчелкиной. Он знал, что Дуня намерена продать оставшихся после смерти мужа пчел.

– Благодать, кто с пчелками живет, – бормотал он, – они уже не украдут, а все тебе – хозяину.

Идя мимо сельсовета, он остановился, внимательно всмотрелся и ничего не понял. Мужики, освещенные несколькими фонарями, словно бараны, проходили во двор Николая Пырякина, а у калитки стояли Кирилл и Никита Гурьянов, отмечая:

– Петька Кудеяров – за полив!

– Трюфилькин Матвей – за полив!

– Митрий Спиринов – против полива!

– Меркушев – за полив!

– Ефим Сдобно© – за полив!

– Филат Гусев – против полива!

«Тормошатся, а что тормошатся? Ну, идти надо...» – подумал Маркел и, свернув за угол, направился к избе Дуни. «Хорошо бы, за пятнадцать пудов пчелок отдала. Не отдаст, проклит. А хорошо бы. Ну, за шестнадцать...» Осторожно поднял защелку у калитки, осмотрелся во дворе, нет ли собаки – собак боялся, – потом также неслышно вошел в избу.

– Ты, Дуня, как насчет пчелок-то? – сразу пошел он в наступление. – Слышь, налог на них нонче вкатили страшный.

– А где чего возьму?

– Да они не спрашивают, где чего возьмешь. Давай, и ладно. Ты вот что, как родня ты мне, хоть и дальняя, – по Сергею-покойнику, царство ему небесное, за народ пострадал, – так вот и присоветую я тебе; брось ты этих пчел... продай...

– Да кому продать-то?... Кто купит?... В поле-то вон, говорят, ровно в черный год.

– Да-а, теперь, знамо дело, трудов стоит продать. Оно как раз на голодный год идет. Трудно, конечно. Вот случайно разве... Вот, примерно, ко мне намерднись заезжал один маркитян... спрашивал – нету ли где пчелок? Мне-то все недосуг было тебе присоветовать... Сколько ты думаешь за них?

– Да сколько, Маркел Петрович? Ты сам присоветуй, сколько... их ведь двенадцать пеньков, да все крупные – пчелы-то.

, – Восемь пудов, чай дадут, – прогнусил Маркел. – Восемь? Нет, за восемь не отдам. Чай, мне в весну по два червонца давали за каждый... а ты – восемь.

– Ты что весну берешь? – Маркел поднялся с лавки. – Весна не в пример. Мне в весну вон за старшую свинью полтора ста давали, а теперь выведи на базар – на пятнадцать. наплачешься. Весну в расчет не бери, – даже обозлился Маркел, – ты уже бери восемь. Издохнут – и восьми не получишь.

– Да, Маркел Петрович, ты сам подумай. Ты вон свечки по пятаку продаешь, а они какие – с чирышок! А тут пчелы. В них, чай, окромя меду – воску на тыщи свечей... Ты продай мне свечечку за трешник?

«Ты сама допрежь продай, – подумал Маркел, – а там и я продам», – и загнул:

– О свечах и «е говори: они – дар божий, и не след тут о них, грех большой о них тут...

Торговались долго. Перебирали свою родню, знакомых, говорили о хлебе в поле. Маркел Петрович все время наворачивал о голоде, о том, сколько людей погибло в голодную годину.

– И вот нонче как бы не пришлось копать новые могилы за гумнами... Не донесешь мертвеца с голоду на старые, могилки... сподрушнее, пожалуй, будет могилки рыть новые за гумнами...

Затем напомнил ей молодые девичьи годы. Помнит, поди, Дуня, с Маркелом они играли? Да, конечно, тогда не те были времена. Тогда не то, что теперь: каждая девка за того парня, кой ей люб, каждый парень ту девку, коя ему по душе... Тогда не то было... Тогда, может быть, и Маркел не прочь бы Дуню за себя подхватить, вот и могло быть – вместе до гробовой доски.

Дуня прослезилась и под конец отдала Маркелу Петровичу одиннадцать ульев пчел за двенадцать пудов ржи.

Радуюсь такой удачной покупке, Маркел шел домой и строил план – как он разведет пчел, будет с пчелками возиться.

У двора Кирилла Ждаркина кто-то сидел на лавочке.

«Зинка, видно? – подумал он. – Надо побаить!»

Подошел тихим шагом.

– Ты что, крестница, сидишь?

Зинка вздрогнула, чуть погодя ответила:

– Рассаду глядеть ходила, крестный.

– Рассаду? Какая теперь рассада? – недовольно пробурчал Маркел. – Знаю, что за рассада. Слыхал да и глазами своими видал.

Посидели молча.

У пожарного сарая загудели мужики.

Маркел покрутил головой.

– Эх, крестница, беда глядеть на тебя: мученица ты, – нагнул – и тише: – сраму-то на селе сколько произвел. А? Надо ж было батюшку самогонкой

накатить. Это ведь грех-то не на батюшку ляжет, а на него, смутьяна, да и на тебя: у тебя в дому лицо священное смутил.

У Зинки и так уже сердце изныло. Теперь на улицу не покажись – бабы изведут, а тут еще Маркел изъеденные места солью посыпает.

– Хвалится правдой, – продолжал Маркел, – правду напоказ. Не всегда она нужна, правда-то. Жили мы век – знаем, где ее надо, а где и за зубами придержать – умнее. А он? Старателем советским заделался. Старатель! А вот случись беда – все отлетят, как мухи от дегтя... А дегтем кто «и кто, а смажет».

У Зинки засосало под ложечкой – не понимала она, о какой это ненужной правде Маркел говорит. Наоборот, от Кирилла правду требовала, просила сказать, за что ему не мила стала, на что прогневался? А Кирилл сопел только.

Через дорогу во тьме на речку побежала Улька, пробежала она быстро, будто крадучись. У Зинки чаще застучало сердце, а Маркел, уставив глаза в спину Ульке, подумал: «Куда понесло? Ай, правда с Кирькой таскается? Да нет, вон голос его на сходе». Об этом промолчал, загнул другое:

– Непременно службу ему надо бросить. До хорошего служба не доведет. Вон Федунов бросил – гляди, у него второй рысак явился, и хозяйство крепкое.

– Да совет что? – вырвалось у Зинки. – Книжки вот все читат. Читат, читат да перед ним – Лениным – и давай себя в грудь, кулаком садить, кричит: «Надейся на нас, товарищ Ленин, выполним заветы твои». Что это за заветы – не пойму я?

– Насчет церковей, чай, – сказал Маркел. – У него одно в голове сидит – храмы разрушить, на их место танцульки.

– Я это к нему, говорю: «Кирюша, знашь-ка, – чтоб оторвать его, – лошади, мол, надо замесить...» – «Твоя, слышь, лошадь, твои и коровы – иди и меси, а меня не тревожь».

– Шальная башка, – чуть погодя прошипел Маркел и, думая о своем, как бы скovyрнуть Кирьку, присоветовал: – А ты через бумажку все у него возьми.

– Отдает. «Бери, говорит, все, пойдем в совет, распишемся, а сам я в город... Камнем на мне все это висит».

– Во-он ведь до чего дошел! Возьми, непременно возьми! От тебя оно никуда не денется, а так – разматает все.

– И не пойму его, – сквозь слезы тянет Зинка, – то ругается, вот как иной раз обидит, и не говорила бы с ним, а через час опять добрый, с лаской, да о жизни какой-то другой начнет. «Чего, мол, тебе еще, Кирюша? Лошадка у нас есть, домик, коровки, хлебец – ртов у нас два, живи себе, сколько хошь». Рассердится, закричит... Не поймешь его.

– Порчу, видно, кто-то над ним произвел.

У пожарного сарая. вновь загалдели мужики, заорали:

– А кто не пойдет, тому поливу нет! – кричал Кирилл.

– Да и земли в поле не давать.

– Правильно!

– За Кирилла тяните-с-е!

6

В темноте, гуторя, поползли в разные стороны мужики.

Кирилл простился с Огневым и, измученный, будто целый день беспрестанно кидал снопы, направился к своему двору. Ему было радостно – сегодня они с Огневым, Захаром Катаевым положили начало развалу общины. Верно, на сходе долго канителились. Никита Гурьянов да Митька Спирин всеми силами старались оттянуть решение схода: сначала заявили, что на сходе баб нет – без баб нельзя такой большой вопрос решать. А когда пересчитали мужиков и когда их оказалось больше, чем надо было, Никита метнулся на другое, высказал полное недоверие счетчикам – пришлось каждого мужика прогнать через двор Николая Пырякина и считать, кто за, а кто против. Против Никиты оказалось большинство. Это радовало Кирилла. И в то же время у него какая-то непонятная тоска давила грудь.

«Что такое, – думал он. – Почему так? Вот пока на народе, ничего нет, а как отошел от народа – тоска?»

За несколько шагов от своего дома он услышал голос Маркела:

– Вон идут... Ну, и мне пора... Пчелок я у Дуни купил. Домашних пойти порадовать.

– А ты уж с ним поговори, крестный, он тебя боится.

– Поговорю. Только не знай – смех у него на меня... Дай срок, не так засмеется.

Кирилл резко повернулся, пересек улицу и скрылся во тьме на берегу Алая – и там, где бабы полощут белье, сел на рябоватый камень.

В густых зарослях ветельника всплесками играла река. Ночная прохлада ползла со всех сторон, холодком обдавала Кирилла. Кириллу захотелось полежать, и он тихо опустился с камня на холодный песок.

На огороде Митьки Спирина ходил теленок и глодал зеленую тыкву. В Гнилом болоте кричали лягушки, на конце Кривой улицы лаяла собака, а в Заовражном под тальянку горланили ребята:

Наш Ждаркин председатель
Всю советскую власть сидит
Нонче с Улечкой спознался,
На жененку и не глядит.

– Вот сволочи, – выругался Кирилл. – Да что это им всем в голову Улька втемяшилась?

И в то же Еремя ему было радостно. Он склонился, словно стыдливая невеста перед свахами, долго колупал пальцем влажный песок, потом поднялся, хотел

уйти домой, но вправо от него слышалось шлепанье босых ног по воде. Всмотрелся – берегом залива шла женщина. Вытянув шею, она звала громко, отрывисто:

– Тел-тел-тел-тел!

Кирилл еще пристальней взгляделся – на том берегу мелькнуло что-то знакомое... Женщина сначала скрылась в кустарнике, потом перебежала залив и вновь позвала:

– Тел-тел-тел!

– Улька! – окликнул он.

Улька чуточку постояла, потом, увидав Кирилла, отозвалась:

– Она! Я!

– Ты чего ночью шатаешься, али не боишься – домовые защекотят? – пошутил Кирилл и тут же подумал: «Вот опять случай для болтовни. А виноват я?»

– Кого?

– Домовых, говорю. Вон их сколько в банях-то!

– Я банных не боюсь, Кирилл Сенафонтыч; свой свекор – домовой гожд. Хуже банного: теленок домой не пришел – заест за теленка.

– Вон он, в огороде у Спирина.

– Опять у Митьки? Пес шатущий!

И, заголив ноги, Улька, быстро перебежав залив, выскочила на берег, рядом с Кириллом.

– Чай, умучил меня, загрыз – сукой да стервой... А сам покою не дает. Щиплет все. Говорю: «Чай, грех тебе – титор ты церковный, а такие дела со снохой...» А он свое гнет – старикам, слышь, больше молодых охота бабенок полапать. «Гиусарь, баю, ты гнусарь – кому ты нужен...» Ой, что я наговорила! – Улька спохватилась.

Перед Кириллом – плетень, за плетнем Улька. И не об этом ли жаловались тогда Улькины глаза?

– А ты говори, говори. Говори все, все говори... меня не бойся, – и он даже и не заметил, как взял Ульку за плечо.

Улька присела на камень, разгребла босой ногой песок. С головы упала копна волос. Улька подхватила их обеими руками, улыбаясь, глянула на Кирилла, потом смело, решительно трянула головой.

– Эх, все равно уж... Кому-нибудь да доведется... Ты потянул... тебе... Выйти нельзя. Я на гумно, и он на гумно, пес гундосый... Я в баню, и он в баню... Да все щиплет... А я что – бревно, что ль?

Смолкла.

Кириллу хотелось – вот сейчас же – потянуться к ней сильными руками, крепко стиснуть, сказать то, что думает. Робел, шептал тихо:

– Эх, Улька! Отчего тебя первую не встретил! – и громче, с перерывами добавил: – А ты... ты сама... не боишься... греха не боишься... А?

Улька улыбнулась, посмотрела на свои голые ноги.

– Греха? С кем? С желанным ежели, какой грех? Эх, Кирилл Сенафонтыч... не приведи никому... Он ведь, Пашка – фу-у, – брезгливо отфыркнулась она, – слюнтяй, измусолил всю в первую ночь... Лягушка...

Чуть помолчала, потом выпрямилась и вплотную подползла к Кириллу. При луне видны впадины ее глаз, точеный нос, на висках кудерьки серебрятся, как и берега реки.

– Умучили они меня, – зашептала она, – умучили... Кирюшка. Да и тебя умучили... Думаешь – баба, мол, не вижу, не чую? Ох, Кирюша!

Оборвала.

Громче заплескалась река в зарослях ветельника.

Громче закричала иволга.

Зашумел камыш.

Сильными руками Кирилл перепоясал Ульку.

Улькины губы – жадные – потянулись... вдруг она, упругая, сильная до этого – обмякла...

«Бот-бот-бот!»

Вздрогнули.

Мимо промчался, задрав кверху хвост, рысак, а за ним – Зинка и Маркел Быков.

– Кирю-ю-юша-а! – надрывалась Зинка. – Рысак сбежал!

– Пойдем, – шепнул Кирилл, и вместе с Улькой они кинулись через залив, скрылись в зарослях кустарника, потом пересекли огороды, выбрались в гору и присели под кустом.

Тихо дремал, шелестел кудрявыми листьями орешник...

– Нонче орехи будут... – тихо, в смехе говорит Улька.

– Будут... – так же тихо отвечает Кирилл.

Звено десятое

1

В предутреннюю рань Кирилл стоял на горе под кустом орешника и смотрел вслед убегающей Ульке. А когда она скрылась в густой заросли кустарника, затем, выскочив за рекой, перебежала переулком и толкнулась в калитку, – Кирилл, отмахиваясь от назойливого комара, старой заброшенной дорожкой направился в долину.

Шел он твердо, и ему казалось, что сейчас он очень похож на только что выкупанного в реке рысака. Такое сравнение сначала его рассмешило, но твердость в поступи, упругость в теле и желание радостно кричать, петь – вновь подтвердили такое сравнение.

Он остановился, хлопнул руками по бедрам и, тихо насвистывая песенку, долго смотрел на Широкий Буерак, на избу Маркела Быкова.

Во дворе Быкова бегала Улька, а на «рыльце неподвижно стоял Маркел.

– Да вот так-то вот, – сам не зная к чему, сказал Кирилл и посмотрел на пойму реки Алай, расположенную перед селом и порезанную полосками с картошкой, капустой и тыквой.

Он хотел обмозговать предстоящую работу в долине, где и как построить плотину, прорыть канаву, но-неволью перескочил совсем на другое. Упругость в теле (такая упругость у него была только в первые дни его возвращения с фронта) ему была так же приятна, как приятно в знойный день припасть к холодному роднику. Приятно было и то, что Улька не отвернулась, а, вишь ты, провела с ним всю ночь на горе, под кустом орешника. Она, не умолкая, рассказывала про Маркела Быкова, про его крав, про Павла, про то, как ей тяжело живется у Быковых.

Кирилл внимательно слушал ее, вместе с ней переживал унижение, и у него росла ненависть не только к Быкову, но и к Плакущеву, к Гурьянову, ко всему селу. И когда Улька сильными руками пригибала, будто непослушный куст вишни, его голову, подолгу жадно целовала его в губы, в глаза и шепотом спрашивала: «Любишь ли, Киря?» – Кирилл некоторое время в каком-то забытии молчал, потом подхватывал ее на руки, говорил: «Видишь... видишь ведь».

И сейчас, в предутреннюю рань, Улька ему казалась уже не только молодой, сочной, а и родной, близкой – такой, будто они знают уже не один год. Он не тронул ее в эту ночь, отпустил от себя такой же, как она и пришла. Боялся тронуть. Боялся огласки. И еще больше боялся того, как бы этим не нанести ей обиды. Он-то сам перенесет все – и огласку, и обиду, и также то, если от него кое-кто отвернется на селе. Ну, а как она, Улька?

«Как? Дурак, – ругнул он себя. – Как? Надо было разом рвать – вот так. А ты нюни распустил, слюни. Да и то, – рассуждал он, – нельзя же на другом человеке себя утешать. Верно, баба она молодая, да еще, кажись, совсем девка – требуется ей при бездействующем муже-дураке. Но ведь и то не гожа – с другого шкуру драть, чтобы раны свои залечить... Не гожа. Впрочем, ты ничего не потерял, Кирька», – сказал он себе и быстрее зашагал под уклон.

2

Узнав от Захара о решении схода, дедушка Катай поднялся раньше всех, наскоро плеснул водой в сморщенное лицо, вышел на улицу и побежал по дворам, одобрительно хлопая мужиков ладонью по тощим плечам:

– От смерти всегда надо убегать... Он'а, смерть-то, из-за угла на тебя, а ты за

другой, а ей кукиш, на-ка, мол.

– Ну да, дедок, – смеялись мужики. – Она тебя в гроб, а ты ей пятки – догони-ка, мол... Догонишь, так лягу.

И еще Катай ссорился с бабами:

– Вы, бабы, на погибель на нашу созданы, вот что.

– А откуда ты бы явился? – уткнув руки в бока, задорно кричала через дол сноха Никиты Гурьянова Елька. – Откуда бы ты взялся? Скажи-ка!

– Фу-у, ты. Срамница! Ты срамница, Елька, вот что. Греховодница, скажу тебе.

А когда заовраженцы тронулись в долину, Катай взял лопату, положил ее на плечи и по-солдатски выпрямился.

– Куда тебя несет? – Старуха жена задергала у него лопатку. – Ноги-то оставишь где в ямине.

– Я, старухе, гляди-ка, – Катай стал ещё прямее, – гляди-ка, на фронт могу... Ты домовничай, старуха, – приказал он и повернулся к Захару, – а мы с ребятами-пойдем покопаем. Захар, Лекса, Пека – айдите.

– И-и-их, сидел бы дома. На-двор пойдет, кряхтит, кряхтит, а это поперся.

– Айдите, ребята! Чего зубоскалите?

– Смеяться, конечно, тут нечего, – вступился Захар. – Смеху места нет. Идемте.

По дороге в долину Катай отстал. Он встретился с Маркелом Быковым. Маркел вез пчел на гору, в вишневый садик.

– Что везешь, Маркел Петрович? – спросил Катай.

– Видишь, пчел.

– А-а-а. Завел, стало быть? Вот и я все думал – пчел завести. А в долину-то ты что ж?

– Да двоих послал, Ульку и Пашку, – почему-то зло загнул Маркел и быстро скрылся за углом.

– Вон оно что, – сам не зная для чего, проговорил Катай и тронулся порядком на край села.

Но, перейдя мост через Алай, он задохнулся и присел в начале долины под кустом дикой кургузой яблони.

– Не в силах... Вот отойду малость, отойду, а то как-то все примерзло во мне, – бормотал он, усаживаясь на траве.

Мимо шли заовраженские, криулинские, бурдяшинские, звенели топорами, лопатами, вилами. А по дороге тянулись подводы. Над лошадьми вились тучи мошек. И жара пыхала, будто из огромной пасти.

Все, на кого ни посмотрит Катай, выросли у него на глазах, поженились, иные уже парнями обзавелись, девками-невестами.

Они еще долго, нехотя, вяло тянулись в долину и ожили, когда из конца Кривой улицы с ревом выскочил трактор и понесся на конопляники. Катай еле разглядел: за трактором шли артельщики, впереди всех Степан Огнев, Панов Давыдка, Иван Штыркин, а за ними бабы, а позади всех Яшка и Стешка.

– Неразлучники, – проговорил Катай и позвал: – Яшка! Яшок, заberi, милай, меня, меня заberi.

Яшка повернулся к нему.

– А-а-а, самый главный! Стешка, ты чего крестного своего покинула... забыла, как он тебя просватал?

Стешка кинулась к Катаю и, смеясь, будто над Аннушкой, заговорила:

– Батюшки, дедуня, ты что отстал?

– Вот так, – Яшка подхватил его под руку, – Стешка, бери под другую. Комиссаром ты у нас, дедок, будешь. Присядь вон под ветлой да покрикивай на нас.

– А то бы домой шел... Отвести, дедуня? – предложила Стеша.

– Не-ет, домой – нет.

Знал Катай нрав мужицкий. Изведал его за свою жизнь. Помнит, раз они в голодный год в город с барским сеном ехали. Около дороги в снегу на корточках чужой мужик сидел, из сил выбился и Христом-богом просил прихватить его с собой:

– Я только рукой держаться за воз буду, мужики! – молил он.

Мимо проехали молча.

А на обратном пути видели: как сидел мужик, так и окоченел, только чуть на спину откинулся, рыжую бороду наискось в небо уставил. Помнит Катай эту рыжую бороду и с тех пор знает: зверь мужик, когда голоден.

«Себя спасает, – думает он, – каждый себя... Силен, так спасется, не силен – так свалится, свалят. Вот чего боятся».

– Вот тут и сиди, – Яшка опустил Катая под ветлой. – А лопатку-то нам давай, пригодится кому.

– Не-е-ет, ты лопатку-то не замай... Я еще подымусь, соберусь.

– Ну, собирайся, а ежели что – меня крикни...

– Кликну, кликну. Ступайте... Да народ разом растревожьте, а то он завянет – тогда трудов стоит... Чего это они там копаются, мешкают?

По долине в группе мужиков ходили Кирилл Ждаркин и Степан Огнев. Они измеряли шагами расстояние, расходились, ложились на животы, перекликались:

– Вершков на пять выше будет. Подползай ближе!

Яшка нагнулся к Катаю.

– Планы строят, дедок.

– Чего?

– Планы, говорю. Теперь без планов ничего не делается. Вон у нас на «Брусках» без планов дело шло – уничтожить пришлось такое дело. В весну с планами будет, чтоб все, как пять пальцев на руке, тебе ясно было, а то – втемную...

Из кустарника выскочил Петька Кудеяров. Став на бугорок, он воткнул обгрызенную лопатку в землю.

– Эй, анжинеры лапотны! Скоро? А то солнышко на обед клонит.

– А ты только встал – и уже обедать, – заметил ему Никита Гурьянов и тут же спохватился: «Зачем травлю? Вот злобы сколько появилось... на всех злоба».

Петька вытянулся, растерялся, потом выпалил:

– Не к тебе обедать хожу!

– Эко, сморозил, – прорвалось у Никиты. – Не к тебе! На кой это дьявол ты мне нужен?! Чай, собаку, вон – Цапая – кормлю, от него польза.

Мужики заржали, а Илья Максимович дернул за рукав Никиту.

– Не надо, – прошептал он. – Пошто это? Ни к чему это...

Кирилл и Огнев еще долго измеряли долину, советовались с мужиками, где лучше провести канаву, устроить плотину. Каждый гнул по-своему, и у каждого в предложении сквозило одно: ближе к своему огороду. А Илья Максимович – хотя и тихонько, будто так, случайно, – предложил канаву провести за дорогой. Это всех удивило. Зачем канаву за дорогой? К чему она там?

– На свой участок тянет, – затараторил Митька Спирин и ткнул лопаткой через дорогу на Коровий остров. – Мало – землю с Чухлявом заграбастали, теперь и воду им... и свет вот весь им, и все, а нам – сиди и душись...

– Да нет, – Илья Максимович отвернулся, – что это у тебя за мысли?

– Ты об этом и не говори, – зло сорвалось даже у Никиты Гурьянова. – И не говори и в мыслях не держи. Ни к чему это.

– Я – что? Я ведь не неволю. Я то говорю – канаву за дорогой проведем, оттуда и на все загоны вода ручейками... Гляди, вышина там какая.

– На небушко вон еще провести, – Митька ткнул лопаткой в небо. – Оттуда пойдет... Хахаль!..

– Да, гожа бы оттуда, – прохрипел Плакущев и выше подобрал полы пиджака.

– Ни стыда, ни совести, – тихо, но внятно проговорил Захар Катаев.

Илья Максимович сжался, задрожал на месте. Мужики за Кириллом и Огневым отошли в сторону.

– Рассердился, – Шлётка всплеснул руками. – Как молодайка, губы загнул.

Илья Максимович стоял в стороне. Думы у него ползли густые. Вчера, когда мужиков прогоняли через двор Николая Пырякина, он сказал:

– Я ни туды ни сюды... Подумаю...

Об этом думал Илья Максимович, решал, куда податься, и все больше склонялся к тому, что надо идти со всеми, а там видать будет, и в то же время ругал себя за то, что добровольно, не подумав, вчера сам себя за шиворот из народа выбросил...

«Ишь, чего придумал – я ни туды ни сюды, – нашел чего!» – издевался он над собой.

Мужики решили канаву провести серединой долины: хотя лучше было бы провести верхним краем, как советовал Плакущев, и, выгнув коленом, вывести воду на возвышенность, – но так решили. Плотины же решено было устроить вверху, за полверсты от долины, на стыке двух рек – Алая и Крутца.

– Ну! – предложил после такого решения Кирилл. – Граждане-товарищи! Приступать давайте. Кто на канаву – иди на канаву, кто на плотину – иди на плотину...

– Чай, скажи, с богом, – в шутку посоветовал Захар.

Широковцы задвигались. Бабы, молодежь, что группками сидели в разных местах долины, поднялись. А Петька Кудеяров стал около своего огородика:

– Я вот здесь порою сажня три – и домой.

Глядя на него, и Митька Спириин с огорода Никиты Гурьянова перебежал на свой:

– И то верно баишь, а то у чужого ковыряй.

И не успел Кирилл договориться с Огневым о том, кого поставить на плотину, как широковцы быстро разбежались по своим огородикам.

Огнев засмеялся:

– Гляди-ка, армия твоя вся рассыпалась...

– Индивидуальное хозяйство.

А Яшка вытянулся на бугре, закричал вслед убегающим:

– Эй, беги! Скорей беги! А то вода сейчас хлынет!

– Эй, – подхватил и Огнев. – Что ж это, мы с артелью на плотину идем, вам плотину, выходит, устрой, а вы только канавку у своих лоскутов пророете – и довольны? Не-ет, такого уговора не было. Ну-ка, Кирилл Сенафонтыч, отруби-ка вот этот уголок.

Кирилл поднял лопату и человек сорок, во главе с Никитой Гурьяновым, повел на плотину.

– Чай, на своем-то огороде спорее, – протестовал Петька Кудеяров, – свою-то я мигом, а тут...

– Иди, иди, – Кирилл за рукав потянул его, – говорить потом будем.

И, расставив всех по местам, Кирилл скомандовал:

– Приступай! – и обежал глазами широковцев.

Их было много. В середине, рядом с Павлом Быковым, стояла Улька и, глядя на Кирилла, улыбнулась. И Кирилл улыбнулся. Переключку улыбками заметил единственный человек в долине – Илья Максимович, – и за себя и за свою дочь Зинку он круто обиделся на Кирилла.

3

Рядом с Кириллом, то и дело поглядывая на Широкое, нехотя, не сгибая спины, ковырял лопатой землю Митька Спирын. Кирилл злился, ждал, когда он раскачается, потом не выдержал:

– Расколешь землю.

– Чего?

– Землю, говорю, расколешь. Вишь, как осторожно, ровно со стеклом.

Митька заворчал:

– Удумали хреновину какую-то... А мне-то что? Мне-то больше всех надо?... – и громче: – А я, что, нанялся к тебе? Нанимал, что ль, ты меня? Деньги, что ль, мне платил?

Кирилл, словно от укуса пчелы, дрогнул:

– Да за деньги-то я тебя, бы и минуты не держал.

– А я бы и не пошел... Что, выкусил? – Митька скособочился и выпятил вперед сивенькую бороденку.

– Тьфу, – плюнул Кирилл.

– Плюнь себе в... – Митька зажевал последние слова и так же нехотя продолжал ковырять землю.

Кирилл поднялся на бугорок, посмотрел на широковцев.

Мужики курили, чесались, топырили бороды в знойное небо, бабы перекликались, а кое-где уже завязалась перебранка из-за пастьбы, из-за лугов. Только Захар Катаев сплеча рубил землю, да на плотине, около Огнева, кипела работа – там возили щебень, навоз, трактор подтаскивал сваи. А в стороне, у ветел, тыча лопаткой, прыгал Шлёнка.

– Ты чего это там?

– А вот ужонок, Кирилл Сенафонтыч, через лопатку, мошенник, никак не перемахнет. Он в сторону, а я лопатку, а он и не перемахнет.

Кирилл в упор посмотрел на Шлёнку.

«Все ведь он нарочно... чтоб растравить меня».

– Тебе не нравится, а?... – Шлёнка, причмокнув, перерубил ужонок лопатой и ушел на канаву.

– Товарищи! – закричал, вытягиваясь на бугре, Кирилл. – Вы все вообще

работаете, как на чужого дядю. Так мы сгорим, к осени не кончим. Для себя как – так давайте и поторопимся.

Широковцы торопливей застучали лопатами, но через миг опять так же вяло, не сгибая спин, ковыряли землю.

– Ну, что ты тут будешь делать? – пробормотал Кирилл и крупным шагом подошел к Огневу. – Не работают.

Огнев пристально посмотрел на долину.

– Да, действительно. – Он некоторое время думал, потом заглянул под овраг: – Коля! А ну-ка покажи им путь-дорогу на тракторе... Трактором корку жесткую на канаве сними...

Через несколько минут, крякая, из-под горы выполз трактор и там, где должна была пролечь канава, двумя лемехами стал ломать землю.

– Эх, вы! – издевался Николай. – Вот я сейчас вырою вам канаву.

Ряды широковцев отступили и, глядя вслед трактору, сбились плотнее. Первые заговорили бабы, за бабами – мужики, потом все, будто прощаясь с отчаливающим пароходом, разом замахали руками, закричали:

– Яшка! Беги-ка к ним да поддай жару. А мы здесь. Ну, давайте, – Огнев взмахнул кувалдой.

Яшка выбежал из-под горы и через миг, разогнув спину, баском затянул песню. Ее сначала подхватила молодежь, затем она быстро передалась пожилым, и вскоре вся долина застонала, заклокотала охрипшими, басистыми и звонкими девичьими голосами. Из общего гула выделился грудной голос Ульки и сорвал Кирилла с плотины.

– Вот так... вот так давайте... – Он смахнул с себя поношенную красноармейскую куртку, плюнул в ладонь и со всего плеча начал рубить лопатой землю.

– Ну, так, ну, эдак, – Митька посмотрел в разные стороны и, видя, что все работают, еще раз сказал, но уже без смеха: – Ну, так, ну, эдак! – и принялся рыть канаву.

Из-под ветлы выбрался Катай.

– Ребятишки, от смерти надобно убегнуть.

Его не слышали. В гуле песни затерялись отдельные голоса, выкрики, смех. Пели все. Даже Захар Катаев, сделав суровое лицо и бросая с лопаты огромные груды земли, хриплым голосом подхватывал слова песни и вместе со всеми разносил ее по долине. Только Илья Максимович молчал, но и у него шевелились тонкие губы в зарослях бороды.

– Э-х-х! – разрезала своим выкриком общий гул Улька.

Этот выкрик заставил Илью Максимовича плотнее сжать губы, а Кирилл, вскинув вверх лопату, хлестнул своим высоким тенором так, что все широковцы на миг замерли, потом засмеялись и сильнее подхватили песню.

...Потом песня как-то сама собой оборвалась, смолкла. Слышалось тяжелое ритмичное дыхание толпы, лязг лопаток да иногда кто-нибудь кричал. На плотине уже вколачивали сваи. Всех охватил трудовой порыв.

В такой горячке прошло часа два.

Степан Огнев, вытирая рукавом пот на лбу, опустил кувалду и посмотрел на долину. В долине копошился человеческий муравейник. Канава, словно живая, черным зевом врезалась в землю.

– Вот он, коллективный-то труд, – с дрожью в голосе проговорил Степан Огнев. – Да если бы мы могли, взяли бы... гору бы свернули...

Слова Огнева долетели до Никиты Гурьянова. Никита разогнул спину и тоже посмотрел на долину.

– Да-а-а... Чай, бывало, у барина во время жнитва поставишь ведра два водки жнецам, ну, мол, ребятки, валяйте, вечером еще по чарке... Они и валяют...

Огнев отряхнулся, будто на него неожиданно вылили помои, и сплеча ударил деревянным молотом в сваю.

4

Прислонясь к плетню пчельника, с горы, из вишневого садика, Маркел Быков напряженно всматривался в долину.

Вот уж восьмой день там копошатся люди. Восьмой день от их спин идет испарина, и Маркел видел, как выростала плотина, как канава все дальше и дальше, изгибаясь коленом, врезалась в пойму. Временами до него доносились рев трактора, стук молота о сваи, общая песнь. По ночам горели костры, около костров сидели мужики, бабы – караулили. По вечерам прибежала Улька. Живая, радостная. За ужином она рассказывала про работу и вновь убегала к кострам.

«И чего только нашла ладного?... Подцепила, чай, кого. Ишь, каждый день ей караулить... От такого дуралея и подцепишь», – думал Маркел, глядя то на Павла, то на Ульку.

А когда Улька, стряхнув с платья крошки, быстро крестилась перед иконами, накидывала на плечи косынку, Маркел ворчал:

– Что ты перед богом, все равно что вон перед зеркалом?

– Чего?

– Что те бог-то, игрушка? – злился он и на то, что Улька не расслышала, и на то, что заговорил. И все-таки продолжал: – Ровно ей это и не бог, а так себе.

Улька повертывалась к нему, в упор смотрела, подмигивала и быстро выскакивала на улицу.

Вслед за ней выходил и Маркел. Он долго крутился по яру, за гумнами, смотрел на костры, как волк в стужу на манящие огоньки деревни, порывался спуститься с яра на речку и берегом пробраться к кострам, посмотреть, что там делает Улька.

Не решался. Вновь уходил к своему двору и каждый раз видел: кутаясь, на лавочке у дома Кирилла Ждаркина сидела Зинка. Однажды из тьмы вынырнул Илья Максимович. Они долго говорили с Маркелом о храме, о том, что вера в народе пропала и вообще как-то все не так пошло...

Под конец Илья Максимович совсем подстроился под Маркела и предложил ему хорошенько присмотреть за Улькой. Да и вообще не след ли ее совсем куда-нибудь в город отправить.

– Пускай поживет в городе где... ну, в прислугах, аль где. Не то ведь может принести в дом чего лишнего...

Маркел, обозленный, предложил Илье Максимовичу лучше присмотреть за Зинкой, а в чужой дом носа не совать.

– Да я ведь так, предупредить.

Маркел пальцем на свои глаза показал:

– У самого гляделки есть.

С тем и расстались. А когда широкая спина Плакущева скрылась в темноте, Маркел задрожал так, будто только что выкупался в холодной воде, и зашмыгал носом. Да, это может и быть... может и принести Улька в дом от Кирилла. Видно по всему, связалась с ним, не то разве пришел бы Плакущев? Вот тогда и корми чужого... Да дело-то не в этом, а в другом. Разве Маркел сам не в силах? Разве сам он не крепко на ногах держится?...

– Аф! – шлепнул он губами и взмахнул руками так, будто сграбастал Ульку.

Это было позавчера.

А вечер Улька рассказывала о том, что Степан Огнев с артельщиками порешили в долине на песчанике, около плотины, соорудить мельницу. Они уже выхлопотали у районных властей старый амбар, и Николай Пырякин на тракторе половину бревен перетащил к плотине.

– А тебе что? – грубо спросил Маркел.

– Мне? Да я что? Я говорю только, – Улька засмеялась.

– Слухи вон про тебя неладные по селу ходят.

Улька глаза под стол опустила.

– Ну, и собирай слухи... При таком дураке-муженьке пойдут слухи. Состряпал сынка на погибель другим.

– Ульяна! – цыкнул Маркел. – Ты вот что: в долину – довольно. А пойдешь – не приходи больше.

– Хорошо...

Улька выскочила из-за стола, кинулась на полати за бекешкой... на картуз Маркела ногой стала.

– На картуз встала, не видишь.

– Картуз! Шовях коровий, – она швырнула картуз ногой.

– Ульяна!

– Ну, что – Ульяна? Сроду была Ульяной! Ну?

Она уже стояла на пороге, когда Маркел догадался, что она уходит. Поднялся из-за стола, хотел сказать: «Останься!» – но Улька вильнула подолом платья, крепко хлопнула дверью и скрылась на улице.

Сегодня она не приходила обедать. Сегодня Маркел то и дело отрывался от пчел, напряженно всматриваясь в долину, думал об Ульке, отыскивал ее среди человеческого муравейника.

Кроме этого, у него была и другая забота. Несколько дней тому назад Чижик собрал всех пчеловодов и предложил разбиться на две партии: одна должна отправиться в Долинный дол, другая останется в селе. Пчеловоды, несмотря на сушь, готовились к взятку меда с липы. Маркелу досталось ехать в Долинный дол.

«Сушь ведь», – думал он и тут же начал отнекиваться:

– Да куда я поеду? Чай, у меня служба: храм божий за собой не потащишь?

– Ну, ты чего-нибудь одно, – обрезал его Чижик, – пчел води аль свечами торгуй.

– А поменяться... с кем поменяться бы?

Ни один пчеловод не согласился поменяться с Маркелом.

– Эх, богохульники, – сказал он.

С тем и ушел с собрания, но в Долинный дол пчел не повез.

Всматриваясь в долину, он частенько поворачивался к пчельнику Чижика. Пчельник находился с полверсты от Маркела. – и там Чижик с компанией выставил целую армию пчел. Он совсем недавно заходил к Маркелу, предупредил:

– Уходи, Маркел Петрович. Съедем твоих пчел. Ты подчинись. Пчеловод ты молодой, не знаешь, что можем сделать. Всех пчел зауничтожим.

– Эх, да что это зла у вас сколько? – гнусил Маркел.

– Смуту ты вводишь: на тебя глядя, и другой, что захочет, то и делать будет.

– На вас грех.

– Ну, гляди, – пригрозил Чижик и ушел к себе, затем долго чем-то из ведра брызгал пчел: откроет улей, брызнет и закроет.

«Должно быть, водой: жара», – думает Маркел.

Вдруг над ним, зло жужжа, пулей пронеслась пчела.

Маркел проследил за ее полетом:

«Чужая, проклит!» – решил он и тут же, ошарашенный, заметался по пчельнику: чужие пчелы замелькали над его головой, облепили ульи, а около летков уже шел самый настоящий бой – пчелы Маркела, растревоженные прилетом чужих, обороняясь, кинулись и, свиваясь черным клубочком, загудели в

драке.

– Проклятые! Ах, сатаны! Ах, сатаны! Натравили, сатаны! – Маркел сначала растерялся, потом кинулся к ульям, быстро зарешетил летки и, надев варьгу, опустился на колени и, будто строгая рубанком, начал давить рукой чужих пчел. Пчелы гудели, вились, жалили его в лицо, шею, со злым жужжанием лезли под рубашку. Воздух посерел от их налета. Маркел вскочил и побежал в шалаш. В шалаше у него был разведен для мышей мышьяк с медом. Он быстро разлил его в черепки и расставил около ульев. Почуввав запах меда, пчелы кинулись на черепки и, забирая сладкую жижицу, полетели в свои ульи.

Маркел радостно засмеялся:

– Вот чем, во-от, не будете.

А через полчаса к плетню подбежал Чижик:

– Ты что? Ты пчел травить? Да ты знаешь?

– Что-о-о, разве я их звал к себе? – спросил Маркел.

– Зарешечивай!.. Зарешечивай! – закричал Чижик пчеловедам и со всех ног кинулся обратно.

– Угу-гу, – тихо засмеялся ему вслед Маркел.

Вскоре на пчельнике совсем стихло: чужие пчелы улетели и больше не прилетали. Маркел убрал черепки, открыл летки в ульях и вновь, прислонясь к плетню, долго всматривался в долину, думая теперь только о том, как бы ему победить и Ульку. Позади него скрипнули ворота. Дрогнул. Повернулся. На пчельник вошел Павел и замахал руками.

– Укусят, укусят! Не махай лопатами-то! Не махай! Э-э, дурень... Не махай, говорю! Беги в шалаш.

Отмахиваясь от пчел, Павел скрылся в шалаше, а у Маркела разом мысль:

«Через Паньку убрать Кирьку. Вот, вот – его натравить, пускай по селу слух разнесет...»

Вошел в шалаш, сел рядом.

– Ты, – заговорил он, – бабу-то у тебя это... Кирька... Вот так... Эх, дура! Не понимаешь! Кирька, кой председатель, бабу твою Ульку вот так.

– У-у-у! – буркнул Павел и заревел: – А-а-р-р-р-р.

– Ты только башку не снеси ему... А по селу говор пусти про него – бабу, мол, у меня отбил... На мою, мол, бабу лезет... Лезет, мол...

– Кто?

– Опять «кто». Кирька! Вот расписку к нему носил вечер. Ну, сосед наш...

– Вр-ры-ы?

– Да нет, не Огнев. Тебе, черту, все трактор мерещится. А Кирька... Жулик! Сосед!

5

Одиннадцать дней долина гудела человеческим говором, песней, звоном лопаток, уханьем, ночью горела кострами, сманивая из улиц девок и ребят.

Одиннадцать дней в упор пекло солнце исполосованную трещинами землю, крутило в полях хлеб, палгло трепетные листья осины.

Одиннадцать дней Егор Степанович Чухляв лазил на крышу сарая, глядел в даль знойного неба, ждал тучи.

– Нету! Нету и нету, – зло бормотал он и шел на Коровий остров, вместе с Клуней таскал воду на капусту.

Клуня иногда робко предлагала ему отправиться в долину и вместе со всеми приступить к устройству канавы. Егор Степанович морщился, шипел:

– Пошла... поехала. Тащи воду! Чего рот-то разинула? – и, схватив ведро, сам бежал на берег реки. С берега перед ним, как на ладони, открывалась долина. Он задерживался, отфыркиваясь и шлепая босыми ногами по песку, снова скрывался в зарослях кустарника на огороде. Он, пожалуй, и не прочь бы пойти вместе со всеми, вместе со всеми стать на канаве... Но разве там есть такой отец, у которого единственный сын разделит бы дом пополам да и сам бы ушел к чужому дяде? Такого отца в долине нет. И заявись только туда Егор Степанович, как все – и криулинские и заовраженские – работу побросают, на Егора Степановича, ровно на заморского зверя, уставятся. Не хотел быть заморским зверем Егор Степанович, не хотел, чтоб при нем ему сочувствовали, а за глаза смеялись. Да не только за глаза – теперь ведь народ какой: в глаза плюнет, а сам, будто бы ни в чем не бывало, утрется.

– Нет уж, один... как-никак, а один, – шептал он, стогняя водой с капусты блох. – И откуда ее столько, блохни? – спрашивал Клуню.

Иногда он был ласков и с Клуней – чувал, что и у Клуни такая же боль, как у него. Говорил:

– Убиваться никогда не след, этим ни капусту не польешь, ни загона не вспашешь. Ты и не худей!.. Ну, что вытянулась, ровно лутошка? Жили ведь, и проживем, по-миру не ходили.

Но как только Клуня начинала намекать ему на то, что не лучше ли им податься за Яшкой, Егор Степанович, щеря большие белые зубы, обрывал:

– Пошла... поехала. Ну, чего стала? Тащи воду!

И на двенадцатый день, когда Егор Степанович после обеда вновь принялся таскать воду на капусту, заметил – гул в долине смолк. Это его удивило. Он быстро перебежал зарослями кустарника на другую сторону Коровьего острова, присел за плетнем и отсюда глянул на долину.

Все широковцы сгрудились у плотины, а на плотине стояли Степан Огнев, Кирилл, Захар Катаев. Они о чем-то долго говорили. Потом Огнев выпрямился, повернулся к широковцам, крикнул:

– Ну! Закладываю?!

– Закладай! Закладай, Степан Харитоныч, – понеслось из толпы.

– Сварганили, дьяволы, плотину! – Егор Степанович завертелся на пятках и, бормоча, побежал к себе на огород.

Степан Огнев, волнуясь, заложил последнюю затворню (это почетное дело ему поручили все широковцы), вновь выпрямился, посмотрел на широковцев.

Все они, перешептываясь, напряженно следили за тем, как постепенно, колыхаясь, вода заливала ямины, кустарник, как ширился, лоснясь на солнце своей голубоватой спиной, пруд... Только один Илья Плакущев стоял в сторонке и, казалось, думал о другом. За эти дни было еще одно собрание, и Илью Максимовича избрали уполномоченным по делам третьей земельной группы. Может быть, о своей будущей деятельности и думал он. А может быть, еще о чем. Только не играла общая радостная улыбка на его лице, и не следил он напряженно за тем, как, потея все больше и больше, уходили берега в воду.

«Волк!» – подумал, глядя на него, Огнев и, повернувшись к Кириллу, заговорил:

– Ну, Кирилл, победили мы... Еще несколько таких побед, и фронт в наших руках.

У Кирилла от усталости дрожали ноги, ныла спина. Он молча крепко пожал руку Степану, затем сделал несколько шагов к широковцам, хотел им сказать о том, что не пора ли им всем тронуться по дороге артельщиков, но вместо слов у него вылетели какие-то непонятные звуки, и он тихо привалился к перилам плотины.

Улька стояла на насыпи, и, когда Кирилл покачнулся, она хотела подбежать к нему, но в это время подошел Степан Огнев и, поддерживая его, тихо проговорил:

– Не надо говору... Делом покажем... трудом своим.

– Во-о-ода-а! – закричал Петька Кудеяров так, как будто первый раз в жизни увидел воду.

Вслед за его выкриком широковцы, словно от сильного дуновения ветра, шатнулись ближе к канаве.

Вода из пруда поднялась к руслу канавы, небольшим ручейком вползла, зашумела, змейкой уходя в сухую землю. На мокрую полосу набежал другой ручеек, запотели стены канавы. Змейка побежала дальше, сгустела, набухла, забулькала, и вода хлынула по канаве, заурчала. За ней с криком, со смехом кинулись широковцы:

– О-о-о!

– Пошло!

– По-онеслась!

– Вот это так! Вот это так! – Петька подпрыгнул и, хлопая между колен в ладоши, пугнул ребятишек: – Вы что, шибздики? Купайтесь в пруду новом! Э-е, вон Шлёнка уже купается.

Шлёнка, поблескивая жирком, баламутил воду. Ребятишки мигом сбросили с себя рубашонки, штанишки и кубарем полетели в пруд.

К Огневу подошел Захар Катаев.

– Поливать время, Степан Харитонович. Обезумел народ от радости, гляди: как маленькие, прыгают.

Беготню, радостный смех смахнул Никита Гурьянов. Он вышел на плотину и пронзительно закричал:

– Граждане! Пора к поливу. Как будем?

Кирилл предложил полив начать с первого огорода.

– Начнем поливать с огорода Шлёнки (Шлёнка утвердительно мотнул головой и крепче стиснул в руке черенок лопатки), а там постепенно, загон за загонем, дойдем и до последнего – до загона Маркела Быкова.

– Это Маркелу-то в зиму поливать доведется, – засмеялся Петька Кудеяров. – И пускай: у него теперь мед.

– А я на то не согласен, – ласково возразил Никита Гурьянов. – Эдак ведь что? Эдак все село доведется держать на поливе. А ведь, кроме полива, еще работа есть. Моя дума, граждане, такая: поливать сотнями. Бросить жребий – кой сотне достанется, той и поливать... А ты, Кирилл Сенафонтыч, хоть и именинник нонче вроде и хоть мы нонче все тебе и Степану Харитонычу в благодарности большой, а и ты не перечь...

Степан Огнев хотел поддержать Кирилла, но от победы, оттого, что все как-то обмякли и у всех была одна общая радость, – он и сам размяк и, видя общее желание поливать сотнями, не захотел идти против, хотя где-то в глубине и сознавал, что предложение Кирилла только углубит созданную за эти дни коллективную волю, а предложение Никиты Гурьянова распылит собранные силы. Он улыбнулся и промолчал, думая о предстоящей постройке мельницы и о том, как мягко и ласково возражал Никита Кириллу. После этого все – даже Кирилл, – смеясь, согласились поливать сотнями. На полив каждой сотне отвели двадцать четыре часа.

Бросили жребий.

Первый жребий выпал седьмой сотне – в ней шестьдесят две души Гурьяновых, двадцать три Федуновых – вся родня, и остальные – родня Митьки Спирина.

– Ну, и псы! – ругнул Петька Кудеяров.

– Что?

– Везет-то вам!

– Не обмишулились ли? – подал голос дед Катай.

Никита Гурьянов, крепко зажав в кулаке пуговицу от штанов, сунулся к Катаю:

– Какая может быть обмишулка? На глазах у всех вынимал. Кирилл

Сенафонтыч, ты вынимал? Скажи! Чтоб зря не болтали.

Только то и удержало от новой жеребьевки, что жребий вынимал Кирилл. Но и это сначала не успокоило:

– А может, не его это?! Пуговица-то!

– Не его! – ошетинился Никита. – Гляди... моя пуговица... вот от штанов отлетела. – Он тут же поднял рубаху и, показывая всем то место, где полагается быть пуговице, повертелся несколько секунд.

– Повыше! Повыше! – закричала в смехе Улька. – До пупа... А то всего тебя видали, а пупа сроду не видали. И-и-их!

Широковцы засмеялись, и в смехе кто-то сказал:

– Везет Гурьяновым!

– Давай дальше, Кирилл Сенафонтыч!

Кирилл вновь полез в шапку за жребиями.

В стороне к Плакущеву подошел Павел Быков. Он замычал, заревел. Илья Максимович не сразу понял, о чем он мычит, тыкая рукой на Кирилла Ждаркина, но когда догадался – у него побледнело лицо, затряслись ноги, и по спине побежали холодные мурашки.

– Зря, Паня, зря! Болтают все это. Ты приходи ко мне, я те меду, сладкого меду дам... А? А это зря!

Павел рычал... И Илья Максимович увидел: Павла кто-то сильно растравил, Павла не удержать. Тогда он, крепко трянув его за плечи, подделываясь под его язык, забормотал, показывая на Огнева:

– Не-е... Не Кирька, болтают... а во-но, во-но, Огнев!

– Ур? Ур?

– Да! Тракторщик... Ульку вот эдак да и под себя, а не Кирька...

Сказав это, он тут же отбежал в сторону.

6

В седьмой сотне первому полив достался Митьке Спирину.

– Ну, благослови, – заговорил он, подтягивая штаны, и оглянулся на Степана Огнева. – Аль теперь нельзя о боге-то? – И тут же подогнал свою жену: – Елька, заходи... Не пускай к чужому воду... – Доской перегородил горловину канавы, копнул лопатой край насыпи. Вода хлынула на загон с картофелем. – Держи! Держи! – Митька метнулся к Елене. – Не пускай к Никите на загон... Вот так. Э-э, дура!

Вода по лункам, достигнув противоположного конца загона, начала пыхтя подниматься, заливать вялые зеленя картофеля. Но у Митьки на загоне беда: бугорок. Сколько ни льет Митька воды на загон, вот уже прошло больше часа, загон уже в болото превратился, пена вспучилась, – бугорок все сухой. А Митьке

страх как хочется залить бугорок.

«На нем, почитай, пудов пять картошки уродится, а не полей – пропадет», – рассуждает он и, увязая по колена в грязи, топчется около бугорка, гонит на него лопатой воду, – бугорок сухой.

А на плотине – около Степана Огнева, Кирилла Ждаркина и Захара Катаева – сгрудились мужики, они говорили о дожде, о машине... Около них вертелся Павел Быков.

– Эх, ты, чертушка, – смеялся над ним Яшка. -

Пахать бы на тебе залог.

– Ур? Ур? – сердито уркал Павел и исподлобья глядел на Степана Огнева.

– Ему трактор. Больно уж трактор полюбил, – говорили мужики. – Звонить на церкви бросил... Трактором ревет теперь.

– Айда к нам, трактористам! – звал его Яшка.

– Ур! Ур!

– Опять – ур... Зауркал... Сродили тебя, видно, при молитвах, коль ты такой.

А те, кому предстояла очередь поливать, стояли около своих огородов и злились, глядя, как Митька Спиринов увязает в топи загона. Никита Гурьянов уж не раз, сначала легонько, потом громче, наступал:

– Митрий... Зря ты льешь воду, все равно она на бугорок не пойдет!.. Чай, она не лошадь, вода-то, чтоб в гору? Не загонишь!

– А мы поглядим, а мы увидим, загоним, – тараторил Митька и загонял: – Елька, гони!

Под конец Никита не выдержал:

– Что ж, в самом деле, на полив дано двадцать четыре часа, а он третий час держит. Будет! Не оставаться же через твой бугорок без полива, – и хотел Никита ковырнуть лопатой землю и пустить, воду к себе на огород.

– И-и-и-и! И не моги! – заорал Митька. – Тебе все мало! С бабой, что ль, захотелось полежать? Успеешь, ночь-то длинна!

– Небось, – вступился Петька Кудеяров, – советскую власть защищать не ходил, на печке бока грел, а теперь как что, так первый норовит... Тебе не грех и совсем не давать.

У Никиты затряслась рыжая борода.

– Да ты... да ты и сам-то все больше в тылу акуллил, – выпалил он. – Воевал! Воевал ты вон с самогонкой.

– Нет, врешь, – одернул его Митька Спиринов. – Он вместе со мной дрался.

Где дрался и как дрался, он не сказал, но Никиту этим ошпарил. Тогда и Никита кинулся на него:

– Вояки! С самогонкой оба воюете. А ты, Петька, знаю ведь я, как к бандюку

Карасюку подлаживался.

От такого напора Петька опешил. Сначала он ругнул себя за то, что вмешался не в свое дело, но схватка началась и отступить ему не хотелось. Он сорвался с места и во всю глотку, думая криком перебить Гурьяновых, заорал:

– А раз самогон, ты должен в милицию... А не тут языком хлопать... Знаешь, за такие дела?

– В милицию? И в милиции такие же сидят, – тихо проговорил Никита. – Вояки. Все вы вояки около баб. – И тут же, не дожидаясь общего согласия, ковырнул лопатой землю, крикнул: – Будет! Постановляем большинством. Будет!

И вода хлынула на его полоску.

– Загороди! Сказываю тебе, загороди! – Митька метнулся на него. – Загороди, а то вот дам по сопатке! Это тебе не старый режим, – и вгорячах толкнул кулаком Никиту в грудь.

Никита, отступив на шаг, сунул Митьке в зубы лопатой, сказал:

– На! Толкаться не будешь.

– А-а-а! – взвыл Митька и, зажав грязными руками рот, присел на корточки. – А-а-а! Убили!

Брызги полетели во все стороны. Спирины с ревом кинулись на Гурьянова, Гурьяновы – на Спириных. От гама галки на ветлах шарахнулись во все стороны. Потом гам оборвался, его заменили глухое рычание, удары кулаков, хруст, звон лопат. Гам сорвал мужиков с плотины. Они кинулись к седьмой сотне и, разнимая, невольно вступили в драку. На гам побежали мужики и бабы из улиц.

Кирилл, Степан Огнев, Яшка, Захар Катаев хватали за шиворот дерущихся мужиков, отбрасывали их в сторону, а они вновь, рыча, закрывая лица, согнувшись, кидались в бой. Кирилла кто-то раза два сзади ударил в затылок.

«Видно, кто-то в обмишулках бьет», – подумал он, растаскивая мужиков. Но тут его кто-то еще сильнее саданул в висок, он покачнулся и упал на одно колено в грязь.

– Вот это те за все!

– А-а, вот как!

Кирилл быстро вскочил на ноги, обернулся. Перед ним, взмахнув над собой лопатой и метаясь в голову Кирилла, стоял Шлётка. Кирилл отскочил и с силой ударил его носком сапога между ног. Шлётка рявкнул, выпустил лопату, присел.

– А! Сволочь! Мстить из-за угла! – Точно кутенка, схватил Кирилл за шиворот грузного Шлётку и швырнул его в ноги озверевшим мужикам.

Мужики бились... сбивали слабых, втапывали их в грязь, рвали друг другу глотки... летели клочья волос, в сумерках взблескивали лопаты, окровавленные лица...

Были бабы.

Яшка Чухляв, по колено в грязи, стоял неподалеку от Степана Огнева, кричал Кириллу:

– Кирька! Не мечись! Стой на одном месте и бей вот так. Они, собаки вроде – сцепились.

Он бил ребром ладони. Около него валялись оглушенные мужики. Мимо метнулся Никита Гурьянов. Яшка наотмашь ладонью ударил его в висок. Никита отфыркнулся и скovyрнулся, как подстреленный заяц.

В это время в бой врезался Павел Быков. Взмахивая над головой ломом, он попер на Яшку.

– Берегись, Яшка!

Заслыша голос Кирилла, Яшка отскочил в сторону и не успел оглянуться, как лом Павла с силой опустился на голову Степана Огнева. Яшка подпрыгнул, ударил Павла кулаком в затылок. Павел сунулся в грязь лицом, рядом со Степаном Огневым. Степан приподнялся на колени, утерся грязными рукавами и тут же почувствовал, как у него из-под картуза на лоб потекла горячая струйка, а в спине, будто кто-то ножом полоснул вдоль хребта, резанула боль..

– Встать!.. Яша, Яша!

Яшка кинулся к Огневу. Но в это время спутанный клубок дерущихся сбил Огнева с ног, оттер Яшку, и Степан почти уже не чувствовал, как по его спине, по лицу застукали тяжелые сапоги, лапти, голова наполовину погрузилась в жидкую грязь. Он выхаркнул сгусточек грязи, уперся пальцами в жижицу, и единственное, что у него в это время мелькнуло: «Жить... жить... ведь... не жил еще... еще только...»

7

Кирилл торопливым шагом, озираясь по сторонам, пересекал Шихан-гору. Впереди, при свете луны (самой луны не было видно, только в прогале леса над головой дрожала молочная белизна неба) виднелась песчаная дорожка; по сторонам сосны развесили тяжелые лапы, били колючками по лицу, а в бору, во тьме, ползла жуть – от неожиданных выкриков, от шороха, от придавленного птичьего стона. И чем дальше углублялся Кирилл, тем тревожнее сгущалась жуть. Иногда он останавливался, глубоко вздыхал, прислушивался – нет ли за ним погони, – и вновь бежал песчаной дорожкой, тяжело вывертывая ноги в больших солдатских сапогах.

Вскоре дорожка свернула под уклон. Сосна сменилась мелким осинником и липняком. Из огромной пасти Долинного дола пахло смолой, падалью и жаром. Кирилл хотел обежать Гусиное озеро, мелким осинником пересечь горы, выбраться в Подлесное, там сесть на пароход и уехать в Илим-город. Но в низине, обессиленный, он свалился и только на заре, разбуженный криком дикой кошки, очнулся и присел на старый пень березы.

С Шихан-горы из липняка и густых лап сосен шел гуд, будто тысячи всадников на конях с резиновыми копытами скакали по укатанной дороге. В лесном гуде на водяных полянках Гусиного озера, в залитом кустарнике гоготали

дикие гуси, шныряли серяки-утки, а вверху, в мягкой синеве утра, поблескивая на солнце, кружился ястреб; от ястреба табунились сизые голуби, перелетали дол и гуртовались под кустом рябины.

Кирилл берегом озера вышел на поляну и, увидав Петра Кулькова, в два-три прыжка скрылся за кустом рябины.

– Стой! Стой! – Кульков смахнул с плеч двустволку. – Куда бежишь? – Узнав Кирилла, он остановился, затем вяло опустил двустволку; его глаза, горевшие до этого страстью преследователя, сразу потухли: – А я думал, кто воровать рыбу... Рыбу страх как воруют в Гусином озере...

И в том, как он повернулся и пошел в гору, и в тоне его голоса Кирилл заметил скрытую ненависть к себе.

– Кульков!

Кульков задержался и вполоборота бросил:

– Что, как заяц, прячешься? Вот 'всегда вы так – народ растравите, а как что, так наутек... Строители, – проворчал он тихо.

Но в тиши Долинного дола слова ясно долетели до Кирилла, хлестнули его. Лицо залилось яркой краской стыда.

– Не знай, кто еще прячется!

– Знать ли? Чай, гляди – я прячусь за рябиной-то. Эх, вы, вояки! – произнес Кульков зло и скрылся в осиннике.

– Смех! Даже у этого смех. А что там? Огнев что, артельщики, Улька? – Несколько минут Кирилл стоял, будто врытый в землю, потом, словно его кто арканом рванул, – осинником, через Шихан-гору кинулся в Широкий Буерак.

Часа через два перед ним, дымя трубами, развернулся Широкий Буерак. Не дойдя с полверсты до села, Кирилл присел у плетня пчельника Маркела Быкова. За плетнем, согнув спину, возился Маркел. Кирилл сначала хотел отойти, но тут же у него появилось желание встретиться с врагом глаз на глаз да и через Маркела же узнать настроение широковцев. Он поднялся, припал к плетню. Маркел выпрямился, несколько раз обошел улы, что-то проворчал, потом вдруг шарахнулся, заорал:

– Ах, вы, ерни-сатаны! Пра, ерни! Нет на вас погибели! – и через миг, выбежав из шалаша, начал палить из ружья в ласточек.

Кирилл, вспомнив, как Маркел рвал ребятишкам уши за разорение ласточкиных гнезд, невольно рассмеялся:

– Как же это ты, Маркел Петрович, божью птичку из ружья палишь?

Маркел сгорбился, повернулся:

– А я и не знал, что ты тут. Да что, – скрывая злобу, продолжал он, – пчелок жрут ласточки-то. Оказывается, они самые вредные птицы есть... Особливо для нашего брата-пчеловода... Прямо таки ерни...

– Вот как, из божьих в ерни превратились, как только ты сам пчел завел, –

больше, пожалуй, для себя сказал Кирилл и спросил: – Много меду-то накачал?

– Много-о? Губы только помазать, – Маркел провел корявым пальцем по толстым губам. – Зря труд кладу. Они, пчелы-то, по-овечьему бы вон орешку таскали, а то ведь – во-от, – он отщипнул крохотку на кончик грязного когтя. – Не хошь ли? Теплый ща!

Кирилла удивило то, что Маркел так словоохотливо рассказывает про пчел.

«Может быть, ничего и не случилось, – подумал он. – Просто я перепугался. Надо спросить его».

– Как, Павла-то сильно зашибли вчера?

– Зашибли-и? Уби-или! А ты – зашибли. В грязь затоптали. Насилу нашли. А Шлёнка вон выкарабкался, весь в синяках да облупленный. Видно, как ножищами-то ботали по нем, так всю шкуру и спустили. Теперь лежит у себя, стонет.

У Кирилла чуточку отлегло.

– Ты что ж не дома?

Маркел вздернул плечами.

– Да что дома? Схороним, чай... А тут упусти, ерни всех пчел пожрут... А дома, конечно, надо бы быть. Еще, – он облокотился на плетень, – Степана Огнева прикончили.

– Кого? – Кирилл встrepенулся и тут же заметил злой блеск у Маркела в глазах. Такой блеск он еще видел у Цапая, на привязи в конуре.

– Степана Огнева, баю... Ах, вы, ерни! – крикнул Маркел и вновь метнулся палить из ружья в ласточек.

Известие о том, что в долине убит Степан Огнев, сначала подбросило Кирилла, он хотел кинуться в село, но тут же, будто кто выколотил из него силы, опустился на глиняный выступ оврага.

Внизу раскинулась пойма реки Алая. Там копошатся бабы, мужики, ребятишки. Вода из канавы беспорядочно разлилась, промыла овражки на огородах. Мужики и бабы вводят воду в русло канавы: видимо, десятая сотня готовится к поливу. На конце долины шалаш, около шалаша крутится дедушка Пахом. Из кустарника, с Гнилого болота, выбежала Зинка, гонит свиней. К ней кинулся Пахом, и до Кирьки донесся его выкрик:

– Не посмотрю... свиньи... ишь, председателивы!

Вправо, на гумне, Никита Гурьянов домолачивает прошлогоднюю копну ржи. У него щека перевязана белой тряпкой, засаленный картуз блестит на солнце. Никита топчется в кругу лошадей, покрикивает:

– Ну, вы, молодчики! Ну, ты, лахудра! Ну, вы, молодчики!

И опять сначала.

А кругом звенит солнечный зной.

По дороге через Балбашиху тянутся крестьянские подводы: бегут мужики от голода на море, в Кизляр, в Сибирь, за хлебом... А вон баба кинулась за парнишкой. Тот, точно козленок, перескочил плетень огорода и со всех ног понесся краем долины. Орет баба:

– Догонь! Догонь! Догонь его, плута!

Все это промелькнуло перед Кирькой, точно быстро сменяющиеся туманные картины на экране, – отрывисто, несвязно. И вдруг ему показалось, что мужицкая жизнь – это вон тот лошадиный круг на гумне: топчутся всю жизнь на одном месте, привязанные за хвосты... и разом тоска обуяла Кирьку. Он поднялся и зашагал в гору.

Он перевалил ложбину – дальше орешник пошел гуще, выше. Под ногами хрустел пожелтевший ягожник. Кирилл присел под кустом орешника, и ему показалось: все, что случилось, случилось как-то нарочно, – просто кто-то над ним зло подшутил, и стоит ему только очнуться, протереть глаза, и он – у себя в шатровом домике. Во дворе Серко быstroногий, племенные коровки, огород на Гнилом болоте и... раздобревшая Зинка.

Вспомнив о Зинке, он начал обвинять ее в том, что все эти годы он напрасно чертоломил на Гнилом болоте, в поле; и в том, что носил посконные штаны, ел ржанину, а пшеничку, по примеру Плакущева, берег в амбаре; и в том, что вот теперь он выбит из общего круга и нет у него зацепки... Но, подняв голову, увидав мужиков, толпившихся у двора Огнева, вспомнив и тот спор с Огневом на огороде у Гнилого болота, он горько усмехнулся.

«Ну, да, – думал он, – я провалился, но ведь и Огнев... Что Огнев? Огнев убит, но у него след остался. А я вот живу, да без путины... Путины нет».

И тут же, словно сквозь скалу пробивался ручеек, у него стали появляться другие мысли, иное желание. До этого – тупик. До этого будто стоял Кирилл в ущелье. По обе стороны две гладкие высокие скалы, вверху тьма. А тут на скалах начали обозначаться человеческие следы, ступеньки. И Кирилл почувствовал, что он уже не тот, каким был вчера. Пусть его выбросили, но теперь он стоит в стороне, и со стороны ему больше видно. Да и иными стали его глаза.

– Оборотни! Оборотни! Корова их заедает, лошадь, загон, кусок, вошь. Рвут друг другу глотки, грыжу наживают... И я за ними, – тихо закончил он и тут же поднялся, выпрямился, ощущая, как по телу побежала радостная дрожь, будто он только что выкупался в реке. – Эх, – облегченно вздохнул он. – Серко, дом, все это наживное, а вот года убегут, их не наживешь и радости на гроши не купишь. Наживем... Да только не так, не так только...

Позади слышались тихие шаги. Кирька не успел обернуться, как кто-то положил ему руку на глаза и хрипло проговорил:

– Отгадай, кто?

Кириллу сначала показалось, что это Зинка (она ведь часто, когда он спал, спрашивала, думая обмануть его, про Ульку). Он хотел отбросить с лица чужие руки, но его спины коснулась упругая грудь.

«Улька?» – подумал он и крикнул:

– Улька!

Улька сильно рванула его и вместе с ним упала в кустарник орешника.

– Пстой! Пстой! – бормотал Кирилл.

– Что? А еще председатель? С бабой не сладишь!

– Да пстой, что ли! Эх ты, ведьма!

Сильными руками он поднял ее, усадил рядом с собой. Она громко смеялась, запрокинув голову. Виднелись частые зубы, белая шея, еле заметные складки под подбородком и розовые уши.

– Да пстой ты смеяться! – Кирилл затормошил ее. – Пгоди! Раскололась! Сказать хочу.

Улька оборвала смех.

– Не грусти, Кирюша...

– Ты скажи мне, – начал он, путаясь в словах, – ты скажи... ты... как... теперь... ну... свободна?

Улька нахмурилась: она всю ночь искала Кирилла, а он еще спрашивает – свободна ли она?

– Я и была свободна. Ну, говори, чего стал?!

– Так что... не болит у тебя? Павла-то не жалко? Ведь какой-никакой, а...

Улька поднялась, вздохнула, скривила губы:

– Нет! Чего жалеть! Таких дураков убивать надо, чтоб других они не мучили... Эх, Кирюша! – Она посмотрела вдоль орешника. – Даже рада. Вроде опять в девках я... И у меня... Да зачем ты все это тревожишь? А?

– Ну, вот и хорошо. А теперь вот еще что. Ежели позовет тебя человек, ну, кто любит тебя... Ну, вот... ну, как я, – сбился Кирилл, будто рысак на бегу. Разозлился на себя, потом засмеялся: – Да просто: пойдешь со мной? Прочь отсюда, из села?

Улька потупилась, зло задергала ветку орешника.

– А Зинка?

– Гусь свинье не товарищ. Кто из нас свинья, а кто гусь – не знаю... Только не по пути.

Кирилл долго говорил о каком-то другом человеке. Улька многого не понимала, но ей было радостно и оттого, что он говорит с ней не о куске, не о лошадах, а о чем-то совсем другом, что, может быть, еще не ясно и для него-то самого, – говорит о заводе и ставит ее, Ульку, наравне с собой, с таким большим, каким он казался ей, особенно в это утро. И билось у нее сердце, и хотелось ей ласково, как делает это счастливая мать с первенышем, приласкать его и положить его кудлатую голову к себе на грудь.

8

У двора Степана Огнева толпились мужики, толпились они и во дворе – курили в пригоршню, шептались, словно боясь кого-то разбудить, а на приступке сеней, рядом с Пановым Давыдкой, сидел Петька Кудеяров. В драке на долине ему разорвали рот. Трудно было говорить, но он шамкал, без конца рассказывая о том, как началась драка. На него шикали, он на миг смолкал и вновь начинал, крича и ежась. Иногда кто-нибудь из мужиков подходил к Давыдке, тихо спрашивал:

– Ну, как?

– Ничего, – отвечал Давыдка. – Лежит там, – добавлял он, показывая рукой на избу, а другой – преграждая дорогу.

В избе на кровати лежал Степан Огнев. Голова у него была перевязана, борода, усы, волосы сбриты, отчего он казался совсем молодым, только частые морщины около губ и глаз да густые с проседью брови выдавали его пожилые годы. Лежал он тихо, не стонал, иногда жмурил глаза и этим заставлял вскакивать с лавки Грушу и припадать ухом к его губам.

– Ничего... так, маленько, – шептал он, стараясь улыбнуться.

Потом вновь лежал молча, без движения. Ему не верилось, что он умрет. Мысль о смерти ему пришла только в тот момент, когда Павел Быков ломом сшиб его с ног, но потом, когда его выволокли из толпы и принесли в избу, он уже старался больше не думать о смерти и всеми силами хватался за жизнь. Несмотря на невыносимую боль в голове, он напряженно думал совсем о другом, и Груша видела, как у него менялись глаза. Они то хмурились, то безразлично смотрели в угол избы, то вдруг вспыхивали радостным блеском, то делались ледяшками, как у дедушки Харитона в гробу. Тогда она ниже припадала к его лицу и, упорно всматриваясь, гладила его похудевшую за ночь руку.

Заметя беспокойство Груши, он знаком попросил ее сесть к окну, рядом со Стешкой, а сам свободнее раскинул свои мысли. Но тут же перед ним завертелись дрожки на трех колесах: они поскакали по потолку, по стенам, потом закружились, завертелись около его головы с невероятной быстротой и куда-то разом провалились, а из-под затылка вынырнул Егор Степанович Чухляв и как-то тихо, незаметно перелетел и сел в ногах. Лицо у него сморщенное, а из глаз бегут мутные слезы.

– Ну, что, сынок, не послушался? Вот и не послушался.

– Уйди, – говорит Степан и хочет пнуть Егора Степановича, а нога не слушается, и голос тонет где-то у него же в груди. – Уйди! – еще раз громко кричит он. – Ну, что не вовремя...

– Ну, уйду, – соглашается Егор Степанович и ныряет за голову, а через миг вновь сидит в ногах и гладит пятки Степану... Потом его руки – с длинными, будто змеи, пальцами поползли от пятки по ноге выше, зашуршали у Степана на животе, перебрались на грудь – сдавили.

– У-уй-ди-и... ну-у-у-у! – И тут же Степан почувствовал, как на голову легло

что-то холодное, приятное – открыл глаза. Склонившись над ним, стояла Стешка, и Аннушка легонько теребила ворот его рубахи. Он улыбнулся и позвал Стешку сесть рядом с ним. И тут же (сам не зная почему) он припомнил один из таких случаев, какие обычно проходят без следа в памяти. Осенью прошлого года он ехал из Илим-города на дрожках, выклянчив их в исполкоме. Была ночь. Лил дождь. Еще на постоялом дворе он заметил, что гайка на оси у дрожек ослабла. Он потрогал ее рукой, подумал о том, что она дорогой непременно слетит, да какая-то другая мысль оторвала его от гайки, и, выезжая с постоялого двора, он, думая о чем-то другом, в то же время где-то в глубине думал и о гайке... но так и не поправил ее. А когда проехал верст двадцать, утопая колесами в жидкой осенней грязи, слетело колесо. Он долго в грязи шарил гайку – не нашел и очутился в нелепом тупике... Если бы это была простая телега, тогда он отломил бы часть кнутовища и воткнул бы вместо чекушки в ось. Но в оси дрожек не было отверстия для чекушки, – тут был винт, и нужна была гайка. Он долго ломал голову и в конце концов, надев колесо, привязал его вожжой и на трех колесах под проливным мелким осенним дождем тихим шагом – только к утру – приехал в Широкое. Вспомнив про этот случай, он, тихо улыбаясь заключил:

– Чудак, про гайку-то и забыл... А собственники – огромнейшая гайка. Кирилл гнилую картошку дал беднячку – вот гайка. Мужики на поливе подрались – вот гайка. А мы успехом вскружились и забыли – мужик собственник: за ведро воды глотку другому перервет.

Он поманил Грушу и тихо шепнул:

– Вот когда обрили меня... А ты не робей!

Груша через силу засмеялась и ушла в чулан, вытирая слезы.

За окном загудели. Ко двору кто-то подъехал. Затем в избу вошли Яшка Чухляв, доктор, Захар Катаев, за ним другие мужики. Мужики вытянули шеи и замерли на месте.

– Ну, как себя чувствуем? – весело заговорил доктор, стаскивая с себя запыленный плащ.

Он попросил мыла, полотенце, воды. Вымыл руки и подошел к Степану. Долго разматывал марлю на голове. В тишине слышался скрип отдираемой марли. На лбу у доктора появились капельки пота, руки дрогнули... Он не выдержал, опустил руки и сдержанно проговорил:

– Железный, не пикнет, – он посмотрел на всех и тут же бодро добавил: – На ноги непременно встанем: такие не спотыкаются... Эх, доктором бы вам быть, Степан Харитонович, хирургом...

Степан от нестерпимой боли крепко зажмурил глаза и неожиданно застонал. Доктор заторопился, а когда кончил перевязку, поднялся и, потирая руки, долго смотрел на больного, как цыган на хорошего коня, потом заговорил:

– Ну, мы непременно поправимся... А вот мужиков надо распустить. Пусть они войдут, посмотрят, да и по Домам, а то толкотней у двора они тревожат хозяина.

– Ну, пошли, пошли, – заговорил Захар Катаев, толкая мужиков к выходу.

Мужики вышли. Егор Степанович Чухляв задержался в углу. Тихим шажком, ровно кот к воробышку, подошел – и сел рядом со Степаном. Груша замахала руками доктору. Тот, не поняв, отошел в сторонку, а Егор Степанович сказал:

– Пришел к тебе, сваток... Поглядеть аль что... Вишь, скovyрнули тебя... чужие люди... С родней, я так думаю, надо бы... – И у Егора Степановича потекли слезы.

Степан мигнул. Егор Степанович припал ухом к его губам.

– Младенец ты, Егор... – прошептал Степан. – Младенец. Меня не будет – есть кому дело вести... семья нас большая... А вот у тебя где вечность?... Бобыль!..